НОВЫЙ ЖУРНАЛ

XXIII

НЬЮ-ИОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW

Под редакцией
М. М. КАРПОВИЧА

XXIII

8-ой год издания

НЬЮ-ИОРК
1950

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.,
417 Lafayette Street,
New York 3, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Г. Газданов. — Возвращение Будды 5
З. Гиппиус. — Он и мы (о Д. С. Мережковском) 87
Б. Тепер. — Вторая память 114

СТИХИ:

Х. Кротковой, В. Маркова, В. Смоленского, И. Чиннова 118

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:

Г. Федотов. — Христианская трагедия 126
Д. Далин. — Пять лет советской империи 142
М. Вишняк. — Свобода и социализм 160

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Г. Бинштok. — Бальзак как социолог 179
Ю. Иваск. — О послевоенной эмигрантской поэзии 195

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

А. Петрункевич. — «Завещание Петра Великого» 215

А. Давыдов. — Каменка 238

В. Орлов. — Из записок гвардейского политработника 259

Л. Тан. — Запечатленный язык 274

БИБЛИОГРАФИЯ:

Архимандрит Киприан. — «Верующий вольнодумец 287

М. Коряков. — Сергей Максимов. «Денис Бушуев» 291

Е. Раич. — Иван Елагин. «По дороге оттуда» 297

Эрг. — Н. Берберова. «Облегчение участи» 300

М. Карпович. — Две книги по истории русской культуры. Ариадна Тыркова-Вильямс. Жизнь Пушкина. — В. А. Рязановский. Обзор русской культуры 302

В ближайших номерах «Нового Журнала» будут напечатаны отзывы о следующих новых книгах:

«Истоки» М. А. Алданова, «Юность» Б. К. Зайцева, «След жизни» Д. Кленовского, «Условия абсолютного добра» Н. О. Лосского, «Речи» В. А. Маклакова, «Пляшущий Демон» А. М. Ремизова, «Свет во тьме» С. Л. Франка.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДДЫ*)

(РОМАН)

В этот период моей жизни время проходило почти незаметно для меня; это было одно из наименее устойчивых представлений, которые я знал. Я только позже понял, что все мои силы поглощались постоянным напряжением, в котором я находился, и которое было отражением глухой внутренней борьбы, никогда не прекращавшейся. Она шла чаще всего в глубине моего сознания, в темных его пространствах, вне возможности сколько-нибудь логического контроля. Мне начинало казаться иногда, что я близок к победе и что недалек тот день, когда и все мои тягостные видения исчезнут, не оставив даже отчетливого воспоминания. Во всяком случае, они теперь всё чаще и чаще становились почти бесформенными; передо мной мелькали неопределенные обрывки чьего-то существования, не успевающие проясниться, и мое возвращение к действительности всякий раз приходило скорее, чем раньше. Но это еще не было победой: время от времени всё вдруг тускнело и расплывалось, я переставал слышать шум улицы или говор людей — и тогда я с тупым ужасом ждал возвращения одного из тех длительных кошмаров, которые я знал так недавно. Это продолжалось несколько бесконечных минут; потом в мои уши врывался прежний гул, меня охватывала короткая дрожь и за ней следовало успокоение.

Так проходили недели и месяцы. Летом Павел Александрович и Лида уехали в окрестности Фонтенбло, куда он меня неоднократно приглашал, и куда я так и не собрался. Я оставался в Париже совершенно один и проводил время главным

---

*) См. 22-ую Кн. «Нового Журнала».

Copyright 1950, by "New Review". All right reserved.

образом в чтении и долгих прогулках и у меня не было денег, чтобы уехать куда бы то ни было. Потом наступила осень; из притворенного окна уже тянул почти зимний холодок. Весь январь месяц я провел в непонятном и тягостном томлении; каждое утро я просыпался с предчувствием катастрофы и каждый день проходил совершенно благополучно. Это состояние раздражало и утомляло меня — и я только изредка освобождался от него и становился таким, каким мне всегда хотелось быть: нормальным человеком, которому не угрожает ни душевный обморок, ни припадок безумия. Таким, в частности, я чувствовал себя всякий раз, когда я попадал к Павлу Александровичу.

Я обедал у него однажды, февральским холодным вечером. Лиды не было дома, мы сидели с ним за столом вдвоем и он был в созерцательном настроении. Затем мы перешли в кабинет, куда был подан кофе и где стояла бутылка очень крепкого и сладковатого вина, которого я выпил несколько глотков и которого он, по обыкновению, не пил вовсе. Он был в домашнем, бархатном пиджаке, но в рубашке с накрахмаленным воротничком. Я смотрел на него и думал, что, вероятно, теперешний период его жизни — самый счастливый, что лучшего времени он никогда не знал. Мне казалось, что ошибочным это впечатление не могло быть. Всё в нем — его движения, одновременно медленные и уверенные, его походка, его манера себя держать, интонации его голоса, который как будто бы стал глубже и значительнее, чем раньше, — всё подтверждало такое убеждение. В кабинете было очень тепло, особенно потому, что, кроме центрального отопления, горел еще камин, и от легкого движения воздуха чуть-чуть шевелились тяжелые портьеры на окнах. Я сидел в кресле и остановившимся взглядом смотрел в огонь. Потом я перевел глаза на Павла Александровича и сказал:

— Вы знаете, вот я смотрю на это маленькое пламя и мне вдруг начинает казаться, что время незаметно уходит назад, всё дальше и дальше, и по мере того, как оно уходит, я претерпеваю неуловимые изменения, — и вот, я ловлю себя

на том, что я ясно вижу, как я сижу, голый и покрытый шерстью, у входа в дымную пещеру каменного века, перед костром, который разложил мой далекий предок. Этакий милый вид атавизма.

— Я думаю, что вне атавизма мы вообще не существуем, — сказал он. — Всё, что нам принадлежит, всё, что мы знаем, всё, что мы чувствуем, мы это получили во временное пользование от умерших людей.

— Временное?

— Конечно, как же может быть иначе?

Жаркое пламя дрожало над углями и иногда слышался тихий шелест их смещения. От тепла мне хотелось спать. Павел Александрович сказал:

— А я всё чаще и чаще думаю о смерти вообще. Не потому, чтобы я ее предвидел в ближайшем будущем, а оттого наверное, что возраст уже почтенный, и это в какой-то степени, мой юный друг, естественно именно для моего возраста. И что самое удивительное, я думаю о ней без всякого ужаса и даже огорчения.

— Вероятно, потому, что эти мысли носят чисто теоретический характер.

— Не только, мне кажется. Есть в этой перспективе нечто соблазнительное, нечто неподдельно торжественное и самое значительное. Вспомните слова панихиды: «в лоне Авраама, Исаака и Иакова упокой...»

«В лоне Авраама, Исаака и Иакова...» Я сразу увидел перед собой гулкие своды церкви, чей-то безыменный гроб, священника, дьякона, кадила, иконы, неподвижный полет разолоченных ангелов на Царских вратах, и надпись наверху, над ангелами, над всем этим наследством тысячелетий христианства: «приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы».

— Вы верите в Бога, Павел Александрович?

— Раньше плохо верил, теперь верю. Тому, кто прошел через годы нищеты, легче верить, чем другому. Потому что, видите ли, христианство это религия бедных людей и недаром

в Евангелии есть слова по этому поводу, которые вы наверное помните.

— Да, да, — сказал я. — Но я помню не только это. Мне пришлось однажды читать поучительнейшую энциклику папы, забыл которого, где доказывалось, что взгляды Церкви на богатство и бедность надо уметь правильно толковать. В частности, об отдаче бедным не только всего имущества, но даже десятой его части, не может быть и речи: это недоразумение. Десятая часть — это с процентов от дохода. Капитал же никакому христианскому обложению не подлежит. Но это, конечно, анекдотично, и если есть ад, то я думаю, там этот папа, жарясь много столетий на гигантской сковороде, успел понять свое гибельное заблуждение по поводу взглядов Церкви на имущественный вопрос.

— Раньше я думал, что умру так же, как умирали мои товарищи с rue Simon le Franc, — продолжал Щербаков. — То есть, что однажды, на рассвете зимнего дня, мой труп найдут где-нибудь недалеко от Сены, рядом со скамейкой, покрытой инеем. Это было бы естественно.

Небольшая лампа с абажуром освещала его лицо, спокойное и задумчивое.

— И знаете, эта мысль мне всегда была обидна, я с завистью смотрел на богатые похороны, вплоть до того, что мечтал: вот бы мне так умереть. И теперь я иногда представляю себе собственную кончину именно так, не без некоторого, я бы сказал, даже уюта: завещание, нотариус, долгая болезнь ,воспитывающая во мне смирение и готовность к последнему переходу, предсмертное причащение, траурное объявление в газете — «со скорбью извещают о смерти Павла Александровича Щербакова»... потом день и час погребения...

— Подождите, подождите, Павел Александрович, — сказал я, — что это за похоронная поэма? К тому же, насколько я знаю, у вас нет ни близких, ни знакомых, не считая ваших недавних коллег, завещание вам оставлять не для кого — и кто придет на ваши похороны? Так что даже с точки зрения

чисто обстановочной, так сказать, извините меня за откровенность, мне ваши мечты кажутся спорными.

— Может быть, — ответил он рассеянно. — Но уверяю вас, они не лишены некоторой приятности.

Я сказал ему, что теоретически это понимаю, но что мне трудно в это как следует вникнуть. Я сказал, что мне смерть всегда представляется как катастрофа: мгновенная или медленная, неожиданная или естественная, но именно катастрофа — призрак потустороннего ужаса, от которого стынет кровь. Понятие уютности к этому никак не подходит. Он заметил, что такой взгляд в моем возрасте — он подчеркнул это — понятен, и спросил, нет ли у меня, между прочим, явной нелюбви к кладбищам.

— Нет, — сказал я. — Вот в них, пожалуй, есть нечто успокоительное.

И когда мы заговорили об этом, я вспомнил, как давно, когда я был в военном лагере, на берегу Дарданельского пролива, меня назначили по наряду рыть могилы. Я рассказал это Павлу Александровичу. Кладбищем заведывал пожилой, усатый полковник, говоривший с сильным кавказским акцентом. Он приходил несколько раз смотреть на мою работу и говорил:

— Ройте, ройте, дорогой, глубже, пожалуйста. С о в с е м г л у б ж е ройте.

Когда он пришел в последний раз, я стоял на дне прямоугольной ямы в полтора человеческих роста. День уже клонился к вечеру.

— Теперь хорошо, — сказал он, — можете вылезать оттуда, дорогой.

— Господин полковник, — сказал я, — можно вас спросить, кому именно я оказываю эту последнюю услугу? Кого будут хоронить в этой могиле?

Он сделал неопределенный жест рукой.

— Неизвестно еще, дорогой, неизвестно. Все под Богом ходим. Завтра вы умрете, дорогой, вас хоронить будем.

А потом, много лет спустя, я узнал, что этот полковник

стал рабочим во Франции и умер где-то возле Рубэ. И я пожалел в ту минуту, что это не случилось тогда, на берегу Дарданелл и что его не опустили в вырытую мной могилу, в теплую, глинистую землю, куда так мягко входила кладбищенская лопата; это избавило бы его от долгих лет невеселой жизни, и может быть, умирая тогда, он унес бы с собой еще какие-нибудь иллюзии, несостоятельность которых выяснилась именно за это время и именно потому, что он опоздал умереть.

— Может быть, это так, может быть, иначе, — сказал Павел Александрович.

Затем разговор перешел на другое, он рассказывал мне воспоминания прежних своих лет и мне почему-то особенно запомнилось — может быть оттого, что я представил себе это с необыкновенной зрительной отчетливостью, — одно его приключение, в общем незначительное. Он шел однажды зимой, на севере России, по лесу, это было незадолго до революции, когда он был офицером; его бульдог, бежавший перед ним, вдруг начал свирепо лаять. Он поднял глаза и недалеко от себя, на дереве, увидел рысь, сидевшую с каменной неподвижностью. На нем была форменная шинель, шашка и револьвер. Он выстрелил из револьвера в рысь, но не убил ее, а только ранил — и тогда она огромным прыжком бросилась на него. Он успел отступить на шаг, она упала на четыре лапы прямо перед ним и в ту же секунду на нее навалился бульдог. Павел Александрович не решался стрелять, боясь задеть собаку и пустил в ход шашку, которой распорол ей брюхо, в то время как бульдог, не разжимая челюстей, держал ее за горло. Снег был красный от крови и в розовом закате зимнего дня медленно летали вороны. Я видел перед собой этот мертвый кошачий оскал рыси, белую целину, поднятую борьбой, и молодого офицера с шашкой в руке. Я посмотрел на его лицо сейчас, — оно выражало спокойную усталость, — подумал о том, сколько лет прошло после этой российской зимы, и ощутил, как мне показалось, неудержимое движение времени.

Потом речь зашла о путешествиях и Павел Александрович сказал, что он собирается через некоторое время, если всё будет благополучно, переехать на постоянное жительство в Канаду, подальше от Европы, ее политических судорог и неизменного ощущения смутной тревоги, наполняющего воздух, которым мы дышим.

— Подумайте, — сказал он, — ведь здесь каждый камень пропитан кровью. Войны, революции, баррикады, преступления, деспотические режимы, инквизиция, голод, разрушения и вся эта историческая галлерея ужасов, — участь Богемии, Варфоломеевская ночь, солдаты Наполеона в Испании — помните серию рисунков Гойя? Европа живет как убийца, преследуемый кровавыми воспоминаниями и угрызениями совести — в ожидании новых государственных преступлений. Нет, я слишком стар для этого, я устал. Меня всё тянет к теплу и покою. Я столько лет мерз и голодал, безнадежно, в смутном ожидани смерти или чуда, что теперь, я считаю, я заслужил право на отдых и на некоторые иллюзорные и сентиментальные утешения, последние, вероятно, которые мне суждены.

«Иллюзорные утешения» — да, лучше нельзя было сказать. Стало быть, и он это понимал, несмотря на свое позднее ослепление, стало быть, даже от его взгляда не ускользнула та преступная тень на лице Лиды, которая заставляла меня всякий раз, что я ее видел, испытывать отвращение и тревогу, одновременно с непонятным и унизительным тяготением к ней.

— А что вы? как вы живете? — спросил он.

Я сказал ему, что я продолжаю существовать как-то ощупью, в постоянном и беспредметном беспокойстве, почти метафизическом, и что я чувствую по временам такую душевную усталость, точно мне бесконечно много лет.

— Что-то у вас неладное, милый мой, — сказал он. — А так на вас посмотреть, вы совершенно нормальный человек. Может быть вам на берег моря или в глухую деревню бы надо, вы об этом подумайте.

Я пожал плечами. Затем я взглянул на книжные полки и впервые заметил, что на одной из них стояла небольшая желтая статуэтка, которой я не мог как следует рассмотреть. Я спросил Павла Александровича, что это такое. Он поднялся с кресла, снял ее и передал ее мне.

Это была статуэтка Будды, из литого золота. Вместо пупка у Будды был довольно крупный овальный рубин. Меня удивила его поза: в противоположность тому, что я привык видеть, он был представлен не сидя, а стоя. Обе руки его были прямо вытянуты вверх, без малейшего сгиба в локтях, безволосая голова была склонена несколько набок, тяжелые веки нависали над глазами, рот был открыт и на лице было выражение сурового экстаза, переданное с необыкновенной силой. На золотом животе, с непонятной и мертвой значительностью, тускло блестел рубин. Статуэтка была настолько замечательна, что я долго смотрел на нее, не отрываясь, и успел за это время забыть, где я нахожусь. Потом наконец я сказал:

— Прекрасная вещь. Где вы ее достали?

Он ответил, что недавно купил ее здесь, в одном из антикварных магазинов.

— Я смотрю на нее довольно часто, — сказал он, — и, конечно, всякий раз при этом думаю о буддизме, к которому чувствую тяготение.

— Соблазнительная религия, мне кажется.

— Чрезвычайно, чрезвычайно. В силу исторической случайности, мы христиане; мы могли бы быть буддистами, именно мы, русские.

То, что он говорил потом, мне показалось спорным — может быть оттого, что в такого рода суждениях трудно было избежать несколько произвольных обобщений. Кроме того, я был склонен думать, что почти все религии, за исключением отдельных, варварских культов, в какой-то момент почти совпадают и экстаз Будды, например, переданный с такой убедительностью в золотой статуэтке, напомнил мне

некоторые луврские видения и, в частности, восторженное лицо святого Иеронима.

— Да, надо до этого дойти, — сказал Щербаков. — Надо дойти до понимания Нирваны. Мне раньше всё казалось, что это похоже на то, как если смотреть в бездонную и темную пропасть, а потом я понял, что это не так.

И я подумал, что может быть и мне следовало стать буддистом, — именно из-за стремления к Нирване. Я рассказал Павлу Александровичу, как в минуты наиболее напряженного душевного существования я неизменно испытывал желание раствориться и исчезнуть.

— И я думаю, — сказал я полушутя, полусерьезно, — что если бы мне удалось рассказать об этом Будде, то великий мудрец отнесся бы ко мне снисходительно.

Было уже поздно, а мы всё сидели и говорили о самых разных вещах — о буддизме, о живописи Дюрера, о России, о литературе, о музыке, об охоте, о том, как звенит снег от мороза, как дрожит полоса лунного света на поверхности моря, о том, как умирают нищие на улицах, о том, как живут калеки, об американской городской цивилизации и о зловонии Версаля, о том, что миром правят иногда невежественные и преступные тираны и что земная апокалиптическая мерзость, характерная для любой эпохи человеческой истории, повидимому, так же неизбежна, как отвратительна.

Когда я вышел оттуда, было ровно без десяти час. Я очень хорошо это запомнил, потому что взглянул на часы и мне вдруг показалось, при неверном свете фонаря, что было всего пять минуть одиннадцатого, и это меня удивило. Но затем я посмотрел внимательнее и увидел свою ошибку. Я мог бы, может быть, попасть еще к последнему поезду метро, но решил пойти пешком. Ночь была беззвездная и холодная; кое-где, вдоль троттуаров, блестели замерзшие полоски воды. Я смотрел на всё окружавшее меня рассеянно, продолжая шагать по знакомой дороге; потом я посмотрел прямо перед собой и заметил, в желтоватом зимнем тумане, что не было

больше ни улицы, ни фонарей, которые непонятно как исчезли. Я остановился, закурил папиросу и оглянулся вокруг себя. Не было действительно ни домов, ни улицы: я стоял посередине моста через Сену. Я оперся о перила и долго смотрел на темную поверхность реки. Она беззвучно текла между теми статуями русалок, которых я не узнал тогда, когда возвращался из несуществующей тюрьмы воображаемого государства. Я глядел вниз, на воду, и постепенно переставал чувствовать ту бедную ограниченность моих созерцательных способностей, которую ощущал всегда, пока не видел перед собой небо или воду. Тогда мне начинало казаться, что я больше не стиснут со всех сторон — несовершенством моих чувств, временем, обстоятельствами, личными и незначительными подробностями моей жизни, моими физическими особенностями. Тогда у меня бывало впечатление, что только теперь я ощущаю душевную свободу, так, точно ее отражение приближалось ко мне, исполняя чье-то божественное сбещание, — в безмолвном великолепии воздушной или водяной бесконечности. И о чем бы я ни думал в эти минуты, мои мысли текли не так, как в обычное время, и в них появлялась некоторая отрешенность от внешних обстоятельств, влиявших на них. Иногда я забывал, с чего именно начались эти размышления, иногда, напротив, я твердо помнил это. Но я, конечно, знал, что никогда не найду того таинственного и давно потерянного начала, которое исчезло в немой неподвижности ушедшего времени. Мне казалось, что я слежу сейчас со стороны, откуда-то из этого воздушного или водяного пространства за длительным движением того неопределимого множества самых разнородных вещей, — предметов и соображений, каменных домов и воспоминаний, поворотов улиц и ожидания, зрительных впечатлений и отчаяния — в котором проходит мое существование и жизнь других людей, моих братьев и современников.

И вот, я думал теперь о той странной притягательности, которую имело для меня это желание моего собственного исчезновения. То, что казалось мне соблазнительным, могло

быть таким и для других, и в частности, для Павла Александровича. Он, может быть, недаром говорил о буддизме, который в его представлении сводился, главным образом, к возможно более полному избавлению от тленной земной оболочки. Нужно было избавиться от этого постоянного и тягостного состояния: зависимости нашей душевной жизни от той презренной, в сущности, физической субстанции, через которую проходит наше восприятие мира, и которая, в конце концов, недостойна выполнять эту, как он выразился, торжественную миссию. Человек, который так думает, уже затронут каким-то нарушением душевного равновесия, он уже слышит отдаленный призыв другого мира, отвлеченного и величественного, как конец времен, о котором так настойчиво говорят священные книги. По сравнению с ним — какую ценность представляет эта бедная совокупность чувственных радостей, которые остались для него? Если бы он был моложе на несколько десятков лет, если бы у него было неутомимое сердце, огромные легкие, мускульная сила юного и атлетического тела, — тогда, может быть, это языческое неистовство земных страстей сделало бы его непроницаемым и для буддизма и для созерцания.

И как это часто бывало у меня — может быть, именно потому, что мне было двадцать пять лет и я не знал физических недомоганий, и для меня чувственный мир был не менее притягателен, чем созерцательный, — мои мысли были прерваны зрительным воспоминанием. Я увидел перед своими глазами два стеклянных круга моего полевого бинокля, в который я смотрел на кавалерийскую атаку, направленную против нас, моих товарищей и меня, во время войны, в России. Я видел, как сомкнутыми рядами кавалеристы приближались к нам, я видел эти быстрые и ритмические колебания живой массы лошадей и всадников, и я смотрел на это, не отрываясь, с остановившимся дыханием, потому что в этом была неудержимая, казалось бы, сила молодости и мускулов, и это была атака победителей. Это была победа над смертью и над страхом смерти, потому что это было безумие, потому что против

этих людей, вооруженных винтовками и саблями, были направлены пулеметы и пушки. Но никакая мысль и никакое соображение не могли остановить этой слепой и самозабвенной силы. И я отвел бинокль от глаз, испытывая смертельное сожаление оттого, что всадники были уже в двухстах метрах от нас и через секунду по ним стали бить орудия и десятки пулеметов; и несколькими минутами позже их волны были скошены огнем и на выжженной траве неровного поля лежали только трупы и умирающие. И от всего этого не осталось ничего, кроме сохраненных во времени и пространстве и отражавшихся сейчас на уходящей поверхности ночной реки в далеком и чужом городе — двух стеклянных кругов моего полевого бинокля и еще, того повторного замирания сердца и того воспоминания о сраженных победителях, в котором вновь, через столько лет, начиналась их героическая и бессмысленная атака.

Темная вода всё так же беззвучно двигалась перед моими глазами. Если исключить из жизни то убогое наслаждение, — я думал о Павле Александровиче, — которое дают чисто телесные ощущения, тепло, обед, кровать, Лида, сон, то что остается? Восторженное лицо Будды? исступление святого Иеронима? смерть Микел-Анджело? Для того, кто знал эту холодную притягательность небытия, — что могла значить эта биологическая дрожь существования? «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет». И то, что происходит сейчас, здесь, если смотреть на это со стороны, как-то особенно нелепо: зима, февраль, Париж, мост над Сеной, глаза, которые смотрят на темную реку, и безмолвный поток мыслей, образов и слов, в невероятном смешении времен и понятий — Павел Александрович Щербаков, Лида и вся ее жизнь, Будда, святой Иероним и Откровение Иоанна, кавалерийская атака, бинокль, небытие, и случайный физический облик человека, который стоит в синем пальто, опершись локтями об тяжелые перила, та хрупкая матерьяльная оболочка, в которой воплощена часть этой таинственной совокупности движений.

В эту секунду во мне что-то сместилось, — я не мог бы сказать иначе. Мой взгляд, который до сих пор был неподвижно устремлен всё в одно и то же место реки, скользнул дальше и в поле моего зрения поплыли дрожащие отражения фонарей. Я отвел глаза от реки и в чудовищной быстроте зрительного взлета передо мной появились, далекие и холодные, звезды зимнего неба. А может быть, мне еще суждено проснуться однажды утром или однажды ночью, забыть об отвлеченных ужасах и начать жить так, как я жил раньше и как должен был бы жить всегда, не в фантастике, окружавшей меня со всех сторон, а в непосредственной действительности существования. Небытие не уйдет от меня, оно только немного отдалится. И это позволит мне почти забыть о нем и я буду всё воспринимать иначе: проведя ночь с женщиной, я буду испытывать чувство благодарности к этому бедному телу, которое мне принадлежало; читая плохую книгу, я не буду презирать какого то умершего человека, когда-то ее написавшего, и мне начнет казаться, что в известном смысле всё или почти всё имеет свое оправдание и что я живу, окруженный этой скудной человеческой теплотой, в мире, где плачут от того, что умер ребенок или убит на войне муж, где говорят — я никого не любил, кроме тебя, — где живут маленькие дети и щенята, в том мире, за пределами которого только холод и смерть.

Я вдруг почувствовал, что продрог до костей; я поднял воротник пальто и ушел с моста. Но я продолжал думать о Павле Александровиче и об его удивительной, в конце концов, судьбе. Я вспомнил, как он мне говорил, что его спасла эта неопределимая болезнь и чем больше я об этом размышлял, тем больше я был склонен полагать, что невозможность пить вино, эти боли и рвоты, всё это было, может быть, даже не болезнью, а каким-то загадочным проявлением инстинкта самосохранения, того самого, которого так нехватало его товарищам по несчастью. Что стало бы со всем его наследством, если бы он оставался алкоголиком? И я еще раз увидел его таким, каким он предстал передо мной впервые, — старым оборванцем в Люксембургском саду. В моих ушах звучали

его слова, которые мне было неловко слушать и которые он мне сказал значительно позже, после того, как разбогател:

— Я не верну вам тех десяти франков, которые вы мне тогда дали, за это так отблагодарить нельзя. Я это очень оценил. Я знаю, что вы к деньгам равнодушны, более или менее, конечно. Но старому нищему столько не дают.

И вот теперь он сидит в кресле, в теплой, хорошо обставленной квартире, смотрит на полку с книгами и на золотого Будду и думает о спокойной смерти. Вечером приходит Лида и отдает ему свое послушное тело; затем она поднимается с его кровати и уходит к себе и он засыпает до утра — на белых простынях, под стеганым одеялом. Утром он пьет кофе, затем читает газету, потом завтракает, потом идет или едет гулять. Вечером он идет иногда в театр, иногда на концерт, иногда в кинематограф. И никаких забот, ни о том, что будет завтра, ни о деньгах, ни о будущем вообще, этот постоянный и теплый уют, камин, диваны, кресла, мягкие шаги по толстому ковру его кабинета. Как нелепо показалось бы ему еще два года назад, когда он скитался холодными, зимними днями по Парижу, спускаясь время от времени в теплое и дурно пахнущее метро, — если бы тогда ему сказали, что через некоторое время он будет жить так, как живет сейчас! А вместе с тем, в этом не было ничего ни чудесного, ни невероятного. Это произошло просто потому, что за полторы или две тысячи километров от Парижа, однажды море было холодным, и свирепого, скупого старика, отплывшего даже не очень далеко от берега, схватила смертельная судорога, он пошел ко дну, вода наполнила его легкие и он умер. В этом не было ничего, кроме последовательности самых естественных вещей: температуры воды в северном море, склонности к артритизму, характерной для известного возраста, недостаточного уменья плавать или, может быть, внезапного удара.

«В лоне Авраама, Исаака и Иакова упокой»... «Я думаю об этом даже не без некоторого удовольствия»... И вдруг мне показалось, что в этих словах была какая-то бесконечно печальная истина. Может быть, действительно было бы лучше,

чтобы он умер теперь, именно теперь, как было бы лучше для моего коменданта кладбища умереть тогда, в Греции, а не значительно позже, в фабричном поселке Франции. В конце концов, именно теперь он, Павел Александрович Щербаков, по настоящему счастлив. Что будет потом? Он привыкнет к этому комфорту и перестанет его ценить, ему станет казаться, что он так жил всегда, и что вещи, которые с ним происходят, естественны и скучны. Ему пойдет седьмой десяток и в самом недалеком будущем те жестокие лишения, которые он пережил, начнут давать о себе знать, начнутся недомогания, болезни, доктора и всё то тягостное, что несет с собой старость, и непоправимое сознание, что деньги пришли слишком поздно: вместо желаний будут боли, вместо аппетита — отвращение к еде, вместо глубокого сна — длительная бессонница. Да, было бы лучше, если бы он умер теперь. Он знал всё: молодость, расцвет сил, опасность смерти на войне, страсть, вино, нищету, глубочайший человеческий упадок и неожиданное возвращение в тот мир, который давно стал для него недоступен, этот невероятный переход от напоминания к напоминаемому, от небытия к жизни. Что еще оставалось для него — в пределах одного человеческого существования? Никакой отдых не вернет ему потерянных сил, потому что время отняло у него возможность их полного восстановления: таких чудес всё-таки не бывает. И может быть, действительно, своевременным и достойным завершением этого существования был бы переход туда, где нет «ни болести, ни воздыхания, но жизнь бесконечная».

Может быть, это было бы лучше всего. Но мне лично было бы его жаль. Я любил его душевное спокойствие, его искреннюю доброжелательность ко мне, интонации его глубокого голоса, его неподдельную человеческую привлекательность, — все эти качества, которые он пронес через жестокие испытания и которые он сумел сохранить такими, какими они бывают тогда, когда молодость и сила позволяют человеку роскошь великодушия. Придется ли мне быть свидетелем их постепенного исчезновения и вместо теперешнего Павла

Александровича увидеть перед собой озлобленного старика, утомленного хроническими недугами и ненавидящего других за то, что их собственное здоровье не позволяет им понять ни его страданий, ни его бессильного гнева? Я не хотел бы присутствовать при таком его перевоплощении.

Я вдруг вспомнил опять восторженно-исступленное лицо Будды и его руки, поднятые вверх. Может быть, он видел перед собой ту Нирвану, к которой мы были ближе, чем это нам казалось, которую мы принимали как должное, которой мы даже хотели, к которой мы, в глубине нашего сознания, даже стремились.

«Которой мы хотели». Поставим единственное число вместо множественного: «которой я хотел». Почему, в каком-то умозрительном пространстве, я осуждаю на смерть или на близость к Нирване Павла Александровича Щербакова, почему именно я — так как нигде, кроме моего воображения, это не происходит, а мое воображение, это в конце концов, искаженное отражение меня, — произвольно и насильственно предполагаю его смерть, почему я совершаю это теоретическое умерщвление? И в какой степени я ответственен за это преступление? Потому что в том мире, на пребывание в котором я был осужден своей упорной болезнью, граница между отвлеченным и действительным, между идеей и актом, не была ни отчетливой, ни неподвижной. Мне надо было, например, сделать необыкновенное усилие воли, чтобы вспомнить, принадлежала мне Лида или нет, — в этой комнате с зеркалами. И как наивно было бы думать, что вся моя жизнь, это длительное и сложное движение, начало которого теряется для меня в необъяснимой тьме, может быть сведена к последовательности внешних и очевидных фактов моего существования. Остальное, зыбкое и неверное, могло быть названо уходом от действительности, бредом или сумасшествием. Но и в нем была тоже своеобразная последовательность, не менее несомненная, идущая от одного провала в безумие до другого — до той минуты, вероятно, когда последние остатки моего сознания будут поглощены надвинувшимся мраком и либо я исчезну

окончательно, либо, после долгого перерыва, похожего на многолетний душевный обморок, я увижу себя однажды, в какой-то далекой стране, на краю дороги — неизвестным бродягой без имени, без возраста и без национальности. И, вероятно, тогда мне будет легко на душе и я забуду эту уголовную мрачность воображения, эту отвлеченную отвратительность разврата и это теоретическое умерщвление.

Было больше двух часов ночи, когда я подходил к гостинице, в которой жил. На углу меня остановила Мадо и попросила у меня папиросу. Потом она посмотрела на меня и сказала:

— У тебя странный вид сегодня. Ты что, очень устал?

— Это свет фонаря, который так падает на мое лицо, — ответил я. — Нет, я не устал, мне просто хочется спать.

— Ну тогда спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Мадо.

Я поднялся к себе, сдернул покрывало с дивана и в мягком свете забелели простыни и наволочки. Я помню, что я мечтал, раздеваясь, заснуть без снов, проснуться утром и забыть весь этот ненужный и воображаемый абсурд.

Я проснулся, однако, с тяжелой головой. Приняв холодный душ и побрившись, я вышел из гостиницы. Направо от входа я с удивлением заметил закрытый автомобиль темно-синего цвета, в котором обычно ездят полицейские. Едва я успел сделать несколько шагов, как я почувствовал чью-то руку на своем плече. Я обернулся. Передо мной стоял широкоплечий мужчина в штатском, с гладким и невыразительным лицом

— Вы арестованы, — сказал он. — Следуйте за мной.

Я был настолько поражен, что в первую минуту ничего не ответил. Тотчас же подошел второй человек в штатском, мы сели в автомобиль и поехали. Только тогда я спросил:

— По какой причине я арестован?

— Вы это должны знать лучше, чем кто бы то ни было.

— Я ничего не понимаю.

— Тогда будем надеяться, что это недоразумение, которое скоро выяснится.

Автомобиль остановился на набережной Сены. Я сидел в приемной; один полицейский инспектор оставался со мной, другой ушел и был довольно долго в отсутствии. Я чувствовал по-прежнему тяжесть в голове и странное безразличие ко всему происходящему, и успел подумать, что это было похоже на тот длительный бред, который привел меня в дом предварительного заключения на территории фантастического Центрального Государства.

Наконец, меня ввели в другую комнату, где сидел очередной инспектор. Справа и слева от его кресла стояло еще несколько человек, которые мне показались очень похожими друг на друга. У того, кто начал меня допрашивать, было бритое и печальное лицо, он был немолод, у него было усталое выражение, как будто бы принятое раз навсегда. Он спросил, как моя фамилия, где я живу, чем я занимаюсь, где и когда я родился. Я ответил. Он посмотрел на меня в упор и вдруг спросил с непонятным упреком в голосе:

— Почему вы его убили?

И в ту же секунду я почувствовал, что теряю под собой почву. Точно издалека, со стороны, я увидел себя идущим по улице, этой ночью, и вспомнил то, что я думал тогда, и что, как мне казалось, не могло иметь никакого отношения ко всему, происходившему сейчас. Я встряхнул головой и сказал:

— Извините меня, я не очень хорошо себя чувствую и не понимаю, о чем вы говорите. Что вы имеете в виду?

— Я думаю, что не сообщу вам ничего, что вам не было бы уже известно. Mr Щербаков сегодня утром был найден убитым в своей квартире.

Мне опять показалось, что я в бреду и что у меня нет сил из него уйти. Я, конечно, допускал мысль об его смерти, я даже в какой-то мере был склонен думать, что она была бы своевременна именно теперь. Сквозь мутный туман на меня

смотрели с угрозой и упреком человеческие глаза. Я вспомнил с усилием, что это были глаза инспектора.

— Это было чисто теоретическое положение, — сказал я. — Это даже не было желание, это было произвольное логическое построение.

— К несчастью, я не вижу в этом никакого теоретического элемента. Щербаков был убит ударом ножа в затылок. Удар был нанесен сзади, когда он сидел в кресле.

Я стоял, низко опустив голову. Нет, такого совпадения быть не могло. Это было произвольное логическое построение, я готов был повторить это тысячу раз. Никто, кроме меня, не мог об этом знать, и моя мысль не могла быть передана на расстоянии какому-то неизвестному убийце. А вместе с тем по времени это совпадало. Нет, этого, конечно, не могло быть.

— Это мне представляется невозможным, — сказал я. И внезапно я понял, что не было ничего более опасного, чем то, что происходило сейчас. То, что я говорил, должно было казаться инспектору иным, чем было в действительности, и если я буду продолжать этот диалог с самим собой, это может меня окончательно погубить.

— Дайте мне, пожалуйста, стакан воды, — сказал я.

Он дал мне стакан воды и папиросу. Потом он сказал:

— В конце концов, я был бы только рад, если бы выяснилось, что вы не убийца. Но это нужно доказать и я могу расчитывать только на вашу помощь.

— Я вам искренно благодарен.

Потом пришел полицейский, который должен был сопровождать меня к фотографу. Там меня посадили на вращающийся металлический табурет, выкрашенный белой масляной краской; свет рефлекторов бил мне в лицо, табурет поворачивался в разные стороны, щелкал фотографический аппарат. Затем меня заставили отпечатать на белой бумаге все мои пальцы, вымазанные предварительно какой-то черной массой, и отвели обратно.

Несмотря на то, что в кабинете, где меня допрашивали,

было достаточно светло, мое лицо освещала лампа почти такой же силы, как те, при которых меня только что снимали. Я вспомнил, что это обычный способ допроса.

Но первого инспектора не было. На его месте сидел незнакомый мне человек, совершенно на него непохожий, с мрачным и скучающим выражением лица.

— Ну что? — сказал он.

— Я вас слушаю.

Он сморщился от скуки и отвращения.

— Покончим с этим скорее, — сказал он. — Мне надо идти завтракать, вам надо отдохнуть. Делайте ваше чистосердечное показание, я вам постараюсь помочь. Каковы были мотивы вашего поступка?

— Мне бы хотелось выбраться из этого лабиринта, — сказал я, отвечая на собственную мысль.

— Мне тоже. Но это не ответ на вопрос, который я вам поставил. Я повторяю его: каковы были мотивы вашего поступка?

Я делал над собой необыкновенные усилия, чтобы перейти эту границу, которая разделяла мои размышления о судьбе Павла Александровича, размышления, вызванные несомненной симпатией к нему, от фактов, которые мне ставились или могли быть поставлены в вину. Я прекрасно понимал глубочайшую разницу между темным чувством моей теоретической вины перед ним и тем ударом ножа сзади, который вызвал его смерть. Я это понимал, но сплетение того и другого было настолько крепко, что, стараясь оставаться в области фактов, я всё время упирался точно в незримые стены, отделившие меня от простейшей логической убедительности. Я не мог выйти из этого душевного тумана, хотя я знал, что дальнейшее пребывание в нем и это абсурдное сознание своей вины — я понимал его нелепость, но не мог избавиться от чувства, лишавшего меня необходимой свободы мышления — грозит мне самой непосредственной и страшной опасностью.

Инспектор задал мне еще несколько вопросов, на которые я не мог ответить с нужной ясностью. Затем он ушел и его

заменил другой. У меня болели глаза от яркого света лампы, мне хотелось пить, есть и курить. Еще через некоторое время я почувствовал, что меня охватывает сон, я на секунду заснул и проснулся от того, что меня трясли за плечи. Кто-то, кого я уже не узнавал, опять спрашивал, что именно толкнуло меня на убийство. Я собрался с силами и ответил снова, что это не поступок, а произвольное логическое построение. Чей то незнакомый голос сказал:

— Он бредит, он слишком устал. Но он еще держится.

Но на этом допрос неожиданно кончился и меня увели. Я шел, спотыкаясь и покачиваясь, как пьяный, между двумя полицейскими. Затем отворилась дверь и я очутился в узкой камере, на полу которой лежал матрац, покрытый одеялом. Я буквально упал на него и мне казалось, что сон охватил меня еще до того, как я успел его коснуться.

Я проснулся, вероятно, через много часов, в полной тьме, и сразу же вспомнил всё. Я знал, что нахожусь в тюрьме и что меня обвиняют в убийстве Щербакова. Только теперь я по настоящему понял, что произошло. Бедный Павел Александрович, недолго пришлось ему пожить по человечески! Но кто же мог его убить и, главное, зачем?

Приблизительно трое суток я провел в том, что тщетно старался обрести постоянно ускользавшую от меня ясность сознания, но тот легкий и непрозрачный туман, который обычно окружал меня во время этих странных душевных недомоганий, не рассеивался. И когда меня, наконец, снова вызвали на допрос, я чувствовал себя немногим лучше, чем в первый день моего ареста.

На этот раз я попал к судебному следователю, пожилому человеку с мягкими глазами. После первых формальных вопросов он сказал:

— Я внимательно просмотрел ваше досье, в нем нет ничего неблагоприятного для вас. Вы отрицаете, что вы убили Щербакова?

— Самым категорическим образом.

— Вы были с ним в хороших отношениях, не так ли?

— Да.

— Давно ли вы с ним знакомы?

Года три.

— Вы помните, когда и где вы с ним встретились впервые?

Я рассказал, как произошло мое знакомство с Павлом Александровичем.

— Значит, в те времена он был нищим?

— Да.

— И через три года мы находим его в комфортабельной квартире на улице Молитор? Это неправдоподобно. Как это могло случиться?

Я объяснил ему. Я заметил, что когда речь шла не об убийстве, мне было гораздо легче отвечать и всё было для меня более или менее ясно.

— Хорошо, — сказал он. — Что вы делали вечером одиннадцатого февраля, другими словами, в день убийства Щербакова? Вы можете вспомнить ваше времяпрепровождение?

— Конечно, — сказал я. Я действительно отчетливо помнил всё, что происходило: холодный вечер, редкие снежинки в свете уличных фонарей, станцию метро «Одеон», откуда я поехал к Павлу Александровичу, и мой приход к нему. Я помнил лица начальника поезда и механика и узнал бы пассажиров, ехавших в одном вагоне со мной. Я описал следователю всё вплоть до меню обеда, которым меня угостил Павел Александрович.

— Вы занимались когда-нибудь физическим трудом? Какое вы знаете ремесло?

Я удивленно посмотрел на него и ответил, что нет, я никогда не занимался физическим трудом и не знаю никакого ремесла. Но он, казалось, сам не придавал значения этому вопросу, потому что тотчас же сказал:

— После обеда вы провели весь вечер в разговорах, не так ли?

— Да.

— Не помните ли вы, о чем шла речь? это очень важно.

И вдруг, в этом месте допроса, я с ужасом ощутил непонятный провал в моей памяти. Я не мог вспомнить ничего о нашей беседе, — так, точно ее никогда не было. От усилия, которое я делал, чтобы восстановить хотя бы часть того, что говорилось тогда, у меня выступил пот на лбу и начала болеть голова. Я собрал свои силы и сказал:

— Извните меня, пожалуйста, я сейчас не в состоянии этого вспомнить. Если бы вы дали мне немного времени, я думаю, что это мне удалось бы.

Его глаза встретили мой мутный взгляд. Он помолчал, кивнул головой и сказал:

— Хорошо, постарайтесь рассказать мне это в следующий раз.

Я опять проспал мертвым сном много часов подряд. Затем я встал и сделал несколько шагов в темноте. Давно я не чувствовал себя как сейчас. Это было почти забытое, счастливое состояние физического и душевного равновесия и это было настолько неожиданно, что я не верил своим собственным чувствам. Далекое лицо Катрин возникло перед моими глазами и исчезло. Случилось то, на возможность чего я почти потерял надежду. Что произошло за эти часы, чья жизнь пролетела через меня, заслоненная тяжелым, непроницаемым сном, что вернулось из небытия? И как то, чего я хотел во что бы то ни стало достигнуть, на что я безрезультатно употреблял такие страшные усилия воли во время этих допросов, — вдруг явилось само собой с такой чудесной несомненностью, за эти несколько часов сна? Я не только не боялся теперь никакого допроса, я ждал его с нетерпением.

Когда меня снова привели к следователю, его лицо было значительно мрачнее, чем в прошлый раз. Я этого не мог не заметить, но это не произвело на меня того впечатления, которое несомненно произвело бы еще накануне.

— Я вам должен сказать, — начал он, — что ваше положение резко ухудшилось. Я не говорю о том, что в квартире Щербакова мы не нашли ничьих отпечатков пальцев, кроме его собственных и ваших.

Он просмотрел какую-то бумагу.

— Есть, однако, одно обстоятельство, еще более трагическое — для вас. Говорил ли с вами Щербаков когда-нибудь о завещании?

— Никогда, — сказал я. — Мне бы показалось удивительным, если бы я узнал, что он об этом думал.

— Его нотариус представил нам, тем не менее, копию его завещания: всё свое состояние Щербаков оставляет вам.

— Мне? — сказал я с изумлением и холодом в спине. — Это совпадение действительно трагическое.

— Последовательность фактов, которые говорят против вас, почти невероятна, — сказал он. — В вечер убийства вы приходите к Щербакову. Вы последний человек, который его видел живым. Ничьих отпечатков, кроме ваших, не обнаружено. Допустим, что это совпадение, — крайне для вас неблагоприятное, но совпадение. Единственный аргумент, который говорит в вашу пользу тот, что с вашей стороны это убийство бесцельно и бессмысленно. И вот мы узнаем, что существует завещание и по этому завещанию всё состояние убитого переходит к вам. Логически недостающее звено — ваша заинтересованность в смерти Щербакова — найдено. Согласитесь, что совокупность улик неотразима. И ответ на тот вопрос, который возникал с самого начала: зачем вам было его убивать — теперь ясен до очевидности. Вы говорите, что ничего не знали о завещании? Но это словесное утверждение, которому следствие противопоставляет целый ряд тяжелых и несомненных улик.

Я всё не мог придти в себя от удивления: как и почему Павел Александрович составил завещание в мою пользу? Я напряженно думал об этом несколько секунд и вдруг мне показалось, что я нашел объяснение всему. Но я не сказал об этом следователю.

— Мне хотелось бы знать, — продолжал он, — что вы можете ответить?

— Прежде всего, что было бы по меньшей мере странно, если бы подтвердилось, что я действовал именно так, как уста-

навливает, не без некоторой внешней логичности, следствие. Что могло бы быть более наивно и глупо, чем поведение такого убийцы? Он знает, что скрыть своего визита к Щербакову он не может, что его заинтересованность в смерти этого человека бесспорна и очевидна, что подозрение в первую очередь должно пасть на него. И вот, он приходит вечером к Щербакову, не случайно, а будучи приглашен, убивает его, уходит домой и полагает, что если его о чем-нибудь спросят, то он скажет, что никого не убивал и этому, конечно, поверят. Согласитесь, что так действовать может только человек, умственные способности которого должны быть предметом клинического исследования.

Всё, что говорил мне следователь, и всё, что отвечал я, отличалось необыкновенной ясностью и отчетливостью, от которых я давно отвык, которые давно были для меня потеряны.

— В логике почти каждого убийцы, — сказал следователь, — и уголовная хроника нам это постоянно подтверждает. — почти всегда есть клинический элемент. Этим она отличается от логики нормальных людей и в этом, так сказать, ахиллесова пята всякого убийцы.

— Да, да, я знаю, некоторый патологический момент, — сказал я. — Это бывает обычно незначительная ошибка в расчете. Но такая явная и сплошная глупость всего поведения предполагаемого убийцы — не кажется ли она вам еще более неправдоподобной, чем эта последовательность совпадений? Для меня сейчас речь идет о жизни и смерти и я буду защищаться до конца. Но я даю вам слово говорить только правду.

Он смотрел на меня далекими глазами, точно задумался о чем-то, чего я не мог знать. Потом он сказал:

— Я действую сейчас, может быть, не так, как должен был бы действовать. Я допускаю мысль, что вы не убийца, хотя, повторяю, все улики против вас. Должен вам заметить, что соображения, которые вы только что приводили, мне тоже приходили в голову: уж слишком всё очевидно и это действи-

тельно странно. Если бы я вас не видел и не говорил с вами, а мне бы рассказали об этом, я бы сказал, что тратить времени на следствие не стоит. Но я постараюсь вам помочь. Вы вспомнили, о чем вы говорили со Щербаковым в этот последний вечер его жизни?

В огромном кабинете было тихо. Я сидел на стуле и курил, и со стороны могло показаться, что здесь происходит между двумя знакомыми мирный разговор на какую-нибудь отвлеченную тему.

— Да, да, — ответил я. — Теперь я прекрасно помню всё. Это началось с того, что я сказал, что люблю смотреть в огонь и нахожу в этой любви к пламени нечто атавистическое. Мой собеседник согласился со мной; потом речь перешла к теме о смерти. Он говорил, что часто о ней думает и что в этих мыслях есть некоторая уютность. Он привел цитату из православной панихиды, текст объявления, которое могло бы появиться в газетах. Я возразил ему, — мне казалось, что смерть, в любом ее аспекте, лишена какой бы то ни было привлекательности. Я вспоминаю теперь совершенно отчетливо, что я сказал ему: у вас нет наследников, з а в е щ а н и е вам составлять не для кого. Затем были некоторые личные воспоминания, не имеющие особенного значения, по моему. Одна из последних тем, которую мы с ним обсуждали, это был буддизм.

— Я понимаю, что это был разговор, лишенный логической последовательности, — сказал он, — то, что мы называем une conversation á bátons rompus. Но, может быть, вы помните, каково было то соединительное звено, та ассоциация, которая обусловила переход от личных воспоминаний к обсуждению религиозной доктрины?

— Нет ничего легче этого, — ответил я. — Над головой моего собеседника...

— Вы хотите сказать: над диваном, на котором он сидел?

— Он сидел в кресле, а не на диване, — сказал я. — Диван находился направо от кресла, несколько в стороне.

— Совершенно верно, я ошибся. Продолжайте.

— Над его головой была полка с книгами и на этой полке стояла золотая статуэтка Будды.

— Вы могли бы ее описать?

— Я ее узнаю из тысячи.

— Чем она замечательна?

Я подробно описал золотого Будду и сказал, что меня поразило исступленное его лицо и сходство этого выражения с выражением святого Иеронима.

Лицо следователя вдруг стало напряженным.

— Странно, — сказал он вполголоса, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне. — Странно. По вашему, эта статуэтка имеет большую ценность?

— Я плохой знаток в такого рода вещах. Для меня она имеет ценность эстетическую прежде всего. Думаю, что она помимо этого должна стоить довольно дорого, она из литого золота и в нее вделан рубин, правда небольшой. Но вообще говоря, статуэтка замечательная.

— Хорошо, — сказал он. — Итак, ваш взгляд упал на золотого Будду и это естественно навело вас на мысль...

— О Нирване и о буддизме. Мой собеседник передал мне статуэтку и тогда я мог рассмотреть ее как следует. До тех пор, пока она стояла на полке, я не видел ее во всех подробностях: горела лампа на столе и полка была в полутьме.

— Что вы сделали со статуэткой потом?

— Я вернул ее моему собеседнику, который поставил ее обратно.

— Вы в этом уверены?

— Простите, в чем именно?

— В том, что он поставил ее на место?

— Совершенно уверен.

— Хорошо, — сказал он. — Будьте готовы к следующему допросу.

Вернувшись в свою камеру, я погрузился в напряженные размышления об убийстве Павла Александровича. В отличие от допрашивавших меня людей, я знал одну существеннейшую вещь, — именно, что не я убил его. Первое предполо-

жение, которое приходило в голову, это, что убийцей был Амар. Но оставалось непонятно, зачем ему было это делать. О ревности не могло быть и речи. О непосредственной выгоде — тоже: Павел Александрович содержал Лиду, на деньги которой жил Амар. Кроме того, квартира была в полном порядке, не было ни следов борьбы, ни попытки грабежа и всё стояло на своих местах. Человек с улицы, случайный преступник? Это в одинаковой мере казалось невероятным — главным образом потому, что не было кражи.

Еще одно обстоятельство тоже казалось странным — способ убийства. Павел Александрович был убит ударом ножа в затылок и смерть последовала мгновенно. Так я понял из беглых замечаний следователя. И это представлялось необъяснимым. Какова была форма ножа? Обыкновенный нож, плоский и широкий, не мог быть орудием убийства. Но помимо этого — и какова бы ни была его форма, — удар должен был быть нанесен с необыкновенной силой и точностью. Вряд ли чахоточный и больной Амар обладал и таким безошибочным глазомером и такими мускульными возможностями. Кроме того — в десятый раз — зачем ему было это делать? Оставалось предположение, вероятнее всего почти абсурдное, но которое всё-таки нельзя было отбрасывать с совершенной уверенностью, что Павел Александрович стал жертвой какого-то маньяка.

Когда меня снова привели на допрос, я напряженно ждал, что скажет следователь. Он сел, разложил перед собой лист бумаги и спросил меня таким тоном, как будто продолжал допрос, прерванный несколько минут тому назад:

— Вы говорите, что помните статуэтку золотого Будды во всех подробностях?

— Да.

— Какое у нее было основание? на чем она стояла? была ли какая-нибудь подставка?

— Нет, — ответил я. — Подставки не было. Снизу статуэтка кончалась плоским квадратным срезом. Это был гео-

метрически правильный квадрат, с той разницей, что углы были слегка закруглены.

Он протянул мне лист белой бумаги и спросил:

— Такой приблизительно срез?

На бумаге неуверенными линиями был нарисован ровный квадрат с закругленными углами.

— Совершенно точно.

Он покачал головой. Потом он посмотрел мне в глаза и сказал:

— Тот, кто убил Щербакова, унес с собой золотого Будду. На полке, покрытой тонким слоем пыли, отпечатался квадрат, рисунок которого вы держите в руках. Если нам удастся разыскать статуэтку, то вы вернетесь домой и будете продолжать ваше исследование по поводу тридцатилетней войны, черновики которого мы нашли у вас. Должен вам сказать, между прочим, что я совершенно не согласен с вашими выводами и, в частности, с оценкой Ришелье.

Затем он протянул мне папиросы — жестом, который мне сразу сказал много и немая убедительность которого была сильнее, чем любая перемена тона. Он сделал это почти машинально, так, как это делают по отношению к знакомому. Я почувствовал необыкновенное облегчение и мое дыхание стало учащенным.

— Теперь перейдем к другому, — сказал он. — Что вы знаете о любовнице покойного, об ее родителях и об ее покровителе? Я с трудом представляю себе, чтобы вопрос об их участии в убийстве ни разу у вас не возникал.

— Я много об этом думал, — сказал я. — Я имею приблизительное представление обо всех этих людях, но меньше всего я знаю Амара, покровителя, как вы его называете, Лиды. Все они крайне малопочтенны. Но должен вам сказать, что я не вижу, какую выгоду для Лиды или Амара могло представить это убийство.

— Можно подумать, что вы лично не заинтересованы в результатах следствия.

— Мои рассуждения несколько отличаются от ваших —

сказал я — и это объясняется, в частности, тем, что у меня есть достоверная истина, которая для вас априорно не установлена: я знаю, что я не убивал Щербакова.

— Alibi Лиды и Амара кажется на первый взгляд бесспорным — сказал он. — Оба они провели всю ночь в дансинге «Золотая звезда». Гарсоны первой и второй смены помнят, что Амар заказывал им шампанское.

— Это была ночь с субботы на воскресенье, народу было много и часовая отлучка могла пройти незамеченной.

— Да, и кроме того, у нас есть некоторые основания не вполне доверять свидетельским показаниям, которые идут из этой среды. Но до доказательства противного мы вынуждены верить этому алиби.

— Повторяю, что для меня неясно, какую цель мог бы преследовать Амар, убивая Щербакова.

— Этого мы не знаем и это аргумент в его пользу. Ни допрос, ни обыск не дали никаких результатов. Родители Лиды провели ночь у себя, они, впрочем, вне подозрения. Что вы знаете о них вообще?

Я рассказал ему то, что мне было о них известно. Он сказал:

— Это, конечно, показательно, но из этого не следует автоматически, что кто-либо из них совершил это убийство, которое им принесло только убыток, грубо говоря. Мы будем теперь искать статуэтку, в которой ключ всего. Не скрою от вас, что найти ее вряд ли будет легко. Я думаю, что мне не придется вас больше допрашивать. Вам остается только ждать: время работает на вас.

И перед тем, как отослать меня, он прибавил:

— Если бы убийца не соблазнился золотым Буддой, вам бы грозила гильотина или бессрочная каторга. И я не думаю, чтобы соображение о том, что это обогатило бы судебную хронику еще одним случаем осуждения невинного, показалось бы вам достаточным утешением.

Я даже приблизительно не представлял себе, сколько времени может продлиться мое ожидание. Но так или иначе, я был уверен теперь, что мне не грозит никакая опасность. Я полагал, правда, что следователь, будучи уверен в моей непричастности к убийству Щербакова, мог бы вернуть мне свободу. Но поставив себя на его место, я подумал, что поступил бы, пожалуй, так же, как он, хотя бы для того, чтобы настоящий убийца Павла Александровича продолжал считать себя в безопасности. Как я впоследствии узнал, это в некоторой степени соответствовало действительности. И тогда же я подумал, что в области элементарной логики все рассуждают в общем почти одинаково и, в конце концов, именно произвольные законы этой своеобразной математики приводят к аресту убийцы или раскрытию преступления, — тем более, что уголовные преступники чаще всего бывают примитивными людьми, неспособными к сколько-нибудь отвлеченному мышлению, и в этом смысле оказываются беззащитными перед самым скромным умственным превосходством среднего следователя. Так должно было, как мне казалось, случиться и теперь.

Я не думал о сроке моего тюремного заключения и не вел счета времени, но помимо моего желания, я был бессознательно подготовлен к тому, что оно продлится, быть может, два или три дня. Но проходили недели и ничего не менялось в моем положении. Мне начинало иногда казаться, что так может тянуться годы, — не потому, что я должен содержаться в тюрьме, а оттого, что я был один, в многомиллионной массе Парижа, был почему-то арестован и мог просто потеряться и быть забытым. Но и это было не размышлением или выводом, а темным и неверным ощущением, это была очередная и очевидная ошибка моих мускулов, моего зрения, моего слуха, всего этого воспринимательного и несовершенного аппарата. Дни проходили за днями. Сначала я не думал почти ни о чем, потом стал вспоминать о самых разных вещах, не имевших, однако, отношения к убийству. И чтобы заставить себя вернуться к обсуждению того, что играло главную роль в решении моей

участи, мне всякий раз нужно было делать над собой усилие. Я ловил себя на том, что трагическая и неожиданная смерть Павла Александровича не вызывала во мне тех чувств, которые я должен был бы испытывать и которые были бы естественны: сожаление и печаль. У меня вдруг бывало такое странное ощущение, — мне было трудно его определить даже для самого себя, — нечто вроде того, что всё, в сущности, начиналось с той минуты, когда стало известно, что Павла Александровича Щербакова больше нет на свете. И он невольно и теперь уж как будто окончательно приобретал для меня тот призрачно-картинный характер, который меня поразил в день моей первой встречи с ним, в Люксембургском саду. Я помнил все мои разговоры с ним, его своеобразную уютность, но это как-то не вызывало во мне теперь эмоционального — я не мог найти другого слова — отклика. И я подумал, что он появился в моей жизни именно тогда, когда всё для меня было призрачно и условно и деревья Люксембургского сада были не более убедительны, чем воображаемый пейзаж далекой страны, которой я никогда не знал. А вместе с тем, произошло именно то, о чем я думал, когда стоял на мосту через Сену, возвращаясь от него домой, в ночь его смерти. Может быть, даже мысль об этом совпадала по времени с той минутой, когда он умирал в своем кресле, не успев этого ни понять, ни почувствовать, ни постигнуть, что это и есть тот переход в иной мир, который он описывал мне в таких лирических тонах. В этом, собственно, и состояло преступление, — как почти каждое убийство: у него отняли то, чего он только начинал ждать, то, к чему его должен был привести длительный путь, медленный и постепенный отказ от всего, приближение к Нирване, как он сказал бы, вероятно, мне в нашей очередной беседе, которой никогда не будет. И теперь я думал, что был неправ, полагая, что ему следует умереть раньше, чем он перестанет ценить свое неожиданное счастье; я произвольно лишал его самого важного периода его жизни. Я отнимал у него — и моим единственным утешением было то, что это оставалось в области чистейшей теории, — право на собственную смерть, которое принадлежало только

ему и никому другому. Но у него было слишком мало времени, — и кто мог знать, что не будет ни медленности, ни приближения к Нирване, а будет короткий хрип и мгновенная тьма? И не будет ни объявления в газетах, ни «ложа Авраама, Исаака и Иакова», и вместо этого, в анатомическом театре будет лежать перед вскрытием окоченевшее тело пожилого мужчины, то самое тело, которое еще вчера Лида держала в своих вялых объятиях, закрывая глаза и думая об Амаре?

Я заметил в своем теперешнем состоянии одну особенность, связанную, быть может, с тем, что я был заключенным: если я начинал о чем-нибудь думать, то мне было труднее, чем раньше, перенести внимание на другой предмет. Обычно я делал это почти автоматически; теперь у меня было впечатление, что образы, занимавшие мое воображение, потеряли ту легкость, которой обладали раньше, и главное, перестали подчиняться моей воле, от которой больше не зависело ни их появление, ни их исчезновение. Может быть, это было так, потому что я устал. Я сопротивлялся этому как мог, но, повидимому ,у меня оставалось мало сил. Наступила наконец минута, когда я ясно понял невозможность отдалить от себя то, что так давно уже приближалось ко мне, то, о чем я раз навсегда запретил себе думать, потому что я не знал ничего более тягостного и печального. Это начиналось с трех строк, которые преследовали меня:

But come you back when all the flow'rs are dying,
If I am dead -- as dead I well may be --
You'll come and find the place, where I am lying...

И сейчас же после этого до меня доходил голос, который пел эти слова, и который я слышал в последний раз два года тому назад. И этот голос, и эти слова возникали сквозь сожаление и сознание непоправимости, напоминая мне мой добровольный и бессмысленный отказ от единственной возможности возврата во времени. Как я мог думать тогда, что не имею права на это, — летние вечера, близость Катрин, ее голос, ее

глаза и прозрачная ее любовь? И почему мрачные образы, провалы в небытие, неверность моих собственных очертаний и качающаяся зыбкость моей жизни могли мне казаться настолько непреодолимыми, что, испугавшись этой неизбежной призрачности существования, я ушел в отвлеченную темноту, оставив там, по ту сторону ненавистного пространства, этот голос и эти слова? Зачем я это сделал? Никто не мог знать заранее, что я непременно буду побежден в этой борьбе. В конце концов, неужели моего воображения было недостаточно, чтобы создать условную и соблазнительную фикцию действительности, и неужели у меня не хватило бы силы воплотиться в тот образ, который смутно видела Катрин, который она забыла и который она звала?

But come you back...

И вот, я затворил за собой дверь, чтобы медленно исчезнуть в ее тягостном сне, в ее слабеющем воспоминании. Она ни в чем не была виновата и не она ушла от меня. Я вышел из ее комнаты поздно вечером и я вспомнил, как медленно я спускался по лестнице. Только теперь мне была ясна абсурдная неправдоподобность этой медленности, — потому что это не был уход, это было почти самоубийство, это был прыжок в неизвестность.

И первый раз в жизни я почувствовал, что мне нужна ее помощь и ее поддержка. Я думал о том, знала ли она что-либо обо мне. Представляла ли она себе, что сейчас, в душевных судорогах сожаления, я жду, обвиненный в убийстве, какой будет моя судьба и что мне предстоит — гильотина, бессрочная каторга, или быть может, возвращение золотой статуэтки Будды с его исступленным лицом и стало быть свобода? Но что бы ни случилось, ей я буду обязан единственной моей иллюзией. Только, может быть, меня больше не будет и через несколько лет далекий каторжник, жестоко страдая от очередного припадка палюдизма, будет рассказывать на убогом уголовном жаргоне фантастическую историю своей любви к жен-

щине, в существование которой тогда уже никто не поверит. Но если бы чудом мне когда-нибудь было суждено еще ее увидеть, я рассказал бы ей — как всегда, наполовину по французски, наполовину по английски — о моих допросах, о моем обвинении в убийстве, о моем тюремном заключении. И я бы прибавил, что когда я был заперт в этих четырех стенах, именно тогда я понял самое главное: и постоянный призрак чьего-то чужого существования и обвинение в убийстве и раскаяние в том, что я был теоретически виновен перед тенью моего мертвого друга, и тюрьма, и перспектива медленной или мгновенной смерти, — всё это было менее тягостно, чем воспоминание о моем уходе из ее комнаты тогда, поздним вечером, чем исчезновение той единственной иллюзии, из-за которой, может быть, действительно стоило защищаться до конца.

Я знал, что в эти долгие дни, которые были наполнены, казалось, только моими размышлениями и воспоминаниями и которые так монотонно переходили сначала в сумерки, потом в ночь, — там, за стенами, ограничивавшими мое теперешнее существование, происходит упорная работа. Я делал по этому поводу десятки предположений, но я, конечно, не мог предвидеть даже самым отдаленным и приблизительным образом того, что обусловило мое возвращение на свободу. Я не мог знать, что Томас Вилкинс находился в Париже, как я не знал вообще, что он существует на свете и что именно ему предстоит сыграть в моей судьбе столь значительную роль, объяснявшуюся, в свою очередь, некоторыми его личными особенностями. Томас Вилкинс был собственником большого цветочного магазина в Чикаго и, как он сам говорил, любил больше всего остального — цветы и женщин. Но те, кому пришлось с ним близко познакомиться, были склонны утверждать, что самую большую слабость он питал всё-таки к спиртным напиткам. Он приехал в Париж по делам, поселился

в районе Больших бульваров и скоро стал своим человеком во всех барах этого квартала. Это был полный сорокалетний мужчина с выцветшими глазами. Он обычно появлялся в сопровождении какой-нибудь молодой женщины из числа тех, кого содержатели и гарсоны баров знали давно и хорошо. В пьяном виде он отличался некоторой забывчивостью и нередко оставлял в баре, уходя, то коробку конфет, то какой-нибудь сверток, то собственную шляпу. Ему обыкновенно возвращали их на следующий день.

Розыски золотого Будды были поручены инспектору Прюнье, который, потратив на это несколько недель, нигде не мог обнаружить не только исчезнувшей статуэтки, но даже отдаленных о ней напоминаний. Он, правда, отыскал, не без труда, антиквара, который продал Будду Щербакову несколько месяцев тому назад и который подтвердил это; но его подтверждение, конечно, не могло подвинуть дела. Он дал Прюнье подробное описание статуэтки, точно совпадавшее с тем, которое я дал следователю, и удостоверившись таким образом, что золотой Будда действительно существовал и не был плодом моего воображения, Прюнье принялся за его поиски. Он наводил справки, очень сложными и косвенными путями, у всех скупщиков краденого, но это не дало никаких результатов. Золотая статуэтка исчезла, казалось, совершенно бесследно.

Он возвращался однажды домой, усталый и сонный, поздно ночью, и, проходя по одной из маленьких улиц возле Place de l'Opéra, остановился перед баром, над которым электрическая вывеска сияла красным светом. Изнутри доносилась смутная музыка. Он толкнул стеклянную дверь и вошел. В баре было почти пусто. Он сел на высокий табурет перед стойкой, против кассира, поздоровался с ним, — он знал в этом баре всех служащих, — заказал себе виноградного соку, и увидел справа от кассы какой-то небольшой предмет, завернутый в помятую папиросную бумагу.

Я узнал эти подробности от самого Прюнье, с которым познакомился несколько позже и которого пригласил по-

завтракать в ресторан. Он очень картинно рассказал мне всё, что происходило, детали каждого допроса и последовательность фактов, которая довела его до их логического завершения. Выпив лишнее, он стал совершенно откровенен и признался мне, что недоволен своей судьбой и своей профессией, что он вынужден этим заниматься только из-за недостатка средств и что больше всего на свете его интересует зоология. Когда он начал об этом говорить, он необыкновенно оживился и остановить его было невозможно. Я подумал, что если бы вопрос о классификаціи млекопитающих возник в начале нашего разговора, я бы вряд ли успел узнать что бы то ни было о вещах, которые мне лично казались в данном случае более важными, но которыми он не был склонен придавать значение. Он буквально впал в лирический экстаз, когда заговорил об австралийской фауне, в которой обнаружил удивительные познания: он описывал мне поведение ехидны, нрав утконоса, свирепость динго и трагическую красоту, — как он выразился, — черного лебедя. Он имел точное представление о размерах манджурского тигра, об окраске оцелота, о необыкновенной быстроте бега, характерной для гиеновой собаки, — и его мало, повидимому, смущало то, что я был в этой области явно недостойным его собеседником. Впоследствии я часто встречался с ним, он был милым человеком и носил в себе начало своеобразной зоологической поэзии, в которой, как я ему сказал, было нечто стихийно пантеистическое. К счастью, тогда, в баре, он был далек от зоологии. Он посмотрел на сверток и спросил:

— Что это такое?

— Это забыл один из клиентов, — сказал кассир, — он только что вышел и я даже не успел посмотреть, в чем дело. Что-то тяжелое, во всяком случае.

— Покажите, — сказал Прюнье.

Кассир протянул ему полубесформенный предмет, очертания которого были скрыты несколькими слоями бумаги. Прюнье развернул ее измятые листы и глаза его широко

раскрылись: тускло поблескивая в электрическом свете, на него смотрело восторженное, золотое лицо Будды.

— Ça, par exemple! — сказал он.

Вилкинс был допрошен на следующий день через переводчика; он почти не говорил по французски. Он сначала вообще не хотел разговаривать с полицией, заявил, что он американский гражданин, что он не совершил никакого преступления, что он обратится к американскому консулу с просьбой защитить его от произвола французских властей. Но когда ему объяснили в чем дело, он согласился сообщить то немногое, что мог. Он купил эту статуэтку за триста франков у девушки, с которой провел вчерашний вечер. Статуэтка понравилась ему необыкновенной живостью выражения, как он сказал, и поэтому он решил ее приобрести, хотя она, конечно, не стоила таких денег, так как была из меди и в нее было вделано красное стеклышко. Девушка, собственно, не предполагала ее продавать и согласилась на это, только уступая его настояниям. Это была очень приятная блондинка и звали ее Джорджетт. Прюнье поблагодарил его за показание и спросил в баре, кто именно была женщина, приходившая туда вчера с Вилкинсом.

— Габи, — сказал гарсон.

Через полчаса после этого Габи стояла перед Прюнье. Она начала с того, что у нее все бумаги в порядке, что она ничего не скажет, что ей нечего сказать и что она знает свои права.

— Не говори глупостей, — сказал Прюнье, — и не трать времени. Откуда ты получила статуэтку?

— Это подарок.

— Хорошо. Кто тебе ее подарил?

— Это вас не касается.

— Касается, касается, — сказал он. — Ну?

— Я не скажу.

— Как хочешь, — сказал Прюнье. — Но тогда я буду вынужден тебя задержать за сообщничество и укрывание краденого.

— Вы надо мной смеетесь, — сказала Габи. — Кто будет красть медную статуэтку?

— Тот, кто понимает разницу между медью и золотом. Ну?

Это произвело на Габи необычайно сильное впечатление. На глазах ее появились слезы; она не могла себе простить, что отдала такую ценную вещь почти даром этому американцу, который был совершенно пьян или делал вид, что был пьян, и тоже не понимал, что это золото.

— Гюгюс мне сказал, что это не имеет никакой ценности.

— Можешь идти, — сказал Прюнье. — Только не особенно далеко, ты мне, может быть, будешь еще нужна.

После этого Гюгюс, оффициальный покровитель Габи, был доставлен в тот же кабинет, где час тому назад была Габи. Прюнье бросил на него быстрый взгляд: Гюгюс был таким же, как всегда, — крупные завитки волос на голове, результат длительной работы парикмахера, свирепое бритое лицо, светло-коричневый костюм и серое пальто.

Здравствуйте, господин инспектор, — сказал он.

Здравствуй, Гюгюс, — сказал Прюнье. — Ну, как дела?

Так себе, господин инспектор.

Хочешь папиросу?

Гюгюса очень обеспокоила такая неожиданная любезность со стороны полицейского инспектора; он привык к другому обращению и эта перемена тона не предвещала ничего доброго.

— Ты всегда был хорошим парнем, в сущности, — сказал Прюнье. — Конечно, у тебя были кое-какие недоразумения, но у кого их не бывает?

— Это правильно, господин инспектор.

— Ну вот, видишь. Ты знаешь, что мы делаем всё, чтобы не доставлять тебе неприятностей: ты живешь как хочешь, работаешь как хочешь и мы тебе не мешаем, потому что мы уверены в твоей порядочности.

Прюнье посмотрел на него довольно пристально. Гюгюс отвел глаза.

— Но, с другой стороны, ты понимаешь, так как мы тебе оказываем услугу, то мы расчитываем на твою лойяльность. Мы знаем, что если бы нам понадобились некоторые справки, то ты нам их дашь. Неправда ли?

— Да, господин инспектор.

— Откуда у тебя появилась статуэтка, которую ты дал Габи?

— Я не понимаю, о чем вы говорите, господин инспектор.

— Ты видишь, тебе всё-таки верить до конца нельзя. Жаль. Потому что, ты понимаешь, всё благополучно только до тех пор, пока мы тебе верим. Но если бы мы захотели к тебе придраться, это было бы нетрудно. Пошли бы опять допросы, — ты знаешь, что это такое, — заинтересовались бы твоим прошлым, — ты тоже знаешь, что это такое, — и так далее. Понимаешь? И тогда я бы тебя уж не мог защищать. Я бы сказал: Гюгюс, я ничего не могу для тебя сделать, потому что ты обманул мое доверие. Это ты, я надеюсь, понимаешь? Теперь я прибавлю, что у меня мало времени. Последний раз: откуда у тебя статуэтка?

— Я нашел ее в мусорном ящике, господин инспектор.

— Хорошо, — сказал Прюнье, вставая. — Я вижу, что тебе надоела спокойная жизнь. Что ж, будем действовать иначе.

— Господин инспектор, мне дал ее на хранение Амар.

— Вот это другое дело. Как раз недавно был о тебе разговор и я сказал моим коллегам: ребята, я за Гюгюса всегда готов поручиться. Я очень рад, что оказался прав. Когда он тебе ее передал?

— В ночь на двенадцатое февраля, господин инспектор.

Я не знал ничего обо всем, что происходило в это время, когда я был предоставлен своим собственным размышлениям.

И я думал о том, что моя судьба решается сейчас, именно в эти дни, и что ее решение не зависит от меня ни в какой степени. Меньше, чем когда бы то ни было, всё, что мне предстояло в жизни, могло определяться тем, что я из себя представлял, или тем, к чему я стремился. Я вернулся к этим же размышлениям позже и констатировал лишний раз, что это действительно не имело никакого значения. Важно было то, что существовала золотая статуэтка с квадратным срезом внизу, важно было то, что старый антиквар в очках и ермолке подробно описал ее полицейскому инспектору; важно было то, что Томас Вилкинс, владелец цветочного магазина в городе Чикаго, питал слабость к спиртным напиткам и женскому полу и отличался забывчивостью в пьяном виде. Важно было то, что была на свете Габи и что она работала в районе Больших бульваров. И важно было то, что в этом неправдоподобном соединении пьянства, пристрастия к цветам, продажных женских тел и малограмотных сутенеров возникало золотое воплощение великого мудреца, об учении которого никто из его кратковременных владельцев, ни Вилкинс, ни Габи, ни Гюгюс, ничего не знали — и в возможности его вещественного приближения ко мне заключалось мое спасение. А вместе с тем, что, казалось, кроме слепой и неумолимой механики случая, могло связать мою судьбу, мой длительный бред и мои блуждания с клиентурой цветочного магазина в столице одного из американских штатов, — клиентурой, существование которой позволяло Вилкинсу совершать поездки в Париж? с плохо залеченным сифилисом Габи и Гюгюса и с неизвестной мне жизнью индусского артиста, бесспорному и в какой то мере крамольному искусству которого золотой Будда был обязан своим возникновением? Может быть, этот неведомый мастер, работая над статуэткой, надеялся, что через сотни или тысячи лет, воскресая и перевоплощаясь десятки и десятки раз, он достигнет наконец совершенства и станет почти похожим на величайшего мудреца всех времен и народов, — вместо того, чтобы, прожив обычную человеческую жизнь, не отмеченную ни одной особенной заслугой, умереть и про-

снуться парией и быть окруженным гениями тьмы. И я подумал, что говоря с Павлом Александровичем о том, что и я мог бы, при известных условиях, стать буддистом, я был далек от истины, в частности, потому, что моя судьба в этой жизни слишком живо всё-таки интересовала меня и я нетерпеливо ждал своего освобождения.

Этот день наступил через три недели. Меня опять привели в кабинет следователя. Он поздоровался со мной, — чего раньше никогда не делал, — и сказал:

— Я мог бы вас не вызывать, но мне хотелось вас видеть и у меня оказалось немного свободного времени.

Он расстегнул свой портфель — и в следующую секунду я увидел в его руках золотого Будду.

— Вот ваш спаситель, — сказал он. — Его, однако, было не так легко найти.

Он внимательно смотрел на статуэтку.

— Вещь действительно замечательная, — сказал он. — Но я не нахожу в ней никакого сходства со святым Иеронимом и я боюсь, что это ваше сравнение чрезвычайно произвольно. Какую именно картину вы имеете в виду?

— Должен вам признаться, что я плохой знаток живописи, — сказал я. — Я имею в виду анонимную картину, на которую я обратил внимание в Лувре. Она приписывается, если не ошибаюсь, школе Синьорелли. Мне казалось, что в ее исполнении участвовали двое. Картина изображает святого Иеронима в религиозном экстазе. Он прижимает к голой груди камень, из под которого течет кровь. Его лицо поднято к небу, глаза закатываются в священном исступлении, губы его старческого рта почти провалились; и в воздухе, над его головой, летит изображение Распятия. Мне казалось, что в исполнении картины участвовало двое, потому что воздушное Распятие выполнено небрежно и неубедительно по сравнению с необыкновенной силой выражения, вложенной художником в лицо святого Иеронима. Статуэтка меня поразила с первого же раза именно этим выражением экстаза, которое кажется таким неожиданным у Будды, потому что его лицо на всех

его изображениях, которые мне пришлось видеть, олимпийски спокойно.

— Я надеюсь, что мы как-нибудь поговорим с вами об этом, — сказал он. — Сегодня вечером вы будете спать в вашей собственной постели. Амар еще не арестован, но это, конечно, вопрос времени.

— Ордер о моем освобождении уже подписан? — спросил я. — Я хочу сказать, могу ли я теперь разговаривать с вами, как частное лицо?

— Конечно.

Тогда я привел ему свои соображения по поводу Амара и повторил ему то, о чем я думал неоднократно, именно, что Амар не был способен, по моему, нанести удар такой силы и точности.

— Я его видел, — сказал я. — Это человек физически слабый, изнуренный, повидимому, болезнью. Стоит посмотреть на одну его походку, — он волочит ногу, — чтобы убедиться в этом.

— Мне этот пункт тоже представлялся необъяснимым сначала, — ответил он. — Но впоследствии я имел возможность оперировать данными, которыми вы, конечно, не могли располагать.

— Именно?

— Результаты вскрытия, во-первых, Досье Амара — во-вторых.

— Что показало вскрытие?

— Удар был нанесен не обыкновенным ножом, а трехгранным оружием, несколько похожим на штык. Таким ножом бьют скотину на бойнях.

— Вы хотите сказать...

— Я хочу сказать, что до своей болезни Амар работал на бойнях в Тунисе.

— Да, — сказал я. — Я понимаю. Именно так это и должно было быть.

Вспоминая потом это время, я должен был констатировать преобладание в нем двух вещей: непривычной легкости и такого впечатления, точно я только что присутствовал при исчезновении целого мира. Это было новое и несколько тревожное чувство свободы, и мне всё казалось, что в любую минуту это может прекратиться и что я вновь исчезну из этой действительности, поглощенный очередным приливом той иррациональной стихии, которая до сих пор играла такую значительную роль в моей жизни. Но каждый раз я убеждался, что мои опасения были напрасны или во всяком случае преждевременны.

Лида пришла ко мне, как только узнала о моем освобождении. На лице ее были следы слез, она не могла удержаться от всхлипываний, говоря о Павле Александровиче. По ее словам, она была так же далека от убийства, как я, она никогда даже не допускала возможности такой чудовищной вещи. Амар, о проектах которого она не имела представления, действовал, повидимому, в припадке неудержимой ревности. Счастье недолго баловало ее, — то счастье, которое она заслужила столькими годами безотрадной жизни. Зачем она выписала Амара? Она знала, что я был о ней незаслуженно плохого мнения и готова была мне это простить, потому что я, конечно, не пройдя через ее жизненный опыт, не был в состоянии понять ее побуждений, ее желаний, ее любви. Она была готова искупить свою невольную вину чем угодно.

— Вот я сижу перед вами, — сказала она, — совершенно разбитая и уничтоженная. Судьба отняла то немногое, что у меня было и у меня ничего не осталось. Я спрашиваю вас, что мне делать. Скажите мне это и я обещаю вам, что буду следовать всем вашим советам.

Я слушал ее рассеянно и думал о том, кто ей мог подсказать эти слова. Если это была ее собственная инициатива, то это лишний раз доказывало, что она была умнее, чем этого можно было ожидать.

— Я не вижу, почему именно я должен вам давать советы, — сказал я. — До сих пор вы без них обходились. Вы

говорите так, точно мы связаны какой-то взаимной ответственностью. Это не соответствует действительности.

— Вы полагаете, что мы ничем не связаны? У Павла Александровича был друг, это вы, и была женщина, которую он любил. И вы считаете, что память о нем вас ни к чему не обязывает?

— Извините меня, я не очень понимаю, что вы хотите сказать.

Она подняла на меня свои тяжелые глаза.

— Вы сказали мне однажды, в ответ на мою фразу, — которая вам не понравилась, — о том, что мы принадлежим к двум разным мирам, вы сказали мне тогда, что в вашем мире всё по другому, чем в моем. Иначе говоря, я думала, что если в том мире, к которому я имею несчастье принадлежать, я не могу расчитывать ни на что, кроме ненависти, матерьяльных соображений и животных чувств, в вашем мире я вправе была бы ожидать другого: сочувствия, понимания, какого-то движения души, не продиктованного корыстными соображениями.

Я с удивлением на нее смотрел. Кто ее научил так говорить и так думать?

— Я вижу, что действительно мало знал о вас, — сказал я, — только то, в конце концов, что вы нашли нужным мне сообщить. Но я не мог ожидать, что любовница Амара будет говорить таким языком. Где вы ему научились?

— Вы невнимательно слушали меня, когда я вам рассказывала о моей жизни. Я несколько лет служила у старого доктора, у него была большая библиотека; я прочла много книг.

— И он умер своей смертью?

Она посмотрела на меня с упреком. Я молчал. Тогда она сказала:

— В вашем мире, оказывается, можно быть еще более жестоким, чем в моем. Да, он умер своей смертью.

— То, в чем судьба, — как вы это называете, — отказала Павлу Александровичу.

— Это была двойная смерть. Потому что, мне кажется,

что с той минуты, когда он умер, я тоже перестала существовать.

Я слушал ее слова и испытывал сложное чувство — бешенства, отвращения и печали.

— Слушайте, — сказал я, стараясь говорить спокойно, хотя это мне стоило большого усилия. — Я вам скажу, что я думаю. Вы связали вашу жизнь с Амаром.

— Я его любила, — сказала она вялым голосом.

— Вы видели, вероятно, — недаром же вы были в Африке, — выгребные ямы при ярком солнечном свете. Вы видели, что там внизу, в нечистотах, медленно ползают беловатые, короткие черви. Вероятно, их существование имеет какой-то биологический смысл. Но омерзительнее этого зрелища я ничего не могу себе представить. И я всякий раз, удерживая судорогу отвращения, вспоминаю это, когда думаю об Амаре. Ваша любовь, как вы говорите, к нему окунула вас в эти нечистоты. И никакая сила, никакая готовность следовать чьим бы то ни было советам, никакая вода не смоет с вас этого. Я буду откровенен до конца. Так, как сдают комнаты в гостиницах, так вы сдавали ваше тело, — и скажите мне спасибо за то, что я не употребляю более точного слова, бедному Павлу Александровичу. Согласитесь, что это не стоило той цены, которую он за это заплатил.

Она неподвижно смотрела на меня своим тяжелым взглядом. Я проглотил слюну, мне было трудно говорить.

— Теперь вы приходите ко мне за советом. Но ваши намерения слишком прозрачны, чтобы я мог в них сомневаться. И одна только мысль о вашем прикосновении вызывает у меня отвращение.

— Правда? — сказала она, поднимаясь с кресла. Я встал со стула, на котором сидел. Ее бледное и чем-то неподдельно страшное лицо, — и я подумал, что не случайно она была любовницей убицы, — приблизилось ко мне.

— Уходите! — сказал я почти шопотом, потому что у меня прервался голос. — Уходите или я вас задушу.

Она заплакала, закрывая лицо руками и вышла из комнаты. Я ощущал раскаяние и сожаление, позднее и напрасное, в сущности, потому что я знал, что ничего нельзя было ни исправить, ни вернуть. И я подумал, что и ее поведение и ее расчеты были одновременно и неправильны и естественны. С ее умом она должна была бы понять, что действуя так, она поступает ошибочно. Но она была жертвой той среды, в которой прожила свою жизнь, тех воспоминаний, которые давили на нее, той совокупности мрачных и печальных вещей, которые составляли ее существование. Никакие прочитанные книги не могли этого изменить. Было бы, конечно, несправедливо обвинять ее в том, что она не походила на героиню добродетельного романа. Но она была именно такой, какой была, и из этого вытекало всё, вплоть до выбора ее любовника и ответственности за него. Я, впрочем, не верил, что она ничего не знала о проекте убийства, я только был убежден в том, что она никому бы этого не сказала. И чтобы это узнать, нужно было ждать ареста и признаний Амара.

Он скрылся в тот день, когда за ним пришли, и исчез так же, казалось, бесследно, как незадолго до этого исчезла статуэтка Будды. Прюнье предполагал, что ему, может быть, удалось вернуться в Тунис. Во всяком случае, дни проходили и полиция не могла обнаружить не только его самого, но даже следов его пребывания там, где его искали. И всё-таки, когда следователь сказал мне, что его арест — вопрос времени, он знал, что говорил. Рано или поздно кто-либо из его знакомых или друзей, которому он когда-нибудь резко ответил или который завидовал его временному парижскому благополучию, или который хотел застраховаться перед полицией на всякий случай, в силу этой причины или другой, еще менее значительной на первый взгляд, должен был дать знать кому следует, что Амар скрывается там-то или бывает в таком-то кафе. Это могло произойти в Париже, или в Ницце, или в Лионе, или в Тунисе, но это было неизбежно. Он мог бы уехать в Южную Америку, — на это у него не было, вероятно, средств и вряд ли он думал об этом. Как выяснилось

впоследствии, он прожил некоторое время в Марселе и затем вернулся в Париж.

Его обнаружили в одном из кафе возле Place d'Italie. Он бросился бежать. Описывая потом обстоятельства его ареста, некоторые газеты называли его трусом. Я думаю, что это было несправедливо. У него, конечно, не было морального мужества, как это выяснилось при допросах и позднее, на процессе. Но он обладал несомненной физической храбростью. Он плохо и медленно понимал вещи, которые с ним происходили, это был свирепый и примитивный человек, едва умевший читать и писать. Ни его душевной силы, ни его умственных способностей никогда не хватило бы, чтобы понять необходимость или возможность сопротивления после того, как даже ему стало бы ясно, что его положение безвыходно. Он не был способен понять, что может существовать какая-то иная реальность, кроме той, которая определяется простейшим матерьяльным соотношением сил. Но у него было мужество преследуемого и защищающегося животного. Всё поведение его доказывало, что он плохо, конечно, учитывал положение: если бы он мог это сразу понять, — что было нетрудно, — он сдался бы без сопротивления. Его преследовали двое полицейских. На что он мог расчитывать в своем бегстве? Он волочил ногу и было очевидно, что он далеко не уйдет. Его окончательно погубила ошибка в маршруте: он свернул в тупик, думая, что это улица. Когда первый полицейский догнал его, он ударил его ножом, — опаснейшим в его руках оружием, которым он владел как виртуоз. Оказалось, однако, что этот полицейский стоил любого противника, вооруженного ножом, потому что он успел с необыкновенной быстротой подставить под удар свою толстую синюю накидку. Если бы он сделал это движение на какую-то часть секунды позже, он был бы убит. В это время подоспел второй полицейский, который свалил Амара ударом в подбородок. Еще через полминуты всё было кончено — и в вечерних газетах уже появились фотографии арестованного.

Его решение не отвечать на вопросы было сломлено

очень быстро и он рассказал, не скрывая ни одной подробности, как всё произошло.

Это началось, по его словам, с того, что Зина посоветовала дочери внушить Павлу Александровичу мысль о необходимости составить завещание. Щербаков в течение некоторого времени уклонялся от разговоров на эту тему, но потом однажды сказал, что завещание сделано и лежит у нотариуса. Ни Зина, ни мышастый стрелок, ни сам Амар, ни даже Лида не сомневались, что Павел Александрович всё оставляет, конечно, ей: как это могло бы быть иначе? После этого начались длительные и почти ежедневные обсуждения того, как именно его следует устранить. В ожидании окончательного решения Амар, по совету Зины, стал брать уроки автомобильной езды, — тотчас же после получения наследства он собирался купить машину. У них всех было преувеличенное представление о состоянии Павла Александровича, они были убеждены, что он крупный миллионер. Сожитель Зины предлагал постепенное отравление мышьяком. Зина считала, что лучше открыть газовый кран, когда он заснет. У Лиды не было никаких собственных предположений и хотя она не протестовала против этих семейных проектов, но относилась к ним очень сдержанно.

Но в общем ни один из этих способов не получил единогласного одобрения и никакого решения принято не было. Надо было ждать подходящего случая, чего-то неопределенного и далекого. Амару хотелось иметь автомобиль, он хотел лично распоряжаться деньгами, которые останутся после Щербакова и не мог больше ждать. Поэтому он решил привести в исполнение свой собственный план. Обстоятельства на первый взгляд ему благоприятствовали. Он знал, что я бываю у Павла Александровича, и хотя он никогда меня не видел, но имел обо мне вполне определенное представление и Лида даже сказала ему однажды:

— Этот тип может оказаться опасным.

Внешний расчет Амара был чрезвычайно прост и соблазнителен, но его воображение не шло дальше самых непосредственных вещей. Все улики были против меня. Ему не пришла

в голову мысль поставить себя на мое место и попытаться рассуждать так, как должен был бы рассуждать я, если бы у меня действительно появилось чудовищное и бессмысленное намерение убить Павла Александровича. Ему казалось, что его план непогрешим. В дансинге, когда Лида танцовала с одним из многочисленных кавалеров, он достал из ее сумки ключи от квартиры Щербакова и положил их в карман. Затем он сказал ей, что уходит на короткое время и скоро вернется, вышел на улицу, взял такси и доехал до угла rue Chardon Lagache и rue Molitor. Было около часу ночи. Он стал ждать, когда я уйду.

— Через несколько минут, — рассказывал он следователю, — я увидел, как он вышел из дому. Он постоял немного, посмотрел по сторонам и, засунув руки в карманы, пошел вниз, к rue Chardon Lagache. Я подождал еще четверть часа, потом открыл ключом дверь и вошел.

Павел Александрович спал, сидя в кресле, и ничего не слышал. Амар на цыпочках подошел к нему сзади и ударил его ножом в затылок. Смерть была мгновенной. Он вытер кровь с ножа платком и в эту секунду вдруг увидел на полке золотую статуэтку Будды. Он снял ее, чтобы лучше рассмотреть, и, не думая ни о чем, сунул ее в карман. Потом он вышел на улицу и запер за собой дверь.

Всё было тихо, вокруг не было ни души. Дойдя до Сены, он наколол окровавленный платок на нож, сделал вокруг него узел и бросил это в реку. Затем он перешел на другой берег и опять взял такси, на котором доехал почти до угла той улицы, где находился дансинг. Здесь же он встретил Гюгюса, которому отдал статуэтку, прося сохранить ее некоторое время. Потом он вернулся в дансинг. Оркестр продолжал играть, Лида попрежнему танцовала.

— Это было так, как будто ничего не случилось, сказал он.

Он положил ключи обратно, в сумку. Лида, кончив танец, подошла к столику и спросила Амара, где он был. Он ответил:

— Ты можешь меня поблагодарить, дело сделано.

Но когда несколько позже он рассказал ей, как всё это было, она, по его словам, пришла в бешенство. Она сказала ему, что он действовал как последний дурак, что он погубил их всех, что мне несомненно удастся доказать свою непричастность к убийству, что и инспектора и следователь отнесутся ко мне не так, как отнеслись бы к нему. После этого Амар совершил непоправимую ошибку: он скрыл от Лиды, что взял статуэтку Будды.

Показания Лиды существенно разнились от версии Амара: она ничего не знала об убийстве до того, как оно было официально обнаружено, когда уборщица, приходившая к Щербакову каждое утро, отворила дверь, — у нее был свой ключ от квартиры, — и нашла труп Павла Александровича, о чем тотчас же дала знать в комиссариат. Лида и ее семья никогда не обсуждали проектов убийства; те разговоры, на которые ссылается Амар, носили явно шуточный характер; и Лида и ее родители прекрасно относились к Щербакову и меньше всего желали его смерти. О необходимости составить завещание с ней заговорил сам Павел Александрович, но только потому, что у него была сердечная болезнь и было благоразумно всё предвидеть. Она не могла дать знать в полицию, что убийца — Амар, так как он пригрозил ей, что убьет и ее, если она скажет кому-нибудь хоть одно слово.

Я узнал все эти подробности из газетных отчетов; и, столкнувшись непосредственно с трагическими событиями, положившими конец существованию Павла Александровича Щербакова и обусловившими мое освобождение и мою материяльную обеспеченность, неожиданную почти как его богатство, — я всё больше и больше проникался той мыслью, что судьба Амара и Лиды, так же, как смерть Павла Александровича, составляли часть сложной схемы, не лишенной некоторой зловещей и последовательной логики. Когда Амар был раздет, на его груди полицейский врач увидел татуированную надпись — "Enfant du malheur". Теперь его ждала гильотина или бессрочная каторга. То, что он совершил это

убийство, против которого Лида протестовала не в принципе, а только по чисто техническим соображениям, не было случайно. Это был последний эпизод его борьбы против того мира, в который ему был закрыт доступ — потому что он был полураб, полуполяк, потому что он был едва грамотен, потому что он был беден, потому что он был чахоточным, потому что он был сутенер, потому что там говорили о вещах, которых он не знал, языком, которого он не понимал. И вместе с тем, ему хотелось туда проникнуть, оттого, что там были деньги, хорошие квартиры и автомобили, — главное деньги. И его побуждало даже не только это, а еще и какое-то смутное сознание, что есть другая, лучшая жизнь, для перехода в которую достаточно перешагнуть через труп пожилого и неспособного защищаться человека. В этом заключалась его отвлеченная ошибка — в этом желании уйти от тех условий жизни, в которых он родился и вырос. Он наивно полагал, что для осуществления этой цели у него в руках есть достаточное оружие — трехгранный нож. Он расчитывал, что вечерний визит к его жертве другого человека, почти такого же, как тот, которого он убьет, введет в заблуждение следователя и всех остальных. Он не мог понять, что перед этими людьми он был беззащитен, как ребенок, и что за эту отчаянную и незаконную попытку изменить существующий порядок вещей заплатит своей собственной жизнью. Он был осужден заранее и судьба его была давно предрешена, каковы бы ни были обстоятельства его существования. Конечно, всё это казалось результатом ряда случайностей: Тунис, встреча с Лидой, ее парижское знакомство с Павлом Александровичем. Но внутренний смысл этих случайностей оставался неизменным и был бы таким же, если бы вместо них были другие. Это не изменило бы ничего — или почти ничего.

Он был предоставлен теперь самому себе, его участь не разделил никто и он не мог расчитывать ни на чью помощь и ни на чье сочувствие. Лида не поддержала его потому, что была слишком умна для этого, другие отказались от него, — его товарищи, — потому, что, в сущности, его личная судь-

ба была им безразлична. И позже, ни следователь, ни люди, которые его судили, не испытывали по отношению к нему ненависти ,не были воодушевлены жаждой мщения; он подпадал под такую-то статью закона, далекий составитель которого, конечно, не имел в виду никого в особенности. И для всех, кто, казалось, играл известную роль в решении его участи, было совершенно неважно, что вот он, именно он, Амар, через некоторое время перестанет существовать. В этом была, конечно, какая-то, на первый взгляд, легко доказуемая справедливость, — того же порядка, что своеобразная логика его жизни, приведшая его на гильотину. Но она была чрезвычайно далека от классического торжества положительного начала над отрицательным. Никто никогда не терял времени на объяснение Амару разницы между добром и злом и глубочайшей условности этих понятий. Если он что-нибудь понял из всего, что с ним произошло, то это могло быть только одно: он совершил какую-то ошибку в расчете. Не сделай он ее, никакое сознание своей вины, никакое раскаяние никогда бы не мучило его. Деньги Павла Александровича были бы истрачены и всё было бы в порядке — до той минуты, пока не появились бы какие-нибудь новые факты, которые привели бы его приблизительно к тому, что происходило сейчас. Но вернее всего, он умер бы до этого своей смертью, от чахотки. Он имел несчастье принадлежать к тому огромному большинству людей, — вне его личной принадлежности к уголовному миру, — на интересы которого неизменно ссылались все созидатели государственных принципов, все социальные и почти все философские теории, которое составляло матерьял для статистических выводов и сопоставлений и во имя которого как будто бы происходили революции и объявлялись войны. Но это был только матерьял. До тех пор, пока Амар работал на бойнях в Тунисе, покрытый зловонной кровавой слизью, и получал в месяц столько, сколько тратил его адвокат в течение одного вечера, проведенного в Париже с любовницей, его существование было экономически и социально справдано, хотя он этого и не знал. Но с того дня, что он

перестал работать, он сделался ненужен. Что он мог бы сказать в свою защиту, кому и зачем была необходима его жизнь? Он не представлял собой больше единицы рабочей силы, он не был ни служащим, ни каменщиком, ни артистом, ни художником; и безмолвный, не фигурирующий ни в одном своде или кодексе, но неумолимый общественный закон не признавал больше за ним морального права на жизнь.

И даже чисто внешне — им в какой-то мере интересовались только до той минуты, пока он не успел сказать, что это он убил Щербакова. После этого признания вокруг него образовалась пустота и в пустоте была смерть. Даже адвокат, который его защищал, рассматривал его только как удобный предлог для упражнения в судебном красноречии — потому что, в конце концов, что значила для него, мэтра такого-то, жившего в удобной квартире, хорошо зарабатывающего молодого человека, ежедневно принимавшего ванну, имевшего заботливую жену, читавшего книги современных авторов, любившего пьесы Жироду и философию Бергсона — что значила для этого далекого господина судьба грязного и больного убийцы-араба?

Теперь всё было кончено: он был присужден к смерти и ждал того дня, когда приговор будет приведен в исполнение. Я вспомнил его страшное, темное лицо на процессе, черные и мертвые его глаза. Он, вероятно, не понял ни речи прокурора, ни речи защитника; он понял только то, что приговорен к смерти. Слушая сначала слова прокурора, затем речь защитника, я готов был пожать плечами, настолько явной казалась искусственность их построений. Но, конечно, это было неизбежно — потому что в юридическом преломлении всякий факт человеческой жизни не мог не претерпеть существенного искажения. Прокурор сказал:

— Мы здесь не для того, чтобы нападать, мы пришли сюда, чтобы защищаться. Вынося смертный приговор обвиняемому, мы защищаем те великие принципы, на которых строится существование современного общества и всякого человеческого коллектива вообще. Я имею в виду прежде

всего священное право каждого человека на жизнь. Я бы хотел, чтобы всё было выяснено и не оставалось никаких сомнений.

— Я заранее отрицаю возможность ссылки на какие бы то ни было смягчающие обстоятельства. Я бы хотел, чтобы они существовали, потому что их отсутствие равно смертному приговору и если бы моя совесть позволила мне не настаивать на таком решении суда, я без колебаний обратился бы к анализу этих смягчающих обстоятельств. К сожалению, как я только что сказал, их нет. И я полагаю, что нарушил бы свой долг, если бы не напомнил вам, что мы судим сейчас человека, который является убийцей вдвойне. Первое преступление, к несчастью, безвозвратно. Но тот, кто должен был стать второй жертвой обвиняемого, избежал участи Щербакова только благодаря безошибочному в данном случае действию аппарата правосудия, того самого правосудия, во имя которого я обращаюсь к вам. План обвиняемого был построен так, что подозрение в убийстве должно было пасть на невинного человека, лучшего друга убитого, молодого студента, перед которым впереди вся жизнь. Если бы проекты обвиняемого могли быть выполнены так, как он хотел, на скамье подсудимых сидел бы человек, смерть которого была бы на его совести. К счастью, это не так. Но этот человек обязан своей жизнью и свободой вовсе не великодушию обвиняемого. С тем же холодным зверством, с каким он убил свою первую жертву, он отправил бы вторую на гильотину. Поэтому я подчеркиваю, что он убийца вдвойне. И если бы его участь вызвала у вас сожаление, вспомните о том, что вашим здравым и беспристрастным суждением вы спасете, быть может, еще несколько существований.

— Я обращаю ваше внимание еще на одно обстоятельство. В этих двух убийствах — одном осуществленном, другом неосуществившемся — никогда, ни на одну секунду не появляется ничего, кроме холодного расчета. Я первый готов признать, что не всякое убийство заслуживает автоматически смертного приговора тому, кто его совершил. Есть убийство,

как результат законной самозащиты. Есть мщение за поруганную честь или издевательство. Перед нами целая гамма человеческих чувств, из которых каждое может привести к трагическому концу. В том убийстве, которое совершил человек, находящийся перед вами, мы тщетно стали бы искать какой-либо романтической причины. Возможность этого преступления ни в какой мере не вытекала из отношений между участниками короткой трагедии, которую вы призваны здесь разрешить. Обвиняемый не знал своей жертвы, никогда ее не видел и не мог к ней питать каких-либо чувств. Оправдание или объяснение этого убийства личными эмоциональными мотивами, — если допустить, что личные мотивы могут быть оправданием такого преступления, — здесь отсутствует вполне. Я не буду подчеркивать отвратительность этого поступка; факты настолько красноречивы и убедительны, что всякие комментарии к ним излишни. Но я позволю себе обратить ваше внимание на следующее соображение: если в первом случае убийца, тупой и темный человек, руководствовался интересами самого низменного и матерьяльного порядка, то во втором он был готов отправить на эшафот или на каторгу человека, исчезновение которого не принесло бы ему ни одного лишнего франка.

— Нетрудно предвидеть, что защита будет утверждать несостоятельность обвинения во втором, несбывшемся, преступлении. Но, повторяю, то, что оно не имело места, следует меньше всего приписать внезапному сомнению или колебаниям обвиняемого. Возвращаясь все время к этому второму преступлению, я хочу указать вам на то, что обвиняемый не случайный убийца. Я обращаюсь к вам и говорю: остановите эту серию убийств. Остановите ее, — потому что, если вы этого не сделаете, и если через несколько лет обвиняемый выйдет на свободу, то смерть его следующей жертвы будет на вашей совести.

Такова была приблизительно речь прокурора, таковы были, во всяком случае, ее основные положения. Я менее внимательно слушал ту ее часть, где он описывал, как именно

произошло убийство, не пропуская ни одной подробности и всячески подчеркивая зверскую, как он сказал, жестокость, с которой оно было совершено. Говоря о жизни Амара, он ограничился только упоминаниями о том, что он неоднократно судился за кражи в Тунисе и был, в сущности, профессиональным сутенером. Мне показалась несколько странной та настойчивость, с которой он говорил о втором преступлении, я склонен был думать, что именно с юридической точки зрения, можно было обвинять Амара в намерении обмануть правосудие, но всё-таки не в убийстве, о котором он не думал и которого он, в конце концов, не совершал. Но так или иначе, из всей речи прокурора было ясно, что подсудимый сам по себе его интересовал не больше, чем других; он рассматривал случай, он точно доказывал какую-то психологическую теорему, упрощая ее до крайности и сводя ее решение к наиболее краткой формуле.

Я не думаю, что Амар был в состоянии внимательно слушать речь этого человека, который отправлял его на гильотину. Но это не имело значения, потому что даже если бы он не пропустил ни одного слова, он всё равно не понял бы ее. Он понимал только одно, что его посылают на смерть, и это было для него самое главное — в противоположность другим, для которых наиболее важным было то, как именно и с какой степенью ораторской убедительности, в каких именно метафорах и выражениях, это будет сделано. О Лиде и ее родителях прокурор сказал только вскользь: формального обвинения им предъявлено не было и он предостерегал судей от той ошибки, которую они могли бы совершить, если бы были склонны придавать преувеличенное значение влиянию этой семьи на подсудимого вообще.

Но настоящую обвинительную речь против них произнес защитник Амара. Прокурор был худой и желтый, весь точно прокуренный человек, говоривший высоким и неожиданно патетическим голосом. Он был предельно сух и походил на аскетическое изображение, небрежно и временно воплощен-

ное в тощем человеческом теле. Казалось, нельзя себе было представить, что он мог бы произносить лирический монолог или быть раздетым и держать в своих объятиях женщину. У защитника было наивное розовое лицо, одновременно звучный и низкий голос и слушать его было менее утомительно, чем прокурора. Его речь отличалась от прокурорской тем, что была построена в расчете на чисто эмоциональное восприятие.

— Господин председатель, господа судьи, — сказал он, — мне кажется, что с самого начала мы должны постараться избежать соблазна того упрощенного толкования событий, на котором сознательно или случайно настаивало обвинение. Я сразу же хочу предупредить вас, что у меня нет ни одного вещественного аргумента, который мог бы облегчить мою задачу. Я располагаю только тем матерьялом, которым располагало обвинение, и в этом деле нет ни одного факта, о котором знал бы я и не знала бы противная сторона. Как видите, я заранее обезоружен. Но я хотел бы предостеречь вас от преждевременных заключений, которые могли бы казаться логически непогрешимыми, но в которых отсутствовал бы тот элемент проникновенного понимания и милосердия, которые тоже являются основой правосудия. И на защите этих основных принципов правосудия я настаиваю со всей силой моего убеждения. Но перейдем к личности подсудимого и к его двум убийствам, о которых так упорно говорил обвинитель. «Тупой и темный человек» — сказал прокурор. Да, тупой и темный человек, убивший Щербакова и устроивший всё так, чтобы обвинили другого, который рисковал своей головой. Вы согласитесь со мной, что второе преступление, в отличие от первого, не было матерьяльно осуществлено и так как мы призваны рассматривать здесь только установленные факты, то ничего не могло бы быть более бесспорным, чем простой отвод этого обвинения. Но я пойду дальше: первое преступление, первое убийство, тоже заслуживает более пристального внимания. Был ли Амар действительно убийцей или был просто выполнителем преступного проекта, который созрел в мозгу других людей, — проекта, которого у

него, Амара, никогда не было? Вот вопрос, который мне кажется самым существенным.

— Сравните биографию этого человека с биографиями тех, кто его окружал. Амар родился и вырос в нищете, не получил никакого образования, работал на бойнях в Тунисе и вел бедную и убогую жизнь, которую ведут обездоленные туземцы наших африканских департаментов. Кто мог ему внушить стремление к другой жизни, кто знал дорогие рестораны, кабарэ, авеню Елисейских Полей, ночной Париж, разврат и расточительность, переходы от богатства к бедности и от нищеты к богатству? Кто посоветовал Лиде настаивать на необходимости завещания? Кто обсуждал разные возможности — не убийства, конечно, а устранения Щербакова, кому были нужны его деньги? Сравните показания Амара с показаниями Лиды и Зины. Амар не умеет ничего скрыть, он не может даже солгать. В том, что говорят Лида и Зина, вы не найдете ни одной тактической ошибки. Они ничего не знали об убийстве, они были искренно привязаны к Щербакову, они питали к нему самые положительные чувства. Разве вы не видите в этом нестерпимой и явной фальши? Любить человека — и настаивать на завещании; любить человека — и проводить ночи с другим; любить человека — и хладнокровно, целыми вечерами, обсуждать, как именно безопаснее и удобнее всего от него избавиться.

— Есть в этом деле еще некоторые данные, точного значения которых мы не можем учесть, но их существования нельзя отрицать и оно ставит под сомнение возможность того простейшего и категорического толкования, которое было выдвинуто обвинением. В частности, роль молодого человека, на которого вначале пало подозрение и которому Щербаков, по совершенно неизвестным для нас побуждениям, оставил всё свое состояние, — роль этого студента тоже менее ясна, чем кажется на первый взгляд. Он имел отчетливое представление о нравственном облике Лиды и ее матери и он знал о существовании Амара. Почему, будучи лучшим другом покойного, он не предупредил его об опасности подобной свя-

зи? Что значит, наконец, его загадочный ответ во время следствия, когда он, отрицая, что он убийца, произнес эти непонятные слова: «это было произвольное логическое построение»? Я не оспариваю его фактической непричастности к убийству, после признаний Амара это было бы бессмысленно. Но одно то, что он это считал почему-то логически допустимым и, стало быть, возможным, кажется чрезвычайно странным и это, может быть, заслуживало бы дополнительного следствия.

В общем его защита была построена на первом его утверждении, именно, что Амар был только исполнителем чужой и преступной воли и что его следует судить только как исполнителя. Всю вину он переносил на Зину и Лиду, биографии которых он рассказал с таким богатством подробностей, которое доказывало его исключительный интерес к этому делу. Очевидно, он относился к своей роли защитника чрезвычайно добросовестно, но это всё-таки не мешало тому, что участь Амара интересовала его лишь постольку, поскольку она была связана с успехом его выступления в суде. Он возражал против каждого положения прокурора — с большей или меньшей убедительностью, но, в противоположность своему противнику, не уделял достаточного внимания чисто логическим построениям и в этом, как мне казалось, заключалась его ошибка. Он кончил свою речь обращением к судьям, не менее патетическим, чем обращение прокурора:

«Обвинение призывало вас остановить эту серию убийств, которую, по его мнению, нельзя не предвидеть в дальнейшем. Я беру на себя смелость утверждать, что до вмешательства правосудия об этом позаботилась жестокая судьба подсудимого. Вы можете быть спокойны: с его стороны никому больше не угрожает никакая опасность. Он болен тяжелой формой туберкулеза, из его легких идет кровь и было бы, мне кажется, в одинаковой степени бессмысленно и жестоко, если бы правосудие взяло на себя ту печальную задачу, которая уже разрешена болезнью. При всех обстоятельствах Амару недолго остается жить: дни его сочтены. И я взываю к ва-

шему милосердию: дайте ему умереть собственной смертью. Разница во времени будет ничтожна, разницы в результате не будет вовсе. Он всё равно приговорен к смерти: не берите на себя неблагодарную задачу заменить собой его неумолимую судьбу. Как я только что сказал, во всех случаях результат будет один и тот же. Но если вы его не осудите, на вашей совести будет одним смертным приговором меньше и этот человек умрет в тюремной больнице, унося с собой благодарное воспоминание о том, что будучи предан своими друзьями и женщиной, ради которой он рисковал своей убогой жизнью, он встретил милосердие со стороны тех, кто увидел его впервые на скамье подсудимых и кто сумел понять до конца этого бедного и темного араба, взявшего на себя расплату за преступность людей, толкнувших его на убийство».

Приговор был объявлен после часового перерыва: Амар был присужден к смертной казни. Я посмотрел на него: губы его тряслись, он говорил что-то отрывистое и бессвязное и на темное его лицо легла тяжелая тень. Он видел, что всё было кончено — и я подумал тогда, что еще в течение некоторого короткого времени продолжится призрачное существование этих мертвых черных глаз, этого худого и смуглого тела с татуированной надписью на груди, но это будет только затянувшейся формальностью, и что, в сущности говоря, этот человек ничем не отличается теперь от тех, кто был убит на войне, кто умер от тяжелой болезни, от того, кто был заколот трехгранным ножом и чья тень так жестоко отомстила ему.

Когда я вернулся домой после нескольких недель заключения, меня поразила невозмутимая неизменность всего, что я покинул в день моего ареста и что я обретал теперь. Те же люди проходили по той же улице, те же знакомые обедали в том же ресторане; это был всё тот же городской

и человеческий пейзаж, который я так хорошо знал. И тогда я с особенной силой ощутил зловещую неподвижность существования, характерную для людей, живших на моей улице и о которой я думал в тот вечер, казавшийся мне теперь бесконечно далеким, когда я стоял у окна и вспоминал «Страшный суд» Микель-Анджело. Когда я привел в порядок свою комнату, принял ванну, начал бриться и посмотрел на себя в зеркало, я опять встретил в нем всё то же самое, чем-то враждебное отражение своего лица. И прежние размышления с новой силой вернулись ко мне, нечто похожее на непрекращающуюся головную боль, эти постоянные и столь же упорные, сколь бесплодные поиски какого-то призрачного и гармонического оправдания жизни. Я не мог его не искать, потому что, в отличие от людей, которые верили в почти рациональное существование некоего божественного начала, я был склонен к тому убеждению, что это неутолимое желание обрести нечто неуловимое объяснялось, вероятно, несовершенством моих органов восприятия; это мне казалось бесспорным, как закон притяжения или несомненность сферической формы земли. Но хотя я это давно знал, я не мог остановиться. Слушая некоторые курсы лекций в университете и читая некоторые книги, имевшие к ним непосредственное отношение, я невольно завидовал профессору или автору, для которых почти всё было ясно и которым история человечества представлялась стройной последовательностью фактов, единственный и несомненный смысл которых был тот, что они подтверждали основные выводы и положения их политических и социальных теорий. В этом было нечто утешительное и идиллическое, какая-то недосягаемая для меня метафизическая уютность.

Был мартовский холодный вечер; я надел пальто, вышел из дому и долго бродил по улицам, стараясь не думать ни о чем, кроме того, что в воздухе чувствуется приближение неверной парижской весны, что горят фонари и едут автомобили и что больше нет ни тюрьмы, ни обвинения в убийстве, ни, наконец, первый раз за всю мою жизнь, никаких материяльных забот о будущем. Я старался проникнуться как

можно глубже этим сознанием своего бесспорного благополучия и всё перебирал, одно за другим, положительные данные моего теперешнего состояния: свобода, здоровье, деньги, полная возможность делать то, что я хочу, идти или ехать куда я хочу. Это было совершенно бесспорно; но, к сожалению, это было так же неубедительно, как бесспорно. И я почувствовал опять, что мной постепенно овладевает та тяжелая и беспричинная печаль, от припадков которой я никогда и ничем не мог себя предохранить.

Я шел по одной из маленьких и тихих улиц, выходящих на бульвар Распай. В первом этаже дома, мимо которого я проходил, вдруг отворилось на очень короткое время окно и в холодном воздухе прозвучала музыкальная фраза, — там кто-то играл на пианино, — заставившая меня остановиться на месте. Я сразу узнал эту мелодию: она называлась «Воспоминание» и я слышал ее впервые несколько лет тому назад на концерте Крейслера. Я был на этом концерте в Плейель вместе с Катрин; она сидела рядом со мной и мне казалось, что туманная ее нежность точно подчеркивала смысл мелодии и углубляла тему воспоминания, о котором играл Крейслер. Когда я пытался перевести на мой бедный язык словесных понятий это движение звуков, то это значило приблизительно следующее: ощущение счастливой полноты кратковременно и иллюзорно, от него останется потом только сожаление и именно таково это печальное и соблазнительное предостережение; и оттого, что я знал неповторимость этой минуты, я с особенной отчетливостью, тоже, быть может, неповторимой, воспринимал это скрипичное волшебство. Это было в том году, когда Катрин приехала в Париж учиться и когда я познакомился с ней в маленьком ресторане Латинского квартала, где мы завтракали каждый день и где огромная плита находилась в той же комнате, что наши столики. Там сияли красные кастрюли, шипели многочисленные соуса в закрытых судках, пахло жареным мясом и крепким бульоном и над декоративной красочностью еды и кухни, словно перенесенной сюда чудом с голландских картин, царила громадная и веселая хо-

зяйка, с дерзкими и радостными глазами, с черными волосами, высокой грудью, полными и стройными ногами и с этим незабываемым ее контральто, в котором как будто слышалось безошибочное звуковое отражение ее рубенсовской силы. — Ты помнишь ее, Катрин? — сказал я вслух и тотчас же оглянулся, боясь, что кто-нибудь услышит мои слова. Но никого не было вокруг. Я пошел дальше и думал о том, что я сказал бы ей, если бы я ее увидел.

Я бы спросил ее, помнит ли она концерт Крейслера. Я бы спросил ее, не забыла ли она ту теплую апрельскую ночь, когда мы шли с ней по улицам Парижа и она рассказывала, путая английский и французский язык, о Мельбурне, где она родилась и выросла, об Австралии, об ее первой детской влюбленности, — опереточный тенор, вскоре женившийся на богатой американке, — о кораблях, которые подходят к пристаням, о грохоте якорных цепей, о красно-желтом блеске меди, в солнечном свете, на крейсерах и миноносцах. Я бы спросил ее, не забыла ли она тех слов, которые она мне говорила. Я бы спросил ее, помнит ли она о своем обещании. Я слышал каждую интонацию ее голоса:

— Где бы ты ни был и когда бы это ни произошло, не забывай одного: как только ты почувствуешь себя достаточно сильным, как только ясность твоего рассудка не будет ничем больше омрачена, дай мне знать. Я брошу всё и приеду к тебе.

Я бы сказал ей, что я вспоминал эти слова в тюрьме, в те первые дни моего заключения, когда я еще не знал, стану ли я вновь свободным человеком.

Я был сказал ей, что у нее было неузнаваемое, искаженное лицо, когда она заговорила со мной о том, что ждет ребенка, что это смерть, что этого не должно быть, что это будет потом, что ей двадцать лет, и перед нами вся жизнь. Этого, я думаю, она не забыла: клиника, стены которой были выкрашены белой масляной краской, маленькая докторша неопределенной национальности, с бегающими глазами, мучительная операция без наркоза и дребезжащее такси, на ко-

тором я отвез ее домой, в номер гостиницы, ее обмороки во время этого переезда и то, как я нес ее из автомобиля до кровати, то, как она держала мою шею руками и как дрожала и билась маленькая жилка под ее коленом. Два месяца после этого я не завтракал и не обедал, питаясь хлебом и молоком и платя долги всем моим товарищам, потому что денег на операцию не было ни у нее, ни у меня. И вечером этого же дня, в первом этаже здания, находившегося против ее гостиницы, была свадьба консьержкиной дочери, которая выходила замуж за прыщавого молодого человека в черном костюме, мелкого служащего из бюро похоронных процессий. Окна были отворены и был виден стол со свадебной снедью, неподвижно-радостное, деревянное лицо невесты и густо рдевшие в электрическом свете прыщи новобрачного. За столом сидели многочисленные родственники, которые время от времени принимались петь в унисон, оскорбительный и фальшивый, какой-то музыкальный мусор. Голоса, однако, становились всё более хриплыми, всё слабели и, наконец, умолкли. Катрин заснула и я просидел в кресле рядом с ней всю ночь. Утром, когда она открыла глаза и увидела меня, она сказала:

— Всё это неважно, потому что это кончилось. Ты очень смешной, когда ты небритый.

И потом, в тот день, когда я почувствовал, что меня властно захватывает эта странная болезнь, с которой у меня не было сил бороться, я сказал ей об этом и она смотрела на меня расширенными от удивления глазами. Я сказал, что не считаю себя вправе связывать ее каким-либо обязательством, что я болен и что если бы это было иначе..

И затем, всякий раз, когда моя мысль возвращалась к ней, я заставлял себя думать о другом. Она покинула Латинский квартал и я знал ее теперешний адрес: она жила на rue de Courcelles, в квартире своей тетки, которая то приезжала, то уезжала, но за которой эта квартира оставалась всегда. Я много раз провожал туда Катрин и много раз ждал ее на улице.

Я не знал, как проходит теперь ее жизнь, о чем она думает и помнит ли она всё то, что помнил я об этом времени

нашего существования. Я не знал, дрогнет ли ее голос, когда она ответит на первые слова, которые я ей скажу, я не знал даже, продолжает ли она быть такой, какой она была на концерте Крейслера и в своем номере гостиницы — и вспоминала ли она за это время обо мне. Ей было теперь двадцать три года и было бы, конечно, неправдоподобно, если бы она всё это время ждала моего проблематического возвращения. Ее обещание так же принадлежало прошлому, как то, что составляло ее жизнь три года тому назад и я не вправе был бы ее обвинять ,если бы оказалось, что она не может его сдержать. Всё это становилось ясно с первой минуты размышления. Но это не останавливало меня; и побуждения, заставившие меня сделать эту отчаянную попытку вернуться к Катрин, были слишком повелительны, чтобы им могли помешать эти соображения. Мне казалось, что то множество чувств, которое возникало во мне, когда я думал о ней или когда я ощущал рядом с собой ее присутствие, не могло быть заменено ничем. В том хаотическом мире, которому мне было, в сущности, нечего противопоставить, так как всё, что я знал, казалось мне вялым и неубедительным или непостижимо далеким, ее существование возникало передо мной как единственный воплощеный мираж. Даже по внешности она напоминала мне иногда, особенно вечером или в сумерках, легкий призрак, идущий рядом со мной. У нее были белые волосы, сквозь которые проходил свет, бледное лицо и бледные губы, тусклые синие глаза и тело пятнадцатилетней девочки. Но ее жизнь, заполнявшая мое воображение, перерастала его и возникала там, где всё мне казалось чуждым или враждебным.

И теперь, обретя эту двойную свободу, непосредственную потому, что меня выпустили из тюрьмы, и душевную оттого, что это потрясение как будто излечило меня, может быть, окончательно, — я чувствовал вокруг себя пустоту и мне казалось, что никто, кроме Катрин, не заслонит ее от меня. Я искал у нее защиты, я очень устал от одиночества и отчаяния и я думал, что теперь, почему-то именно теперь, я

заслужил право на другую жизнь. И возвращаясь домой, я решил завтра же поехать на rue de Courcelles.

В десять часов утра я был уже там. Я любил этот квартал, — тихие улицы и высокие дома темного цвета, с большими окнами, за которыми текла такая размеренная жизнь, где были соображения о доходах, об акциях, о подходящей партии, о наследстве; это был упорный девятнадцатый век, архаический и наивный, медленное умирание которого продолжалось уже много десятков лет. В доме, где жила тетка Катрин, был лифт старинейшей системы, поднимавшийся на нескольких ремнях, и когда я ехал в нем на четвертый этаж, он как-то слегка дымил и мне даже показалось, что в этом дыму проскочило несколько искр. Я позвонил; мне отворила полная пожилая женщина с седыми волосами, спросившая, что мне нужно. Она говорила по французски свободно, но с акцентом. Я сказал, что хотел бы видеть Катрин.

— Катрин? — повторила она. — Катрин уехала в Австралию год тому назад.

— Ах да, в Австралию... — сказал я машинально.

— Она уехала тотчас же после свадьбы.

— Она вышла замуж?

Вероятно, в моем голосе была какая-то неофициальная и, в сущности, ничем неоправданная по отношению к этой женщине, которую я видел первый раз в жизни, интонация, потому что она сказала:

— Войдите, пожалуйста, и садитесь. Простите, как ваша фамилия?

Я ответил.

— Да, да, Катрин мне о вас говорила. Если бы вы пришли на год раньше, вы бы застали ее еще не замужем.

— Да, я понимаю, — сказал я. — К сожалению, я пришел на год позже.

У нее была очень особенная и располагающая к себе улыбка — и мне показалось, что я знаю эту пожилую даму очень давно. Она прямо посмотрела на меня и спросила:

— Это вы сумасшедший?

— Да, — сказал я, растерявшись. — То есть, это не совсем так, я не сумасшедший...

— Вы меня простите, — сказала она, — я значительно старше вас и знаете, у меня впечатление, что вы всё это выдумали. Это всё оттого, что вы много читаете, недостаточно едите и мало думаете о самом главном в вашем возрасте, о любви.

Я понял из этих ее слов, что Катрин, повидимому, рассказала ей обо мне довольно много. Я ответил:

— Разрешите вам сказать, что это не очень научный диагноз.

— Он, может быть, не научный, но мне кажется, что он правильный.

Я помолчал, потом спросил:

— За кого Катрин вышла замуж?

— За одного английского художника. Этот портрет, сказала она, поднимая глаза на стену, — он рисовал, это кажется его первая жена.

На картине была изображена неправдоподобная женщина конфетной красоты, в красном бархатном платье, картина была похожа на плохую олеографию. Как Катрин могла этого не видеть?

Я встал и стал прощаться. Она протянула мне руку и попросила меня оставить ей на всякий случай мой адрес.

Лестница была широкая, на ней лежал толстый ковер и она была непохожа на ту, которая была в Латинском квартале, в гостинице Катрин. Но я подумал, что опять беззвучно спускаюсь из мира, в котором она жила, в ту призрачную пропасть, из которой мне так трудно было уйти.

Проходили дни, недели и месяцы. Я давно уже уехал из Латинского квартала, деревья на парижских улицах зазеленели, распустились, потом покрылись летней пылью, потом их листья осыпались и наступил октябрь. На рассвете холодной

ночи был казнен Амар, я прочел об этом в газетах, где было рассказано, что он выпил рому и выкурил папиросу перед тем, как подняться на гильотину. Потом он обвел глазами людей окружавших его. — Du courage! — сказал ему адвокат. Амар хотел что-то произнести, но не мог и только в последнюю секунду, в тот условнейший промежуток времени, когда он еще теоретически продолжал существовать, он крикнул высоким голосом — pitié! Это было то слово, которое ему удалось, наконец, вспомнить и которое он, вероятно, хотел сказать уже несколько минут тому назад. Но оно, конечно, не имело теперь смысла — так же, впрочем, как никакое другое слово и никакое другое понятие.

"C'est ainsi qu'il a payé sa dette à la societé". Так кончался отчет об его казни. И в последний раз я подумал о том, что ему, собственно, дало общество: случайное рождение в нищете и пьянстве, голодное детство, работа на бойнях, туберкулез, вялые тела нескольких проституток, потом Лида и убогий соблазн богатства, потом убийство, неотделимое от страшной бедности его воображения, и потом, наконец, после тюрьмы — холодный воздух осеннего рассвета, мостки гильотины, немного рома и одна папироса перед смертью. Такой, каким он был, он, вероятно, не мог прожить другой жизни и она казалась логически законченной. Если бы он не совершил убийства, он умер бы от чахотки и в этом его адвокат был, конечно, прав. Одно было очевидно, — что в этом мире ему больше не было места, так, точно огромные пространства земли вдруг стали для него тесны.

Я прочел об его казни на следующий день в утренней газете. Я давно жил на улице Молитор, в той самой квартире, в которой был убит Павел Александрович и которую он, как это оказалось при выяснении его дел, приобрел в собственность незадолго до смерти. Я переставил в ней мебель и переменил всюду обои и бобрик; на том месте, где было пианино, стоял большой аппарат радио; я убрал маленький письменный стол и поставил другой, гораздо шире и длиннее, с выдвижными ящиками. Только кресла и книжные полки оста-

лись теми же и на тех же местах. Я внимательно просмотрел на досуге всю библиотеку и убедился, что она состояла почти исключительно из классиков, — в этом смысле Павел Александрович был человеком своего времени и книг современных авторов я нашел у него очень мало. У него не было еще, — что мне показалось более удивительным, — почти никаких личных бумаг, кроме нескольких писем, посланных ему много лет тому назад по адресу гостиницы на rue de Buci, где он, стало быть, жил в те времена. Одно письмо было написано женским почерком и когда я на него посмотрел, мне сразу же бросились в глаза эти слова — «ты не забыл, я надеюсь, тех минут»... — мне стало тягостно и неловко и я отложил его не читая. Зато единственное письмо его брата, того самого, который утонул и от которого ему досталось наследство, я прочел с начала до конца; оно, впрочем, было коротким и почти беспримерным по своей категоричности. Оно кончалось так:

«Ты меня, слава Богу, знаешь хорошо и знаешь, что я всегда любил говорить правду, а не мямлить всякие сентиментальные глупости. То, что ты мой брат, это случайность рождения, за которую я не ответственен. Жизнь, которую ты вел или ведешь, меня не интересует, это твое дело. Я тебя знать не знаю и знать не желаю. На-днях я уезжаю отсюда в другую страну и ты уж не трудись меня разыскивать или мне писать. Я тебе желаю всяческого добра, но на меня не расчитывай. Это, впрочем, я думаю, ты знал всегда».

И после этих слов, неумная резкость которых казалась просто неправдоподобной, следовала неожиданная подпись: «твой любящий брат Николай». У этого человека было странное представление о значении некоторых слов и я подумал — вспомнил ли он о чьей-либо любви, когда понял, что идет ко дну и что всё кончено?

Не было ни одной фотографии, ни одного документа, кроме паспорта, выданного в Константинополе в 1921-ом году с французской визой и парижской carte d'identité, в которой было написано — холостяк, без профессии. Я узнал, что

Павел Александрович родился в Смоленске, но все эти годы, со дня рождения до даты, стоявшей на константинопольском паспорте, были совершенно пустые, — ни бумаг, ни фотографий, ни какого бы то ни было упоминания о том, что он делал и где он был. Затем шел второй перерыв, тоже чрезвычайно длительный — вся его жизнь в Париже, такая же пустая и неизвестная, как та, которая ей предшествовала, — потому что даже на rue Simon le Franc, как это мне сказал Джентльмен, Павел Александрович появился только за два года до того дня, когда я его встретил впервые в Люксембургском саду. И я подумал, что я, в сущности, почти ничего не знал об этом человеке, с которым меня связала судьба таким странным и неожиданным образом; и те его облики, которые я вспоминал, — картинный нищий сначала, хорошо одетый и уверенный в себе пожилой мужчина потом, — начинали мне иногда казаться чуть ли не произвольными, похожими на призрачные и неверные тени того мира, который точно разрезал мою собственную жизнь на две части и о котором я старался теперь забыть. Он как будто бы исчез, и с того дня, что я вышел из тюрьмы, я ни разу не почувствовал его смутного приближения.

Но соображения о судьбе Павла Александровича занимали, как это оказалось, не только меня, — потому что однажды днем я совершенно случайно встретил Джентльмена, который долго жал мне руку своей темной рукой с черными ногтями и смотрел на меня так недвусмысленно выжидательно, что я не мог не пригласить его в кафе. Это происходило возле бульвара St Michel. Я предложил ему выбрать любой напиток, но он ответил, что никогда не пьет ничего, кроме красного вина. Затем он сказал несколько слов о том, что течение моей жизни ему напоминает, хотя и в другом смысле, судьбу княгини, которая, однако... но тут я его прервал и тогда он перешел к Щербакову. Замечательно было то, что трагический конец этого человека внушил Джентльмену нечто вроде посмертного уважения к его памяти, потому что он больше не называл его, как раньше, Пашкой Щербаковым, а гово-

рил «покойный Павел Александрович». В этот день его тянуло почему-то к несколько отвлеченным рассуждениям.

— Вот смотрите, — сказал он, — какой, видите ли анекдот: умирает Павел Александрович и вы получаете наследство. А кто вы такой? Я вас очень уважаю, но всё-таки вы неизвестный молодой человек, который Бог знает откуда и взялся.

— Да, конечно.

— Но перед этим, — продолжал он, — откуда состояние покойного Павла Александровича? От покойного его брата, который утонул в море. Вы только подумайте, какая это для него была драма.

— Да, я понимаю.

— Нет, так ведь вот в чем дело. Ну, наш брат утонет это ничего.

— Ну, как сказать всё-таки...

— Нет, в том смысле, что тонуть, так сказать, не жалко. Ну потонул — потонул. А он-то, старик, вы понимаете? Ведь когда он тонет, что он думает? Боже мой, думает, деньги-то какие пропадают! И вот он всё-таки потонул. Хорошо. А до этого — откуда у него состояние? вероятно, от его родителей. А где родители? И не помнит уж никто, когда померли. Вот и смотрите как выходит: у каких-то давно умерших людей было состояние, перешло к старшему сыну: утонул. Перешло к младшему: убили. Так? И вот деньги этих покойных родителей достались вам, — а вас еще и на свете, может быть, не было, когда они умерли. Вот вам, как говорится, гримасы капитализма.

— Вы против капиталистической системы?

— Кто? я? — сказал он. — Я? Костя Воронов? Я за нее с оружием в руках сражался. В приказе было написано: «отличился неустрашимым мужеством, подавая офицерскому составу и подчиненным пример»... Вот как я за капитализм бился. А опять надо будет, — опять пойду воевать, можете быть спокойны. Нет, я только насчет того, что вам наследство досталось. Дай вам Бог вообще. А жаль, что не мне.

— А что бы вы сделали?

— Я? Снял бы квартиру напротив нее. Вечером подошел бы к окну и сказал: ну что, княгинюшка, а? Ее бы тут и скорчило.

Он пил стакан за стаканом, речь его становилась бессвязной и всё, что он теперь говорил, касалось только княгини. Я наконец оставил его и ушел, подумав напоследок, что в начале его рассуждений заключалась всё-таки какая то парадоксальная, но несомненная истина. Затем я купил несколько книг и вернулся домой.

Мне самому было странно, что я жил в квартире, где произошло убийство, чаще всего совершенно не думал об этом и склонен был это забывать. Через некоторое время мне стало казаться, что она ничем не отличалась от любой другой квартиры и то, что в ней преобладало, — это ее своеобразная, строговатая уютность, которой не мог смутить ни призрак убитого, ни призрак убийцы. Она как-то располагала сама по себе к размеренному порядку, к созерцательной медленности существования. И в течение некоторого времени я жил там так, точно меня подменили, точно мне было пятьдесят лет и моему переселению сюда предшествовала долгая жизнь, от которой я успел устать. В сущности, это впечатление в известной степени совпадало с действительностью, так как моя душевная усталость была несомненной. Я не мог, например, читать книг, которые требовали сколько нибудь напряженного внимания и каждый раз, когда моя мысль доходила до какого-нибудь момента, требующего некоторой сосредоточенности, мне вдруг, среди бела дня, начиналось хотеть спать и я дремал, сидя в кресле. Этому состоянию душевного оцепенения способствовало и то обстоятельство, что материяльные условия моей жизни резко изменились и мне не нужно было заботиться ни о чем: в нескольких европейских банках лежали деньги, которые мне принадлежали, в Париже у меня был текущий счет и осуществилось то, о чем я столько раз мечтал, когда мне было нечем заплатить за обед в ресторане или за папиросы. Я думал тогда о том, как я буду путешествовать, мне снились по ночам каюты трансатлантических

пароходов, дичь, омары, купе спальных вагонов, Италия, Калифорния, далекие острова, лунное сияние над океаном, долгий бег ночной волны и смутная прелесть какой-то неизвестной мелодии, звучавшей в моих ушах. И вот теперь, когда для осуществления любого из этих проектов, который еще недавно показался бы мне несбыточным и фантастическим, мне нужно было только позвонить по телефону, навести справки и заказать билет, у меня не было ни малейшего желания это сделать.

И когда я изредка думал обо всем этом, я не мог отделаться от той мысли, что опять, как это так часто бывало со мной, я живу случайно и произвольно в чьем-то чужом существовании, реальность которого казалась мне неубедительной, как были неубедительны чеки, которые я подписывал, деньги, которые мне принадлежали, и этот груз дорогих и массивных вещей, которые окружали меня в квартире на улице Молитор.

Я поздно ложился и поздно вставал, принимал теплую ванну, которая еще больше расслабляла меня, медленно пил кофе, долго одевался, читал газету, на которую у меня нехватало терпения, и вспоминал, что давно не был в университете и что цикл лекций, из которых я не слышал ни одной, подходит к концу. Но и университет мне казался совершенно ненужным. Затем я садился за стол, покрытый накрахмаленной скатертью, и съедал завтрак, поданный той же женщиной, Мари, которая служила у Павла Александровича и которая всё порывалась мне в сотый раз рассказать, как она отворила ключом дверь, вошла и вдруг увидела кровь на ковре и подумала, что произошло какое-то несчастье.

— И я сразу же подумала, Mr, мне не нужно было много времени, чтобы это понять: Боже мой, случилась какая то катастрофа с этим бедным Mr Tcherliakoff!

Она упорно коверкала трудную славянскую фамилию, но всегда одинаково, так что получалось «Mr Черляков».

После завтрака я уходил в кабинет, куда она приносила мне кофе, брал с полки первую попавшуюся книгу и начинал

читать, но вскоре закрывал ее и сидел в кресле, не думая ни о чем. И только очень редко, раз в две или три недели, всегда неожиданно, вечером или днем, я вдруг слышал чей-то отвлеченный голос:

But come you back when all the flow'rs are dying,
If I am dead, — as dead I well may be —
You'll come and find the place where I am lying...

и тогда я поспешно раскрывал книгу и с жадным вниманием читал каждое слово и каждую строчку вслух.

Иногда я ходил в кинематограф, но и он утомлял меня. Я жил вообще всё в том же спокойном оцепенении, и о чем бы я ни думал, ничто не казалось мне заслуживающим какого бы то ни было усилия с моей стороны. И затем, еще никогда с такой необыкновенной полнотой я не чувствовал своего одиночества. За много месяцев я получил три письма, одно от знакомых, дочери которых я давал уроки французского языка в течение некоторого времени, они приглашали меня обедать, два других — от товарищей. Но я не ответил ни на одно и перестал получать что бы то ни было. Я был несколько раз в Латинском квартале, где прожил четыре года и где я знал каждый дом; но он показался мне чужим и далеким, — так, точно там жил человек, который передал мне всё множество своих зрительных впечатлений, произвольно отделив их от тех эмоциональных их отражений, без которых они теряли всякий смысл и всякую выразительность. И я начинал иногда думать, что действительно, наследство Щербакова было, вероятно, предназначено всё-таки не мне, хотя я знал теперь, почему именно он составил завещание в мою пользу — и это тоже было результатом недоразумения. Перед тем, как из мебельного магазина мне должны были привезти новый письменный стол и взять тот, который был раньше, я вынул из его правого ящика несколько листков бумаги, которые там были забыты. Среди них был разорванный пополам кусок плотного почтового конверта и на нем было написано ка-

рандашом: «сост. зав. Студ. в благ. за 10 фр.» — «составить завещание. Студенту в благодарность за десять франков», те десять франков, которые я ему дал в Люксембургском саду. Он не знал, что я просто не мог поступить иначе, у меня не было никакого выбора и никакой возможности сделать по другому. До конца месяца, когда я должен был получить свою стипендию, оставалась еще неделя и в моем бумажнике было только два кредитных билета, один в сто, второй в десять франков. Больше у меня не было ни одного сантима: я не мог ему дать сто франков и был лишен возможности дать меньше десяти. Это было незначительное матерьяльное недоразумение, в результате которого у него возникло неправильное представление о моем мнимом великодушии: то, что он принял за великодушие, было просто следствием моей бедности. И этой явной ошибке суждения я был обязан всем, что у меня было сейчас, и о чем так верно, в сущности, сказал Костя Воронов: «но всё-таки вы — неизвестный молодой человек, который Бог знает, откуда взялся». И в этой случайной фразе, сказанной пьяным нищим, заключалось очень короткое и совершенно правильное определение, хотя Джентльмен был далек, конечно, от желания наиболее точно выразить то, что составляло печальную особенность всей моей жизни.

Была опять зима с пронзительным холодом и ветром, сухая, мерзлая пыль летела вдоль улицы и с легким шорохом ложилась на мостовую и на тротуары Однажды днем, стряхнув с себя постоянную душевную неподвижность, к которой я давно привык, я вышел из дому и направился в Булонский лес. Там было тихо и безлюдно; аллеи были усыпаны опавшими листьями, слабо пахло промерзшей землей, ветер гнал маленькие волны по поверхности холодных и пустынных озер. Часа два я медленно кружил по лесу и вернулся домой, когда давно уже было темно и на улицах горели мутные фонари. Обед был готов, на столе стояло красное вино, которое Мари упорно мне подавала каждый раз, хотя я никогда до него не дотрагивался. Но в тот вечер, после долгой про-

гулки, я впервые за всё время налил себе стакан и сразу выпил его; вино было крепкое и сладковатое, довольно приятного вкуса.

Затем со стола было убрано, Мари пожелала мне спокойной ночи и ушла, я остался один и перешел в кабинет. Там я сел в кресло, не зная еще, что я буду делать и не думая ни о чем. Взгляд мой случайно упал на передвижной календарь, за которым внимательно следила Мари. Календарь показывал одиннадцатое февраля. Я смутно помнил, как мне казалось, что эта дата была чем-то знаменательна. Может быть, с ней было связано какое-нибудь историческое событие, привлекшее когда-то и почему-то мое внимание?

И вдруг я вспомнил — и мне стало стыдно, что я столько времени это искал. В эту ночь, ровно год тому назад, в том кабинете, где я сейчас сидел, был убит Павел Александрович Щербаков.

Я встал с кресла, достал с полки какую-то книгу и открыл ее.

"Et ces mêmes fureurs que vous me dépeignez,
Ces bras que dans le sang vous avez vu baignés"...

Нет, я меньше всего был настроен читать Ифигению. Я достал вторую книгу, тоже наугад; это был знаменитый дневник Пипса.

"To the King's theatre, where we saw "Midsummer's Night's Dream", which I had never seen before nor shall ever again, for it is the most insipid ridiculous play that ever I saw in my life".

Я поставил книгу на место. Помимо моего желания я думал об этой февральской дате, о том, что ей непосредственно предшествовало и что за ней последовало. Потом я поднял глаза на книжную полку, находившуюся надо мной. Там всё было так же, как год тому назад: тот же порядок,

те же плотные корешки переплетов и перед ними, посередине полки — золотой Будда с неподвижно исступленным лицом. Я посмотрел на него и вспомнил слова следователя:

— Если нам удастся разыскать статуэтку, то вы вернетесь домой...

Я снял Будду и смотрел на него с трудно передаваемым и сложным чувством. Всё-таки нельзя было забыть, что его возвращение дало мне свободу. Это был тот же самый Будда, которого держала темная рука Амара, который потом стоял в комнате проститутки, окруженный облаками дешевых духов, который путешествовал в кожаном портфеле следователя и которого появление или исчезновение значило еще многое другое, и в частности, то, что никакие события, связанные с его возвращением, никакие движения чувств, никакие попытки понимания никогда не объяснят подлинного смысла его загадочной восторженности, как никакие годы Лувра не объяснят состояние души давно умершего художника, который изобразил экстаз святого Иеронима.

Свет лампы падал на статуэтку и я смотрел на нее остановившимися глазами. За окном был вечерний мороз. В кабинете горела только лампа, стоявшая на столе, стены и мебель смутно проступали из ночной тени. Вокруг стояла неподвижная тишина.

Я продолжал смотреть на Будду и вдруг увидел, что в какую-то секунду его лицо расплылось и исчезло, оставив на том месте, где оно только что было, желтое пятно, которое незаметно расширялось, захватывая все большее и большее пространство. Потом оно переросло комнату, очертания его исчезли и в ту же минуту я понял, что уже некоторое время в моих ушах звучит какой-то мотив, в странном соединении гитары и скрипки. Я узнал его, но не мог его вспомнить как следует и всё искал, судорожно и напрасно, где и когда я его слышал. В конце далекой желтоватой перспективы, которая незаметно как возникла передо мной, в необычайном и неправдоподобном отдалении, несколько за-

кругленных ступенек вели к эстраде, где трагически блестел черный рояль, за которым сидел пожилой человек во фраке. Справа от меня, беззвучно, как во сне, прошел медленными шагами какой-то мужчина; лацканы его смокинга лежали как отлитые на крахмальной груди. Я знал его лицо настолько хорошо, что в обычное время не мог бы ошибиться, но сейчас мне показалось, что моя память не поспевала за зрительными впечатлениями; я сделал необыкновенное усилие и вдруг понял, что это было лицо Джентльмена. Очень розовый молодой человек в очках прошел слева от меня, поддерживая под руку пожилую женщину; на ее морщинистой шее шло в несколько кругов массивное жемчужное ожерелье. Ее я тоже как будто знал, я уже видел где-то эту почти танцующую, юношескую походку, неожиданную для ее преклонных лет. Зал постепенно и всё так же беззвучно наполнялся людьми в вечерних туалетах и в каждом из них, как мне казалось, я смутно узнавал знакомые, но забытые движения или выражения лиц. Затем я посмотрел выше человеческих голов, на стену и вдруг похолодел. Это был неизвестно, как перенесенный сюда, тот горный пейзаж, воспоминание о котором я пронес через мою далекую смерть. Я узнал эту отвесную скалу с выступами и маленькими кустами; обломавшаяся ветка высохшего дерева была изображена с неправдоподобной отчетливостью. По бокам этой скалы высились другие и получался огромный колодец. И внизу, отбросив в сторону левую руку и подогнув под себя правую, на каменистом берегу бурной и узкой речки, лежал труп человека, одетого в коричневый горный костюм.

Я сделал шаг назад, но за мной была мягкая бархатная стена. Я посмотрел по сторонам, потом обратил глаза туда, откуда входили люди и где должна была, по всей видимости, находиться дверь. Но двери не было: на ее месте, возвышаясь почти во всю стену, висел гигантский лубочный портрет низколобого мужчины в полувоенном пиджаке, украшенном разнообразными орденами.

И в это время — зал был уже почти полон — раздался

грохот и крик. Мужские и женские голоса сливались в одну звуковую массу, в которой лишь изредка можно было расслышать отдельные фразы на разных языках. Потом наступила пауза и в неожиданной тишине послышался тяжелый хруст, тотчас сменившийся смертельным хрипеньем. Кто-то упал посередине зала и там сразу образовалась толпа; но в это время пианист во фраке, сидевший до сих пор за роялем с непонятной и каменной неподвижностью, начал играть какой-то необыкновенно шумный и пляшущий мотив, в который немедленно вступили скрипка и гитара. Затем бесформенный гул стал стихать, одновременно с ним всё глуше и глуше звучал рояль и через несколько секунд опять наступила тишина. И тогда, двигаясь в темном воздухе без тех колебаний, которые естественны для каждого идущего человека, медленно удаляясь от меня в этой далекой перспективе, прошел силуэт высокого мужчины в синем костюме. Он поднялся на эстраду, потом исчез и тотчас же снова появился и мне показалось, что я уловил его холодный и прозрачный взгляд. До меня донесся его невыразительный голос, произнесший короткую фразу, которой я не разобрал. Он сказал эти слова и пропал. Уже в течение некоторого времени, поминутно двоящимся и слепнущим сознанием я понимал, что происходит сейчас, и у меня было ощущение, что нет ни спасения, ни возможности борьбы — вне какой-то короткой последовательности магических слов, которых я не знаю и которых, может быть, не существует вовсе. В отчаянии я посмотрел вокруг себя — и в желтоватой полутьме зала я отчетливо увидел проступающее сквозь смутную тень лицо с характерным арабским профилем, мертвый черный глаз и прыгающие губы. С эстрады опять раздались звуки рояля. Я посмотрел туда: рядом с пианистом, в белом бальном платье, обтягивавшем посередине узкое тело, стояла женщина с тяжелыми глазами. Через секунду я услышал ее низкий голос, но эстрада вдруг ушла так далеко, что звуки стали слабеть и я уже не мог различить ни мотива, ни слов ее песни. Так прошла минута, другая — и голос наконец стал приближаться, донося до меня свою мелодическую силу. Я

услышал только последнюю строфу и ощутил знакомую боль в левой стороне груди, вспомнив другой голос, легкий, чистый и прозрачный — голос Катрин, который столько раз пел эти же самые слова:

And I shall hear though soft you tread above me,
And all my grave shall warmer, sweeter be,
For you shall bend and tell me that you love me
And I shall sleep in peace until you come to me.

Мне сразу стало трудно дышать и опять все мускулы моего тела были напряжены до боли и у меня было смутное сознание, что от того, выдержу ли я это непонятное и последнее усилие или нет, — зависит всё мое будущее и возможность этого будущего. И вот, с удивительной медленностью, перспектива зала стала постепенно суживаться, желтоватый свет стал понемногу сгущаться, и через несколько минут этого длительного томления передо мной возникли темные очертания моего кабинета, золотое лицо Будды и побелевшие пальцы моей руки, до боли сжимавшие статуэтку. У меня был влажный лоб, я ощущал тяжесть в голове, но это казалось мне совершенно несущественным и лишенным всякого значения по сравнению с тем бурным чувством свободы, которое я испытывал, — потому что впервые за всё время я был обязан победе над этим призрачным миром не внешнему толчку и не случайности пробуждения, а усилию своей собственной воли.

Со следующего дня я стал жить иначе, чем жил до сих пор. Вместо теплых ванн я брал по утрам холодный душ и после этого ехал в университет. Я несколько раз был в кинематографе и кабарэ, откуда возвращался пешком, в эти холодные февральские ночи, глотая морозный воздух. Вернувшись домой, я засыпал мертвым сном.

Однажды утром я получил письмо — в плотном синем конверте с австралийской маркой.

«Почему там, в Париже, ты так долго не приходил ко мне? я так ждала тебя. Ты знаешь теперь всё, что произошло после твоего напрасного исчезновения. Человек, за которым я была замужем, уехал в Англию и я послала ему развод. Я не могу вернуться в Европу по матерьяльным соображениям и я знаю, что у тебя тоже нет денег на путешествие в Мельбурн. Но может быть, мы всё-таки еще увидимся и мне кажется сейчас, что я готова ждать тебя всю мою жизнь.

Ты помнишь тот сентиментальный романс, которому я тебя учила, "Oh, Danny-boy"? Каждый раз, когда я вспоминаю этот мотив, я думаю о тебе и мне хочется плакать.»

Через несколько дней я уезжал в Австралию. И когда я смотрел с палубы на уходящие берега Франции, я подумал, что в числе множества одинаково произвольных предположений о том, что значило для меня путешествие и возвращение Будды и каков был подлинный смысл моей личной судьбы в эти последние годы моей жизни, следовало, может быть, допустить и то, что это было только томительное ожидание этого далекого морского перехода, — ожидание, значения которого я не умел понять до последней минуты.

Гайто Газданов.

ОН И МЫ*)

(ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Д. С. МЕРЕЖКОВСКОМ).

Париж, 3 июня 1943 г.

Четверг (Вознесение)

Мне хочется сегодня начать мою тяжелую работу — эту запись. Хотя бы несколько слов написать. Продолжать буду после. Завтра — или через год (е. б. ж., как прибавлял Толстой, начиная что-нибудь писать, — в последние годы. «Если буду жив....»)

Все жены людей, более или менее замечательных, писали свои о них воспоминания, печатали письма. Последнего я бы не сделала, если б имела фактическую возможность. Я ее не имею, почему — скажу потом. Трудно мне и писать воспоминания, делаю это из чувства долга. Трудно по двум причинам: во-первых — со дня смерти Д. С. Мережковского прошло лишь около двух лет, а это для меня срок слишком короткий, тем более, что мне кажется, что это произошло вчера, или даже сегодня утром. Вторая причина: мы прожили с Д. С. Мережковским 52 года не разлучаясь, со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день. Поэтому, говоря о нем, мне нужно будет говорить и о себе, — о нас; говорить же о себе мне в высшей степени неприятно — было и есть. Те, кто читал мою книгу воспоминаний о некоторых моих (и общих) друзьях («Живые лица» — Блок, Брюсов, Розанов и др.), мо-

*) Мы приступаем к печатанию отдельных глав из воспоминаний покойной З. Н. Гиппиус о Д. С. Мережковском. Рукопись эта была передана нам В. А. Злобиным, приготовившим ее к печати. **Ред.**

гут заметить, что там я особенно избегаю говорить о себе — да и не там только.

Связанность наших жизней (и не одна внешняя) и останавливала меня. Но потом я поняла, что отказавшись от задачи написать то, что от меня ждут, я поступлю эгоистично. И, наконец, если я будут писать свободно, не думая о препятствиях, — кто и что мне может помешать выкинуть из рукописи всё, что будет для меня звучать неприятно? На случай внезапной смерти моей — оставлю указания и отметы. Но эта книга пускай будет написана с полной свободой, и ее точное название — **Он и мы.**

Фактические сведения о себе Д. С. Мережковский дал сам в двух своих биографиях: одна, давняя, приложена к полному собранию его сочинений — перед войной 14 года, в СПБ., другая — напечатана в одной из парижских русских газет, уже в эмиграции, в 1935 г., когда был его 70-летний юбилей. Тоже написанная, по чьей-то просьбе, им самим*). Но лучше всего третья, это его «Старинные октавы», поэма, вошедшая в полное собрание его сочинений. Там — очень правдивое изображение его детства, юности, семьи; там дана, кроме сухих сведений, **атмосфера,** в которой он рос и, конечно, образ матери.

К его биографии я поэтому буду лишь возвращаться попутно и, когда придется, дополнять кое-что по его рассказам. Мать его умерла 20 марта 1889 года, т. е. через два с половиной месяца после нашей свадьбы (8 янв. 1889 г.) и моего приезда в Петербург. Я ее часто видела и могла понять удивительную взаимную любовь ее и его; для меня, впрочем, не очень удивительную, т. к. я так же глубоко любила и свою мать. Отец Д. С. прожил еще около 20 лет, —

*) З. Н. ошибается. Существует одна автобиография Д. С. Мережковского, приложенная к полному собранию его сочинений. «Вторая» — почти дословная перепечатка первой.

умер в 1908 году, тоже в марте, в СПБ. — мы тогда жили в Париже.

Только благодаря матери, Д. С. мог добиться согласия отца на свою женитьбу и обещания выдавать ему ежемесячно известную сумму денег на житье. До женитьбы он жил в семье, в большой квартире на Знаменской, где, кажется, жил еще кто-то из братьев. Из них Д. С. был младший; после него была только одна сестра Вера. Всех сестер было три. Что касается братьев — их было шесть человек.

Ни с одним из них Д. С. не был близок. Да и все эти девять человек не были, кажется, близки друг другу. Семья держалась только благодаря матери, вечной заступнице перед суровым отцом, и с ее смертью естественно распалась. Об отце, которого я знала, я скажу впоследствии. Он был очен богат, но взрослым детям от этого было не легче. Отец, по принципу, считал, что каждый должен сам зарабатывать и жить на собственные деньги. Дочерей он спешил выдать замуж. Давал ли он им какое-нибудь приданое — я не знаю. Он считался скупым, но скупость его была какая-то особенная, ее трудно определить. Человек, во всяком случае, с большим характером. Жену он любил безгранично, но и мучил достаточно — всё из-за детей. У нее тоже был характер и, когда ей что-нибудь казалось нужным, она, не жалея себя, добивалась, чего хотела. Младший сын, Дмитрий, был ее любимцем. И если отец дал ему кое-что на первое обзаведение и затем ассигновал на житье какую-то сумму, то это лишь благодаря ей. Если бы не она — наша свадьба была бы отложена на неопределенное время, так как у меня не было ничего, мы жили на пенсию матери после умершего в 1881 г. отца, — он служил в судебном ведомстве. В этом году закончилась и карьера Сергея Ивановича Мережковского: после убийства Александра II он, в чине действительного тайного советника, вышел в отставку. Какое точно место занимал он в Дворцовом Ведомстве при Александре II — я не умею сказать. В биографии Дм. С.-ча это определено. Знаю, что семья жила на казенной квартире на набережной,

а летом — на Елагине, в доме около Елагинского дворца, где 2 августа 1865 г. Д. С. и родился. Он очень любил Елагин Остров и много рассказывал о том, как он в детстве проводил там лето, показывал мне даже деревья, на которые залезал с книжкой, чтобы быть совсем одному. В «Старинных октавах» много об этом и об Амалии Христиановне, бонне-немке, часто остававшейся, и одной, со всей этой кучей детей. Потому что отец, по долгу службы сопровождавший нередко Двор заграницу — например, больную жену Александра II, или наследника, непременно брал с собою и жену, с которой не мог расстаться. Она покидала всех детей и ехала с ним, хотя м. б. это и было ей тяжело. Об ее отъездах и приездах опять таки сказано в «Октавах». В одно из материнских отсутствий младший сын, Дмитрий, еще совсем маленький, заболел дифтеритом. Тут уж мать прилетела и сама выходила его. С этого случая, кажется, и стал он ее любимцем, и началась их особенная взаимная любовь.

Я не пишу собственно биографию, ни его — ни мою, хотя в общем рассказе буду более или менее последовательна. Ради этой последовательности рассказа, мне надо коснуться нашей встречи, случайной или провиденциальной (это как угодно), для которой нужна была целая цепь событий в его жизни, как и в моей, и без которых она не могла бы произойти.

Как сказано выше, мой отец служил в Судебном Ведомстве. Начал службу он рано, кончив Московский Университет, и был товарищем прокурора в Туле (или, кажется, еще только кандидатом, начал же службу после своей ранней женитьбы, в Белеве, где я родилась. В Тулу он был переведен тотчас после моего рождения). С матерью моей, сибирячкой, он встретился до Белева, в Туле. Семья моего отца была московская. Т. е. семья немецкая, — кажется, из Мекленбурга (не знаю точно), переселившаяся в Москву в шестнадцатом

веке (1534 г.), где родоначальник открыл, в Немецкой Слободе, первый книжный магазин.

Отцу еще не было 30 лет, когда его назначили товарищем Обер-Прокурора Сената. Мы переехали в Петербург (из Харькова), но туберкулез отца не позволил ему там долго оставаться. Пришлось «перемениться» (не знаю точно, но это случалось) с чиновником на юге, и отец сделался председателем суда в Нежине (где воспитывался Гоголь), и где он, от острого туберкулеза, через несколько лет и умер. Мать перевезла тело в Москву, куда и мы все в скорости переехали. (С нами жила незамужняя сестра матери, бабушка, и были уже у меня три маленькие сестры, одна даже грудная). По переезде в Москву, где жила Grand'maman, мать отца, мать отдала меня в частную классическую гимназию Фишер на Остоженке, где и мы поселились. Мне шел одиннадцатый год.

Классическая гимназия была дорога и потому тяжела для матери, но она помнила, что отец не хотел отдавать меня в «простую» гимназию (это его предубеждение было, может быть, тогда по времени), институт же, после неудачного опыта с Киевским, еще при жизни отца, был для меня невозможен и нежелателен. Мать и тогда, в Нежине, лишь уступая отцу, отвезла меня в Киев, и предчувствовала, что из этого ничего не выйдет. Моя привязанность к отцу и к ней была такая страстная, что разлуки я пережить не могла, почти всё время провела в институтской больнице, — отец уступил и меня вернули домой. Мой отец был не суров, но строг и требователен. Когда он был чем-нибудь недоволен — он переставал обращать на меня внимание, и я знала, что необходимо итти, просить прощения. После — всё выяснялось, и мы опять были «друзья». Именно друзья, потому, что он говорил со мной обычно, как с «равной», с большой (а я была так мала, что в институте меня называли «маленький человек с большим горем» и, кажется, все, начиная с Grand'maman, были рады, когда меня взяли домой). Дома — в Нежине — первый период моего «домашнего воспитания»: куча учителей из Гоголевского института. Помню одного, русского язы-

ка, которого я любила и спрашивала: «а вы знаете еще другую маленькую девочку, которая умела бы так писать, — без одной ошибки?» Гоголя я уже знала, — отец был его поклонником и даже устроил два любительских спектакля (играли его сослуживцы), чтобы в городском сквере этого городишки был поставлен бюст Гоголю. Он и был поставлен. Театра там, конечно, не было, играли в зале Гоголевского института, а репетиции все происходили у нас.

В одном только отец не мог меня переупрямить: я ненавидела гувернанток, особенно немок и не желала учиться немецкому языку. И гувернантки-немки у нас не уживались. Положим и были они неудачны, даже бонны. Если бы попалась такая Амалия Христиановна, которой в «Октавах» поет «хвалу» Д. С. Мережковский, — было бы м. б. всё другое.

Классическая гимназия мне очень нравилась. Я была второй ученицей, но из этого тоже ничего не вышло, хотя по другой причине, чем из Киевского института. Я заболела, доктора нашли у меня начало туберкулезного процесса (к ужасу матери, боявшейся наследственности) и запретили мне выходить зимой. Гимназию пришлось бросить, это было начало второго периода «домашнего воспитания» — опять с учителями, но уже не профессорами, а студентами Московского Университета. Не могу сказать, чтобы они много мне дали. Настоящим учителем этого времени был мой дядя, один из двух братьев моей матери, очень известный в то время присяжный поверенный в Туле. Он заболел туберкулезом горла, приехал лечиться у московских докторов и жил с нами, в нашей маленькой квартирке. Очень культурный, он, не обращая внимания на моих студентов, вел живые со мной уроки, — главным образом, по литературе. Я уже читала теперь всё, без отцовского выбора, а дядя не только это чтение направлял, но пояснял и задавал мне сочинения... на очень трудные, как теперь вижу, темы. Не всегда я с ними справлялась, но он был терпелив. Через год, к несчастью, приехала его невыносимая, полусумасшедшая жена и увезла его в Тулу, где он вскорости и умер.

Я не поправлялась, и одно время мать даже подумывала переселиться всем семейством в Швейцарию, в Лозанну, где жила тогда жена ее второго брата с детьми. Если бы это случилось — не думаю, чтобы мы встретились когда-нибудь с Д. С. Мережковским. Но случилось другое.

Весной, после довольно тяжелой зимы, когда две младшие сестры мои перенесли очень серьезный плеврит, мать решила — не переселиться, а прожить год в Крыму. Мне тогда было уже 15 лет. Была нанята дача около Ялты, на горе, в долине... т. е. над долиной Учан-Су. Она принадлежала «генералу» (т. е. дейст. ст. советнику) А. Н. Драшусову, он был (как я узнала после) учителем А. Ф. Кони. Уже в то время глубокий старик — он занимал мезонин дачи, летом, а весь низ сдавал. Мать моя договорилась на год с его сыном, и в мае мы все двинулись на юг, с детьми, с няней (еще когда-то моей), с теткой и бабушкой. Страсть к путешествиям, к новым местам, юности свойственна. Но у меня оставалась всю жизнь, так же, как и у Д. С-ча. А ехать тогда в Крым в первый раз... Это ли не счастье?

Дм. Серг. в Крыму бывал с ранней юности. Кажется, еще в те времена, когда отец его сопровождал какого-нибудь больного члена царской семьи, но не заграницу, а в Крым, и мать успевала уговорить взять «Митю» с собой. Я говорю «кажется», потому что я не помню, как это было в точности. Знаю, что Д. С. бывал и живал в Алупке и в общении с тогдашними ее владельцами. Он навсегда остался влюбленным в Алупку и Ореанду, еще при мне оставшуюся в руинах и запустении. Но у Сергея Ивановича было и собственное имение в Крыму, небольшое, кажется, — в долине Учан-Су, очень близко от самого водопада, и в то время, когда мы жили на даче Драшусова, там проживал старший сын С. И. — Константин (в одиночестве и нам совершенно неизвестный). Дмитрий Серг. там бывал тоже, но раньше этого года. Не знаю, когда было это имение продано. Но к нашей свадьбе его уже не было, и Д. С. гораздо более часто говорил об Алупке, нежели о нем.

Наш год на даче Драшусова подходил к концу, я и сестра чувствовали себя хорошо, но было еще не решено, куда же мы отсюда поедем. Опять в Москву? Ничто не связывало мать мою с Москвой особенно, кроме могилы мужа. Детей учить (в гимназии) рано, меня — поздно. Но и оставаться в Крыму, искать новую дачу — бессмысленно. Мне нравилась эта неопределенность: что-нибудь да будет же, и новое, а значит — хорошее. В Крыму я начинала скучать: не было кругом никого, даже той кузины московской, которую одну я и любила. Не было и книг. Уроки, которые я давала второй сестре, — надоедали мне. Единственное развлечение — переписка, всё равно с кем, лишь бы писать. Когда старик Драшусов уезжал в Москву — я писала ему и он отвечал, и даже потом сказал, что хорошо, если бы я попробовала вообще что-нибудь писать. Но я писала только бесконечные дневники и — шуточные стихи, на кого попало, на тетку, на старика Драшусова... (тетка эта, старая дева, в него влюбилась). Такими упражнениями я заразила и тетку, и барышню, которая с нами жила, и даже не один раз — мать. Если писала другие — то они оставались втайне.

Было еще одно, довольно жалкое развлечение (это уж под конец) — ялтинский жалкий театр. Шли только оперетки, — но не всё ли равно? Гора наша была тяжелая, но я уговорила маму спускаться в Ялту хоть раз в неделю, в этот театр. Однажды, в сумерки, спускаясь, мы встретили кого-то, к нам как будто едущего, на извозчике. Вернувшись поздно — мы узнали, что был у нас из Тифлиса приехавший, второй мамин брат, Александр. Он уже давно жил в Тифлисе — был тоже адвокат и даже издавал газету «Юридический Вестник». Вот этот приезд и решил нашу судьбу — мою в особенности.

Переезд нашей семьи на Кавказ разрешал много затруднений и вопросов. Во-первых — вопрос материальный. Дядя был почти богат, он брал к себе бабушку (свою мать) и тетку

(сестру). Жена его с детьми вернулась из Швейцарии и лето мы должны были провести все вместе, в горном Боржоме, — и тут разрешался и вопрос о климате, — о моем здоровье, которое должно было укрепиться. Мои новые кузен и кузина (я их видела только в самом раннем детстве) писали мне восторженные письма о Боржоме.

И в конце мая мы сели на пароход, отходящий в Батум. В том же составе ехали, как из Москвы. Был, впрочем, и лишний пассажир: бабушкина черная кошка.

Лето в Боржоме с дядиной семьей... Это была, и вправду, новая жизнь. После Москвы, после скучной крымской дачи — музыка, танцы, верховая езда... Для шестнадцатилетней провинциальной барышни — нельзя лучшего и желать. С кузеном Васей, гимназистом, одних лет со мной (будущий думский депутат)*), мы сразу крепко подружились. Да и природа Боржома — обворожила меня.

Осенью мы переехали в Тифлис, в собственную квартиру. И зимой не было скучно. Мы все, младшие, надеялись, что весной вернемся в Боржом. Но у дяди Александра был странный характер: он был немножко самодур и деспот. Почему-то он решил, что довольно Боржома, надо попробовать и другое место — например, Манглис. Никто там не был, хорошего о нем слышно не было тоже, но жена дяди поехала и наняла дачи там.

Добра из этого не вышло. Не буду вспоминать ни этого неприятного места, ни трагического лета. Дядя Александр, приехав на дачу позднее всех, особенно угрюмый (но уже больной) — через две недели там и умер, от воспаления мозга.

Опять новая жизнь? Почти. Для моей матери, т. е. и для нас, она осложнялась большими заботами. Бабушку и незамужнюю тетку, после смерти дяди, их брата и сына, моя мать снова должна была взять к себе. «Богатство» дяди Александра оказалось доходами с его работы, семье своей он не оставил

*) В. А. Степанов.

почти ничего, и жена не могла же брать на себя содержание мужниных родных. После смерти дяди они переехали в маленькую квартирку, англичанка кузины Сони была отпущена, девочку намеревалась мать отдать просто в гимназию.

Мы тоже переменили квартиру. Зиму провели тихо, — смерть, как всегда, перевернула во мне, в душе, что-то очень серьезное. Я много читала, — увы, без всякого руководства, а что придется, что можно было достать. Пристрастилась, конечно, к стихам. А тут как раз началась «надсониада», если можно так выразиться. Только что умерший Надсон проник со своей «славой» и в провинцию. Тифлисские гимназисты, приятели кузена Васи, нас окружавшие, все записали стихи, особенно потому, что и я их в то время писала не так мало, — довольно скверные, конечно. Но я отмечу странный случай. Мне попался петербургский журнал, старый, прошлогодний, — «Живописное Обозрение». Там, среди дифирамбов Надсону, упоминалось о другом молодом поэте и друге Надсоне — Мережковском. Приводилось даже какое-то его стихотворение, которое мне не понравилось. Но неизвестно почему — имя запомнилось, и как... — об этом ниже.

К весне (1888 г.) мы, по молодости лет, оправились от манглисского кошмара и беззаботно стали мечтать о... нашем Боржоме. Было бы бесцельно нашим матерям, моей и кузенов, убеждать нас, что время другое, что денег для Боржома теперь нет... Мы бы не поверили, — да и почему в Боржоме жить дороже, чем в Тифлисе. А дачки можно нанять маленькие, дешевенькие...

Так оно и вышло. Две маленькие дачки, обе на горе, но не близко одна от другой, были наняты, и в конце июня (раньше в горные места, от дождей, переезжать нельзя) мы все очутились, наконец, в нашем Боржоме.

Мать Д. С. Мережковского эти последние годы болела печенью и Сергей Иванович увозил ее в Vichy. Так было и в этот год, когда Дм. Серг. сдал кандидатскую диссертацию; и

только-что издал первую книжку стихов. Ему было 23 года. Но и до этого лета, мать, уезжая в Vichy, приберегла какую-то сумму для своего «Мити», чтоб он мог поехать, куда хочет: знала его любовь к путешествиям. Он уже ездил по России, был у Глеба Успенского, и у знаменитого тогда (не знаю чем) крестьянина Сютаева*). А еще раньше был ненадолго в Париже с семьей музыканта Давыдова.

В год нашей встречи (1888) он начал путешествие с поэтом Минским, но потом они расстались, когда Д. С. спустился по Военно-Грузинской дороге в Закавказье и случайно (кто-то в дороге же ему посоветовал) — попал в Боржом.

Встретил его Боржом неприветливо: это было в мае — и шел непрерывный дождь. Серое небо, сырость, а гостиницы в тогдашнем Боржоме были ужасные. Да Д. С. еще и не попал в лучшую, «Кавалерскую», а в какой-то просыревший барак. Он хотел уж уезжать. Пошел на почту, спросить, нет ли писем из Vichy, от матери, да и лошадей до станции Михайлово там же заказать можно было. Начальником почтовой конторы был хороший наш, по первому пребыванию в Боржоме, знакомец — молодой латыш Якобсон. Весь год, после боржомского знакомства, я была с ним в деятельной переписке. Стихотворная и вообще литературная зараза нашего юного гимназического кружка очень его коснулась, он вообразил себя тоже писателем и присылал мне, вместе с красивыми тетрадями для моих дневников, свои «произведения», смешные «стихотворения в прозе». Надо признаться, что мы над ним много насмешничали, хотя, может быть, и два главные наши поэты-гимназисты, Глокке и другой, не помню фамилии, писали не многим лучше. Белобрысый, красноносый, он говорил с акцентом, выговаривая «л» как «l», и звали его «Сила» (как Sila). В силе своей (литературной) он был уверен, и Силой мы звали его потому, что он, убеждая меня однажды выйти за него замуж, сказал: «вы sila — и я sila; вме-

*) Основатель религиозной секты, которым в 80-х годах очень интересовался Толстой.

сте мы горы сдвинем». Я, конечно, этими горами не убедилась; но вот к этому-то Якобсону и попал Д. С., спрашивая письма на имя Мережковского. Наш знаток литературы имя петербургского поэта знал и очень обрадовался случаю: как, уезжать? Сезон начнется, вы увидите, что такое Боржом. В гостинице вам плохо, переезжайте ко мне. У него была своя уютная и благоустроенная дачка, куда он и перетащил своего нового пленника, за которым всячески стал ухаживать. Прочел его новенькую книгу стихов, конечно. Вдохновившись Буддой, придумал довольно глупую фантазию: попросил гимназиста-поэта Глокке, тоже приехавшего в Боржом, сказать мне, что у него живет буддист из Индии, ходит в халатах и ни с кем не разговаривает. Глокке, всем и всегда покорный, всё это исполнил, едва мы, в последних числах июня, водворились на нашей дачке. И вот тут-то произошла странность, которую я не могу сама объяснить: когда Глокке, со своими еще подробностями, рассказал мне про буддиста, у Якобсона, я вдруг сказала: всё это вздор. Никакого нет буддиста, ни халатов, а живет у Ивана Григорьевича просто Мережковский. Глокке опешил: кто вам сказал? Но мне никто ничего не сказал и, после «Живописного Обозрения», я нигде не видела, ни слышала имени Мережковского, да никогда о нем и не думала.

Видя, что тайна раскрыта (или угадана), Глокке мне всё рассказал, что знал, прибавив: «да, Мережковский, я книгу читал, и с ним познакомился. Но он не танцует и верхом не ездит». Последнее замечание еще ослабило мой интерес к поэту (единственное стихотворение в «Живописном Обозрении» мне тогда не понравилось). «Но Иван Григорьевич хочет всё-таки его с вами познакомить, — продолжал Глокке, вот, в ротонде, в воскресенье. Вы будете?»

Еще бы! Как пропустить танцевальный вечер?

К залу боржомской ротонды примыкала длинная галлерея, увитая диким виноградом, с источником вод посередине. По этой галлерее гуляют, во время танцевальных вечеров, или сидят в ней, не танцующие, да и танцующие — в антрактах. Там, проходя мимо с кем-то из моих кавалеров, я увидела мою мать и рядом с ней — худенького молодого человека, небольшого роста, с каштановой бородкой. Он что-то живо говорил маме, она улыбалась. Я поняла, что это Мережковский. Глокке уже приносил мне его книгу и уже говорил о нем с восторгом (которого я почему-то не разделяла и не хотела, главное, разделять). Я была уверена (это так и оказалось), что и Глокке, и Якобсон, уже говорили обо мне Мережковскому (о нашей «поэтессе», как тогда меня называли), и м. б. тоже с восторгом, Глокке даже м. б. читал ему мои стихи; думала также, что Мережковский их восторга, как я о нем, не разделял. Не последнее, а всё это вообще мне было неприятно. Потому, должно быть, когда в зале ротонды, после какой-то кадрили, меня Глокке с М. познакомил, я встретила его довольно сухо, и мы с первого-же раза стали... ну, не ссориться, а что-то вроде. Мне стихи его казались гораздо хуже надсоновских, что я ему не преминула высказать. Маме, напротив, Мережковский понравился, и сам он, и его говор (он слегка грассировал).

Однако, после первой встречи, мы стали встречаться ежедневно, и в парке, на музыке, и у Якобсона, куда он нас с мамой часто зазывал. Но почти всегда разговор наш выливался в спор. Моему кузену Васе, совсем не поэту, Мережковский тоже нравился; не потому, что писал стихи, а потому, что читал Спенсера.

В нашу компанию вошел новый элемент, чего-то более всё-таки взрослого. Ведь 23-х летний Мережковский был, однако, старше всех нас. Да и чувствовалось, что он из другого совсем мира, не того, к какому принадлежало и большинство наших «взрослых», — старых. В Боржоме бывала куча всякого сброда во время сезона. Их Мережковский называл «архаровцами» (пошляками) и старался быть от них

подальше. Он много гулял один (погода стояла божественная) и я уже знала, что он сочиняет теперь длинную поэму из испанской жизни под названием «Сильвио».

Почтарь Якобсон был, в конце концов, даже рад, что мы с Мережковским не очень дружны, всё будто ссоримся; он стал рассказывать, что Мережковский влюблен в одну тамошнюю барышню, Соню Кайтмазову, которая всегда гуляла одна, с книжкой, не бывала на вечерах, даже на музыке. Эта барышня, очень, действительно, скромная и милая, была, кажется, чеченка. Ее темная коса была так длинна, что касалась подола платья — тоже длинного, по тогдашней моде. Мережковский не отрицал, что она прелестна, что они встречаются... Но, как потом он мне рассказывал, она раздражала его живой характер своим тупым молчанием: точно ничего не понимала, о чем с ней говорят.

В это же время в Боржом приехал один недавний наш знакомец, какой-то дальний родственник моего отца, А. И. Гиппиус. Он был консулом где-то в Ризе, но собирался перевестись в Петербург. Приходился он мне дядей, но таким дальним, что в шутку он звал меня «тетушкой» и, между прочим, имел намерение на мне жениться. Он был ко мне очень мил, но его намерение меня не трогало: он мне казался «старым» — больше 30 лет! И хотя он мне подарил все сочинения Надсона — чувствовалось, что мы с ним не пара, любой гимназист был мне как-то веселее.

Он, впрочем, надеялся, что молодая живость моя скоро угомонится. Гимназисты ему были, конечно, не соперники. Но познакомившись с Мережковским, он раз сказал мне: «вы видите, тетушка, какие есть блестящие молодые люди в Петербурге. Я там их встречал. Но хоть и легко, не следует этим блеском увлекаться».

Я, впрочем, и не была, или не считала себя увлеченной. Мы с Мережковским продолжали полуссориться, хотя встре-

чались теперь постоянно, несколько раз в день. Всё мое молодое окружение было от Мережковского в восторге, — и, может быть, это меня немного раздражало. Особенно рассердилась я, когда кузен Вася сказал, что Мережковский считает меня необразованной, что это жаль и что он советует мне почитать Спенсера. Хороший ли был совет — другое дело; а что я была действительно редкий неуч — тут какой же спор, я это и сама знала, потому и рассердилась на всех троих: на Васю, на Мережковского и на Спенсера.

В эти дни устраивались часто дальние поездки целой компанией. Устраивал их чаще А. И. Гиппиус, с помощью почтаря Якобсона, который сам в них не участвовал. Мережковский всегда приглашался мною, но вдруг начинал капризничать: говорил, что ему скучно с «архаровцами», что всё это пошлость и т. д. Я сердилась и уходила из парка. А потом, в последнюю минуту, Д. С. являлся без капризов и мы ехали в двух или трех экипажах — раз в Абас-Туман, горное место, на два дня, в другой раз — на «Ацхурские Огни» — таинственное место, где ночью горел неизвестный огонь, видный лишь с нижней дороги. Мы туда ночью ходили исследовать, где горит этот огонь. Ничего, конечно, не нашли, вернулись к лошадям, и в Боржом приехали только утром.

Во время таких поездок и вообще среди нас Д. С. был центром. Но отнюдь не был он тем, кого называют «душой общества». Никого он не «занимал», не «развлекал»: он просто говорил весело, живо, интересно — об интересном. Это останавливало даже тех, кто ничем интересным не интересовался. Но, понятно, что все мои гимназисты, которых я, признаться, и раньше, от них того не скрывая, считала дураками — тут уж совсем поглупели — даже в своих, кажется, глазах. Один мой кузен Вася, хоть и не поэт, не терял апломба перед Мережковским, но ведь Вася читал Спенсера!

Пока происходило это завоевание Боржома, почтарь Якобсон, наша Sila, стал, напротив, как-то косо поглядывать на Мережковского. Они давно уже не жили вместе, Д. С. переехал в открывшуюся с сезоном Кавалерскую гостиницу.

Может быть, Якобсон заметил, что мои споры с Д. С. не мешают нашему сближению, а может быть возревновал его к своему литературному «имени» или званию, потому, что принялся устраивать у себя литературные вечера со своими поэтами в черкесках, над которыми и гимназисты справедливо издевались. Не понравилось Якобсону и первое, шутливое, стихотворение, которое мне написал Мережковский. (Я его помню, но не стоит его здесь выписывать). Каждый день, в парке, Якобсон мне повторял, что М. скоро уезжает. Однако, он же, в одно прекрасное утро, объявил мне торжественно и — мне показалось — злобно: «он остается».

С самим М. мы об его отъезде или неотъезде не говорили, хотя видались теперь в парке всякое утро — и наедине. Он спрашивал накануне, в котором часу я приду, просил притти пораньше. Я однажды сказала, совершенно просто: «а если я просплю?» И вдруг удивилась его неожиданной обиде. Я была избалована, однако, почему-то мысль, что Мережковский серьезно ухаживает за мной, что я ему серьезно нравлюсь, мне пришла тогда впервые. Если он... а что же я? Так вдруг я еще не умела себе ответить. Я только полюбила наши утренние прогулки вглубь ущелья, наши почти уже мирные, всегда интересные, разговоры... Любопытно, что у меня была минута испуга, я хотела эти свидания прекратить, и пусть он лучше уезжает. Что мне с ним делать? Он — умнее меня. Я это знаю; и всё время буду знать, и помнить, и терпеть... Этой мгновенно промелькнувшей мыслью я доказала, кстати, что умней меня и не трудно быть.

Через несколько дней очень многое неожиданно выяснилось... или запуталось: во всяком случае изменилось.

В сущности, весь период нашего первого знакомства с Мережковским был короток: несколько последних дней июня, когда мы приехали в Боржом, и первые десять дней июля, потому, что 11 июля и наступила та перемена в наших отношениях, о которой сказано, и начался уже второй период.

11 июля, в Ольгин день, в ротонде был танцевальный вечер, но не воскресный, не обычный, наш, а детский. Он устраивался во всё лето лишь один раз, и мы все туда, конечно, тоже отправились, смотреть. Д. С. Мережковский, хотя не танцующий, бывал, однако, и на воскресных вечерах, встретили мы его и на этом. Бал был очень милый, но нашим матерям смотреть на детей было, кажется, веселее, мне же скоро наскучило. Д. С-чу, конечно, тоже. Да в зале — духота, теснота, а ночь была удивительная, светлая, прохладная, деревья в парке стояли серебряные от луны. И мы с Д. С. как-то незаметно оказались вдвоем, на дорожке парка, что вьется по берегу шумливого ручья-речки Боржомки, далеко по узкому ущелью. И незаметно шли мы всё дальше, так что и музыка уже была едва слышна. Я не могу припомнить, как начался наш странный разговор. Самое странное, что он мне тогда не показался странным. Мне уже не раз делали, как говорится, «предложение»; еще того чаще слышала я «объяснение ь любви». Но тут не было ни «предложения», ни «объяснения»: мы, и главное, оба — вдруг стали разговаривать так, как будто давно уже было решено, что мы женимся, и что это будет хорошо. Начал, дал тон этот, очень простой, он, конечно, а я так для себя незаметно и естественно в этот тон вошла, как будто ничего неожиданного и не случилось. После, вспоминая этот вечер, особенно во время наших размолвок (их потом случалось не мало), я даже спрашивала себя, уж не из кокетства ли я тогда ему не возражала, и действительно ли хочу выходить за него замуж? Я уже бывала, и не раз, «влюблена», знала, что это, а ведь тут — совсем что-то другое! Первое мое влюбление, в 16 лет, было кратко(как, впрочем, и другие) — в талантливого и красивого скрипача, сына нашего домохозяина, часто у нас бывавшего и очень за мной ухаживавшего. Он был уже тогда смертельно болен, туберкулезом, но состояния своего не знал и, вероятно, сделал бы мне предложение, если б, к счастью моей матери, которая всё видела и ни за что бы на этот брак не согласилась, мы не уехали внезапно из Тифлиса. Через полтора месяца я всё

забыла, а мой Jérome B. осенью от своей болезни и умер. Последующие мои влюбленности вызывали у меня отчаяние и горестные страницы в дневнике: «я в него влюблена, но ьедь я же вижу, что он дурак».

И вот, в первый раз с Мережковским, здесь, у меня случилось что-то, совсем ни на что не похожее...

Мы вернулись в ротонду. когда вечер уже почти кончился и мама начинала тревожиться, меня не находя. Мать моего кузена Васи, с ним и с его сестрой Соней, отправились к нам пить чай. Она (тетя Вера, как мы ее называли) первая обратила внимание на мой странный, какой-то растерянный, вид. Дома я немножко пришла в себя, но отвечая на все расспросы, никак всё-таки не могла рассказать то, что произошло в точности, ибо сама его себе не объясняла, да и мамы наши этого бы не поняли. И я сказала понятнее, что, мол, Мережковский сделал мне предложение. «Как, и он?», засмеялась тетя Вера, зная, сколько у меня тогда было «женихов». И прибавила: «Зина, кажется, и сама удивлена этой неожиданностью».

— Что же ты ему ответила? спросила мама.

— Я? Ничего. Да он не спрашивал ответа!

И, рассердившись, я ушла в свою комнату.

На другой день утром мы, как было условлено, встретились в парке и.... продолжали тот же разговор. Он рассказывал мне о своей семье, об отце, главное, конечно, о матери. Рассказывал и о Петербурге, и о своих путешествиях. Молодую живость, увлекательную образность речей он умел сохранить до конца жизни, но у юного, 23-х летнего Мережковского была в его речах еще и заразительная веселость, не злая, а детская насмешливость.

С этой поры мы уже постоянно встречались в парке утром, вдвоем; днем, если мы не ехали никуда всей компанией, Д. С. бывал у нас. Никакого «объявления» о нашей будущей свадьбе не было, но как-то это должно быть знались. Мои поэты-гимназисты сами были увлечены «настоящим» поэтом, и ревновать меня к нему им и вообще было не к месту. Один

только латыш-почтарь (Sila) почему то нашим сближением был недоволен. Глокке, бывший у него в подчинении и у него, кажется, живший, мне это довольно чепушисто передавал, а однажды, уже поздно вечером, в мое окно, из сада, влетел толстый букет цветов, очень нас испугавший (я была с мамой). Я выглянула в окно, из черной-пречерной ночи раздался жалобный голос Глокке: «Это от И. Г. Он спрашивает: если бы не то — то что?» Таинственный вопрос. Он так и остался для меня такой. Подумав, я ,однако, решила сделать вид, что понимаю. — Скажите, что тогда было бы еще лучше, но и теперь недурно. — Этим дело не кончилось, и латыш, вообразив неизвестно что, вдруг предложил как-то, в галлерее, Д. С-чу — «обменяться пулями». Это было до такой степени глупо и непонятно, что Д. С., — он мне рассказывал потом — только рассмеялся ему в лицо, а почтарь сам сконфузился.

Рассказывая мне о петербургских поэтах, Д. С. заговорил как-то о Льдове: «Пришел ко мне невзрачный человек, принялся читать стихи, довольно скверные, и вдруг прочел одно — прекрасное: «Как пламя дальнего кадила закат горел и догорал. Ты равнодушно уходила...» и т. д.

Стихотворение, правда, казалось нам тогда хорошим, хотя не было похоже на Надсона. Главное-же, что немедленно прельстило наших поэтов, — это льдовские попытки писать стихи... не то что «вольно», как потом это вошло в моду (не так скоро), а просто полу-ритмической прозой. Это было не то, что я же сама, освободившись от Надсона, уже в Петербурге, начала вводить, написав свое «Хочу того, чего нет на свете» (этой «Песни» никто не хотел печатать, находя, что это «не стихи», а более ранние я уже тогда везде печатала). Льдовскую полуритмическую прозу писать — казалось легко, меня же всегда соблазняла «трудность» писать стихи, а потому я этим жанром не прельстилась, хотя и сам Д. С. пробовал его в то время. Я даже помню две строчки из одного такого «стихотворения»:

Мы два товарища орла,
Летим, летим под тучу грозовую!

(Если б мы тогда представить себе могли, под какую грозовую тучу мы с ним в жизни попадем!)

Но это к слову, наши же доморощенные «поэты» схватились за эту стихотворную прозу с особым увлечением — чего легче? Глокке, так тот писал это буквально каждый час, — услышит что-нибудь, и в другую комнату, за перо и бумагу, готово новое стихотворение.

Лето, однако, приходило к концу. Из горных мест уезжают рано, в начале сентября мы двинулись в Тифлис. Д. С. поехал туда же, очень ненадолго. У нас было решено, что он уедет в Петербург, на два месяца, чтоб устроиться с отцом, нанять квартиру, а венчаться мы будем в январе (1889 г.). И опять «решено» всё это было как-то без лишних слов, а само собой. Мама почти примирилась с моим Петербургом. Д. С., кажется, уговорил ее обо мне не беспокоиться. А я знала, что она в Тифлисе не останется, да и смысла не было, после смерти брата. Степановская семья и сама не оставалась на Кавказе: через год Вася кончал гимназию, Соня тоже, и оба мечтали о высшем образовани. Они должны были переехать в Петербург. Мама же со всей семьей (бабушка, тетя Леля, старая дева, няня Дашенька, три девочки, племянник Паша, — ну и черная кошка) решила поселиться в Москве, но уже первое лето после моей свадьбы мы провели вместе, на даче под Москвой.

В сентябре Д. С. уехал из Тифлиса, и тогда-то мы и стали писать друг другу каждый день. Это была наша единственная разлука, после свадьбы мы уже не разлучались, потому никакой «переписки» между нами и не было.

Зима в Тифлисе 1888-1889 г. была очень суровая и началась рано. На Военно-Грузинской дороге — непрерывные обвалы, а т. к. в то время иного сообщения с Закавказьем

не было, то почта зачастую опаздывала на целую неделю. Тогда я получала сразу целый пакет писем от Д. С. Он не привык к запозданью и очень беспокоился, особенно когда в это время у меня был дифтерит. Несколько писем от него получила и мама — более реального содержания, насчет того, как он думает устроиться со мною в Петербурге.

Он вернулся туда раньше возвращения отца и матери из Vichy. Но они не замедлили, и потом он рассказывал мне, да и мать его тоже, что пока она, больная, взбиралась на пятый этаж (они жили на Знаменской, 35, отец почему-то всегда предпочитал пятые этажи) — он уже на лестнице рассказал ей всё. И она, конечно, уж знала, какое тяжкое дело ей предстоит с отцом. Нужно было уговорить его дать несколько тысяч на обзаведение и потом назначить ежемесячно минимальную сумму на прожиток. Не знаю, сколько времени длились переговоры, представляю себе как они были тяжелы ей, совершенно в Vichy не поправившейся, но своего любимца Митю она всё время утешала, что дело выйдет. Утром, как всегда, приходя к нему поздороваться, когда он лежал еще в постели, шутила с ним, как с ребенком (не был ли он для нее ребенок?): «Будет тебе, будет твоя цаца!» В письмах ко мне он не сомневался, что мать всё устроит. И был прав. У нас, кроме самых близких, никто и не знал о моей предстоящей свадьбе. Моя мать старалась приготовить мне что-то вроде приданого, но при нашем положении какое уж приданое! Настроение мое было не очень веселое, мне почему-то было страшно, хотя и переписка уже очень сблизила нас с Д. С. Первая разлука с матерью уже пугала меня, хотя и недолгая: переезд в Москву и общее житье летом были решены. В общем — жизнь моя, в эти два с половиной месяца, шла без перемен.

Мы ждали приезда Д. С-ча в начале декабря, но он приехал неожиданно раньше. В конце ноября, кажется — 23-го, хорошо помню: меня не было дома, а когда, вернувшись я вошла в нашу длинную залу, я увидала его стоящим около одного из окон и так удивилась, что довольно бессмысленно

спросила: «Откуда — вы?», на что последовал естественный ответ:

— Непосредственно из Петербурга.

Меня удивило только его красивое грассированье, от которого я отвыкла, забыла его.

Об этом времени перед нашей свадьбой мне почти нечего рассказывать. Мы, конечно, проводили целые дни вместе, читали. Помнится, читали и вышедший тогда роман Зола — «Le Rêve», который обоим нам не очень, однако, нравился. Но он привез не мало новых русских книг и журналов, Чехова, между прочим, о котором только что написал статью в «Северном Вестнике». Очень подробно рассказывал он мне об этом журнале, о редакции, с Анной Михайловной Евреиновой во главе (и ее муже). Там работал тогда и А. Н. Плещеев.

Гаршина, которого уже не было (в припадке безумия он выбросился в пролет лестницы), Дм. С. знал хорошо и любил его. Привез Д. С. и первые мои, полудетские, конечно, стихи, напечатанные Плещеевым в том-же «Сев. Вестнике» за подписью З. Г. Говорят, что видеть себя в печати впервые — приводит молодого автора в особо-неистовый восторг. Я этого восторга не испытала, может быть — потому, что в печати мне уж стало слишком ясно, какие это стихи, сколько в них Надсона, к которому у меня началось охлаждение.

Стихи, впрочем, я продолжала писать (увы, всё такие-же), хотя Д. С. очень советовал мне попробовать прозу. Но о первых моих дебютах, столь неудачных, в прозе — потом, если придется к слову.

Всех «наших» Мережковский, конечно, очаровал сызнова своей молодой живостью и всё той же способностью заинтересовать тем, что он говорил и чем сам интересовался. Даже 14-летний племянник мамы, перешедший из дядиной в нашу семью, какой-то невинно-придурковатый (сумасшедшая мать успела этому посодействовать) — вдруг стал за обедом объясняться Д. С-чу в любви и «высоком уваженьи». Даже мой учитель музыки, молодой поляк, очень талантливый

пианист, но тоже по-своему придурковатый, и тот возгорелся этим самым «уважением и восхищением», хотя Д. С. не обращал на него никакого внимания, — он не любил и не понимал музыки. Оттого ли не любил, что не понимал, или обратно, — не знаю. Но это было предметом наших полуссор. После ялтинских опереток я пристрастилась к опере, а опера тогда в Тифлисе была превосходная. В ту пору приезжал Чайковский (мы его видели в театре) и с удовольствием слушал своего «Евг. Онегина». Часто Д. С. хотел, чтобы я осталась вечером дома, а я стремилась в оперу, предлагая ему оставаться дома, если он не желает ехать со мной. Он сердился: «Неужели вы думаете, что я не предпочту слушать с вами самую скучную оперу, но не сидеть один в номере гостиницы?» и ехал со мной — без всякого удовольствия. Сопровождал он меня и в Кружок*), где по четвергам были скромные танцевальные вечера. Там однажды мы встретились с Соней Кайтмазовой, боржомской барышней с длинной косой, в которую Д. С. был — как уверял — влюблен до меня. Оба не танцующие, они прохаживались по зале, или сидели у окон, о чем-то разговаривая, пока я танцовала... уже не с гимназистами, — они в Кружок не допускались. Да моя гимназическая компания уже распалась сама собой: ведь это были гимназисты 8-го класса, и они все разъехались по университетам и разным институтам, а кое-кто пошел на военную службу, «чтобы раньше взять жизнь», как эти говорили.

У нас дома только наша няня и тетя Леля, старая дева, не были Мережковским очарованы. Обе — из-за приверженности к Ал. Ив. Гиппиусу (он совсем исчез из Тифлиса, поехал, как оказалось, жениться на барышне Зубовой, которую присмотрел на случай, если со мной не выйдет). А тетя Леля была в него безнадежно и тайно (явно для других) влюблена. Не могла понять, как я ему предпочла Мережковского, неизвестно откуда взявшегося. А моя няня Даша (удивительное она была существо!) любила «важность»; Ал. Ив. ей

*) Тифлисский клуб.

казался более важным и солидным; что у Мережковского папаша-генерал (тайный советник) — она еще не знала. Впоследствии, когда наша семья из Москвы переехала в Петербург, и вплоть до нашего бегства, она жила у нас с Д. С. Да и сестры мои уже тогда подросли. Я сразу хотела взять ее с собой в Петербург — ни за что.

В этот период мы с Д. С. ссорились, хотя не так, как в дни первого знакомства и в первый год после свадьбы, но всё же часто. У обоих был характер по-молодому неуступчивый, у меня в особенности. Но в том, что всякие «свадьбы» и «пиры» — противны, что надо сделать всё попроще, днем, без всяких белых платьев и вуалей — мы были согласны. Венчанье было назначено на 8 января (1889 г.), но уехать в тот же день, или даже на другой, мы не могли: билеты в дилижанс мы достали только на десятое. Я не хотела даже шаферов, но оказалось, что они необходимы: венцы нельзя надевать на головы, как шляпу, надо их над головами держать. Мой шафер был кузен Вася (он только перешел в 8 класс), а второй — какой-то его товарищ.

Утро было солнечное и холодное. Мы отправились с мамой в Михайловскую церковь, близкую, как на прогулку: на мне был костюм темно-стального цвета, такая же маленькая шляпа на розовой подкладке. Дорогой мама говорила мне взволнованно: «Ты родилась восьмого, в день Михаила Архангела, с первым ударом соборного колокола в Михайловском соборе. Вот теперь и венчаться идешь 8-го, и в церковь Михаила Архангела».

Но я была не то в спокойствии, не то в отупении: мне казалось, что это не очень серьезно. В церкви (холодной) мы нашли наших шаферов, свидетелей и двух теток — жену (и ее сестру) покойного дяди. Свидетели были их знакомые, какие-то адвокаты. Нашли мы и жениха. Он был в сюртуке и в так называемой «николаевской» шинели, — их тогда много носили, — с пелериной и бобровым воротником. Она была петербургская — пригодилась и для суровой тифлисской зимы. В шинели венчаться было, однако, нельзя, и он ее

снял. Говорил потом, что не почувствовал холода, ведь всё это продолжалось так недолго! Еще бы — ведь не было ни певчих, ни даже (кажется) диакона, и знаменитое «жена да боится своего мужа» прошло совершенно незаметно. Постороннего народа почти не было, зато были яркие и длинные солнечные лучи из верхних окон — на всю церковь. На розовую подстилку мы вступили вместе и — осторожно: ведь не в белых туфельках, — с улицы, а это всё идет после священнику. Как не похоже было это венчанье на толстовское, которое он описал в «Анне Карениной» — свадьба Китти! Когда давали нам пить из одного сосуда, поочередно, я, во второй раз, хотела кончить, но священник испуганно прошептал: «не всё, не всё!» — кончить должен был жених. После этого церемония продолжалась с той же быстротой, и вот — мы уже на паперти, разговариваем со свидетелями.

Мне кажется, что ничего и не произошло особенного, говорю я одному. Тот смеется: «Ну нет, очень-таки произошло, и серьезное».

Затем мы, так же пешком, отправились к нам домой, свидетели ушли к себе. Дома нас ждал обыкновенный завтрак, только не знаю кто, мама или тетки, решил всё же отметить столь не пышную, а всё-таки свадьбу: во время завтрака явилось шампанское, его дали даже Паше, который, как выяснилось, потихоньку в церкви был и остался доволен. Стало весело, — впрочем, и раньше никто не грустил (кроме мамы может быть, — ведь всё-таки разлука!)

Затем гости (тетка и шафера) ушли домой, а наш день прошел, как вчерашний. Мы с Д. С. продолжали читать в моей комнате вчерашнюю книгу, потом обедали. Вечером, к чаю, зашла случайно бывшая моя гувернантка-француженка. Можно себе представить, что она чуть со стула не упала от неожиданности, когда мама, разливая чай, заметила мельком: «А Зина сегодня замуж вышла».

Дм. С. ушел к себе в гостиницу довольно рано, а я легла спать и забыла, что замужем. Да так забыла, что на другое

утро едва вспомнила, когда мама, через дверь, мне крикнула: «Ты еще спишь, а уж муж пришел! Вставай!»

Муж? Какое удивленье!

Я думаю, из людей бывавших в Закавказье только в конце века и после, мало кто знает Военно-Грузинскую дорогу. В те же времена туда было только два пути: морем на Батум — и вот эта горная дорога на лошадях, до Владикавказа. Я не буду описывать ее красот, ни зимних, ни летних (мы проезжали с Д. С. ее дважды). Лермонтов достаточно хорошо описал Кавказ, и мне напрасно было бы стараться что-либо к нему прибавить. Скажу только, что Швейцария, если не кажется перед ним мизерной (конечно, нет) то, во всяком случае, мало его напоминает: это совсем что-то иное, не то линии другие, не то воздух самый: трудно определить. Может быть это и воображение, но в Швейцарии всегда есть что-то от cartes postales. И ничего — в темных кавказских ущельях.

Мы выехали довольно рано. Со второй станции громоздкий дилижанс был покинут: нас по-двое рассадили в сани и мы покатили по узкой снежной дороге. Мне навсегда запомнилось это нестерпимое солнечно-снежное сверканье, как бы длительная молния. От него и синий вуаль, которым меня снабдили, не помогал. Когда снежные стены с обеих сторон дороги делались круче и мелькал черный флажок на них, — даже легкие сани замедляли ход: флажок обозначал опасность обвала. А такой обвал — не пустое: гибель от него в диких местах почти наверное. Другой флажок — красный, советовал, напротив, проезжать это место как можно скорее: тут обвал уже был, но возможен второй.

Возница наш, грузин, был словоохотлив, но громко говорить избегал: это тоже благоприятствует обвалу. Мы почти не заметили, как свечерело, снега потускли — близок был высший пункт — Крестовая Гора, где обычно ночевка. Никаких на ней Палас-отелей, конечно, не было, да и не было их, конечно, и после, — никогда. Никто их и не ждал. Не-

сколько деревянных гостиничных построек, неудобных, конечно, но теплых. Мы всё-таки почти не раздевались и укрылись — я своей белой бараньей шубой, он — шинелью. Предварительно нас недурно накормили.

Утром надо было выезжать рано, чтобы к темноте попасть в город. И от высокого Креста, полузанесенного снегом — пошла опять та же белая дорога, только вокруг горы теснились еще ближе, ущелья были еще суровее. Возница раз обернулся к нам и, указывая направо, на какое-то невозможное острие, пробурчал: «замок царицы Тамары...» Д. С. засмеялся: «Скажите, какая эрудиция...» Но вряд ли грузин знал Лермонтова: должно быть, так у них повелось, указывать проезжающим на это острие над пропастью.

Когда мы приехали на станцию «Казбек» (у подножия этой величественной горы, стоявшей как-то особняком), погода начала портиться, подымался ветер. Казбек «курится» и в хорошую погоду, но тут понемногу стали наплывать настоящие тучи.

Не помню на какой станции мы оставили наши сани, перебрались опять в местный дилижанс: снег почти исчез. В город (Владикавказ) приехали очень поздно, было темно и накрапывал дождь. За вторую половину пути мы устали больше, и рады были постелям какой-то плохенькой гостиницы.

На другой день обыкновенный поезд помчал нас в Москву.

З. Н. Гиппиус.

ВТОРАЯ ПАМЯТЬ

(Отрывок)

...Это было еще живое, в несметный раз само собою повторившееся и продолжающееся (преломляющееся) воспоминание, а не обыкновенное действие памяти: всякая сладость, когда-либо проникшая в его душу, по сей день сохраняла свою живую силу, действительность в той же, единой душе.

Было две памяти: «первая», обыкновенная, мыслящая, располагающая столь скудными средствами, что даже то убогое, что она кое-как сохранила уже давно, вспоминалось не по девственным, подлинным впечатлениям, а лишь по более ранним воспоминаниям о них; и память вторая, совершавшая свою работу в потемках сознания, чудесною силою которой прежнее мало что не «проходило», не «протекало», а залегало в самое основание последующего восприятия, как-то воздействуя на каждое мгновение всех последующих времен.

Представления «свет», «фонарь», «сумерки», «дождь», «снег», «полдень», «комната», все основные, стихийные впечатления души, азбука восприятия, были не просто откликом сознания на случайное, меняющееся чувственное раздражение, а чем-то непреложным, единичным, раз навсегда сочетавшимся когда-то с определенными другими представлениями.

В его восприятии даже и не было вовсе «сумерек», «утра», «комнаты», «окон» самих по себе, порознь от основного сочетания (раздражения) — от какого-нибудь обстоятельства того старого года, того милого, райски-незабвенного, впоследствии погибшего города, — подобно тому, как дети,

обучающиеся грамоте, усваивают буквы не в отвлечении и одиночности, а совокупно с картинкою, поясняющею их в букваре: «А» — Ангел, «Б» — Баба, «М» — Медведь.

Особенно властны были световые воспоминания, наиболее живучие и острые, еще острее чем вкусовые и даже чем обонятельные воспоминания. Так, если он сидел, слушал по вечерам радио в потемках одной комнаты, а свет вступал в потемки из другой комнаты, или снаружи, чувственное раздражение было настолько сильно, совпадало с таким несчетным числом прежних раздражений (борозд по памяти), что не было никакой надобности «вспоминать» (мыслить) — он весь был в чувственном засильи, упоеньи прошлого. Условно-прошлого, ибо в истинно-научном смысле лишь сила, а не порядок поступления впечатлений, определяет степень их живости

... Всякая сладость, когда-либо проточившаяся в его душу, сохраняла свою живую силу, действительность... — но разве некогда, в начале его века, каждое впечатление, самое ощущение стихии, мира, самое восприятие не было сплошь вожделением, сплошь сладостью?

Но вот, во всем теперешнем мире почти не уцелело такой вещи, такой прелести, которая была-бы сладостна своею собственною, незаимствованною сладостью. И для того, чтобы что-нибудь в теперешнем мире благословить (возлюбить) или хотя-бы даже осознать (постичь), обособить от общего мелькания и гула, необходимо было это нечто перевести как-бы на родную речь, молву минувшего.

Всё, всё.

Внезапно, посреди скитанья
Последней адской полосой
Особенности, очертанья
Какой-то улицы былой.

Способность восприятия обольщаться подобными «очертаньями» была такова, что даже эта тесная, крутая, поистине адски-постылая улица, по которой он уже годы, из вечера в

вечер, влачился в гору к немилому теперешнему дому, что даже эта ненавистная улица совпадала неясно в его восприятии (особенно в теплое, лиственное время) с какой-то древней, детской прежней дорогой, всё-еще будто бы уводящей на «14-ую Станцию», на «Дачу Ку́пина» (дачный театр, любительские спектакли, на которые почти не допускались младшие)

...И тот фонарь (подле «Доминиона») и другие теперешние фонари были в его восприятии прежние, совсем, совсем давние, детские огни, те, что висели по одному с равными пропусками над мостовой, по которой родители некогда (в его детстве) ездили веселиться, гулять в «Северное» или в «Аркадию». Нужды нет, что и «Северное», и «Аркадия» были на самом деле всего-навсего обыкновенным пьяным местом, расточительным кабаком и что гулянье родительское было степенно и пошло. Поныне, по самую теперешнюю адски-горькую пору, слова эти («Аркадия», «Северное») сияли в сердце тою блаженною мечтательностью, завистью, что они когда-то внушали, особым предощущением, чаянием исполнения участи, каким исходит всякая подростающая душа.

Раз как-то родители привезли с собой из «Северного» програмную книжку, в которой был тусклый, плохой как в газете литографический снимок какой-то куплетистки, которая исполнит романс «Когда я на почте служил ямщиком» и которая и сама была темноока и статно обнажена по «белую грудь» — и на другое, ясно-похмельное утро родители с такою негою, молодостью сетовали с вчерашнего цыганского голоса:

Черные очи, да белая грудь
Н-ночь н-на-пролет — н-н-не дают мне уснуть!

— с таким разгулом, милым русским ускорением погибели со слова «не»; — и весь век не было слаще, заветней песни, весь век даже в убранстве «шансонетки», «канканистки» тоже как-будто мерещилось что-то заветное, какой-то отблеск, счастье родительской молодости и удали.

Казалось бы, какая жуть могла бы связаться в памяти за эти долгие лондонские военные, налетные годы со звуком тяготеющего над головою аэроплана — а между тем, минуя вчерашнее, недавнее, звук этот сладостно бередил в памяти давным-давно прошедшее, детское: дачу, теплое время, первые годы столетия, быстро протекшую славу летчика Уточкина.

И так во всем: лишь сладкое, милое сердцу усваивалось и сберегалось памятью (особенно второю). А горькое, ненужное сердцу (хотя бы и недалекое по времени) памятью постепенно извергалось — даже и такое недавнее и такое сильное, как вся шестилетняя всеобщая война. А так как самое сладкое. сердцу, самое з о л о т о е| обыкновенно приходилось на время детства, молодости, то и вечному сбережению, вечной памяти подлежала как раз молодость. Молодость была неотъемлемым достоянием души, основным ее строем.

А есть еще для каждаго существа и свой особый час, или даже только миг суток (как есть и свой особый в течение недели день, целые свои, в году, недели), — в который беспредметно обостряется и располагается к одобрению и умилению восприятие — и всё потому, что когда-то в такой миг или в такой час в личном бытии случилось (или даже с л у ч а л о с ь, много крат; ах, пуще всего если с л у ч а л о с ь) что-нибудь особенно достопамятное (то-есть опять же таки: сладостное).

«Погряз»-ли он в минувшем? Уклонялся-ли он от настоящего? — Нет, нисколько не погряз и не уклонялся. Мало того, с тех пор, как он стал наблюдать, изучать основы памяти, его как-то всё меньше и меньше привлекали обыкновенные «первые» воспоминания.

Что же касалось не первой, а второй памяти, то деятельность ее была так же темна и так же вне препятствования или поощрения воли, как обращение крови или обновление тканей. Да, да, таинство второй памяти было легче всего сравнимо с таинством обновления тканей.

Б. Тепер

БАЛЛАДА О МАЯКЕ

М. С. Цетлин

— На острове, — не спрашивай, я не отвечу, — там, на
острове,
На диком острове стоял маяк, и свет,
Надежный, честный свет горел всю ночь. Всю ночь
кричали чайки
Над диким светом, рассекавшим честный мрак.
Нет, не перебивай. Всю ночь смотрел матрос, —
А ночь была как день — бессмысленно отчетливой, — И
он смотрел всю ночь, всю жизнь в глаза вложив,
На этот честный, чистый, четкий свет,
Идущий — понимаешь? — прямо к сердцу
Из где-то медлящей страны обетованной:
С лесного, дикого, заброшенного острова,
С забытого пустого маяка.

**
*

Солнце печет, а в тени свежо.
Ждать хорошо, и не ждать хорошо.

Весело мчаться в шумной погоне —
Я догоню, или он догонит?
Солнце печет, а в тени свежо. Весело
мчаться в шумной погоне, Но у
окошка сидеть — спокойней.

Ждать хорошо, и не ждать хорошо.

**
*

Потому что всё-таки нам надо,
Чтоб хоть кто-нибудь да слышал нас,
Чтоб тоску измученного взгляда
Человеческий бы встретил глаз.

Потому что не для крови свежей
Был задуман первозданный снег.
Потому что хочет правды здешней,
Нескончаемой вовек,
Неприявший злобы, неутешный,
Уязвленный человек.

Х. Кроткова

ПОСЛЕ ЧЬИХ-ТО ПОХОРОН

Так и я: с трудом и безобразно,
Потому что надо так — умру.

Будет снег (а может быть и лужи),
Мозглость осени (иль прель весны).
Панихиду надо мной отслужат —
Для живых (для тех, кто видит сны).

Неуместно-нежною зигзицей
Нота в хоре, взвившись, прозвенит.
Кто-то вздрогнет, кто-то прослезится,
А кого-то тихо затошнит.

И опустят этак иль иначе —
На корнями пахнущее дно.
Может быть, она тогда заплачет;
Только мне-то будет всё равно.

И уйдут, не разобравшись в вечном,
К мискам, книгам, к разным мелочам —
Снова душу каждым днем увечить,
Жизнь, как тряпку, по полу влача.

Много белых зим и грязных вёсен,
Не задев, промчится надо мной —
Бесконечные, как цыфра «8» —
Только мне-то будет всё равно.

Так — линяя, расходясь, кусками —
Буду я от жизни отпадать,
Очень медленно (как мокнет камень)
Буду я от жизни отвыкать

И, забыв обеды, слезы, войны,
Исполнять один большой статут —
Так, как дерево шумит листвою,
Так, как звезды смотрят в пустоту.

В. Марков

1947 г.

ИЗ КНИГИ «СЧАСТЬЕ»

«...И, может быть, на мой закат печальный...»
А. П.

I

Любимая моя живет в Китае,
В высокой башне обо мне мечтая.

И, может быть, она уже стареет...
За годом год, за ветром ветер веет,

Раскосые кругом теснятся люди —
Но нет меня, и никогда не будет,
У маленькой, у желтоватой груди.

II

Горит звезда в пустынных небесах...
О, сколько раз она уже горела
И в небесах, и в прозе, и в стихах, —
Какое мне до звезд, до этих, дело.

Одна звезда, в безумной вышине,
И в вечности своей невыносимой,
Горит, и опаляет сердце мне,

И вот, встает, среди лучей и дыма,
В сиянии любви первоначальной,
Твой детский лик, жестокий и печальный.

III

Твой взор равнодушный и узкий,
И зоркий в своем полусне,
И счастье калмыцкое в русской
Несчастной и дикой стране.

Соленые ветры, ненастье,
Степная, безмолвная тишь...
Любовь, что ты помнишь о счастье?
Звезда, для кого ты горишь?

IV

Лунного неба тоска и величье,
Девочки дикие очи...
Что-то есть легкое, синее, птичье
В этой пленительной ночи.

Что-то есть райское и угловатое
В детских плечах, и над ними
Медленно облако голубоватое
Тает в серебряном дыме.

V

Влюбленный ждет у выхода метро
Возлюбленную, и проходят люди —
И на висках у этой серебро,
А вот у той трясущиеся груди.

А вот у той печальное лицо,
Не дождалась она кого-то тоже,
У этой обручальное кольцо
И очень озабоченная рожа.

Безумец бедный, где твоя мечта?
Уже прошли, еще проходят сотни...
Вот, обернулась, на мгновенье, та,
Исчезла у соседней подворотни.

Не надо ждать — годам потерян счет.
Зачем тебе напрасные страданья?

Любимая наверно не придет,
Не назначала никогда свиданья.

VI

Прощай — печальнее нет слова
Печальней и нежней.
Прощай. — Увидимся ли снова
С тобой в стране теней?

Прощай. — Ты смолкла и угасла,
А я еще шепчу:
Прощай. О, как ты быстро гасла!..
И к моему плечу

Уже склоняется другая —
В ее руке коса,
А верность смотрит не мигая
В пустые небеса

И плачет, и все шепчет, шепчет:
«Прощай, прости, мой друг!..»
И все бесстыднее, все крепче
Иных объятья рук.

Владимир Смоленский

1949 г.

**
*

В конце февраля или в марте
Сильнее захочется встать
С постели, не думать о смерти,
Поправиться, летчиком стать...

Гулять... Но нельзя по болезни.
И дальше в больнице лежишь,
И просишь здоровья и жизни
И слышишь (под утро, сквозь тишь) —

Как будто бы голос далекий
(Не знаю, не спрашивай, чей)
Такой отзывается мукой —
Страшнее больничных ночей...

И скорбью, и болью о мире
(Ты смотришь, платок теребя)
Иное, нездешнее горе,
Как счастьем, пронзает тебя...

О чем ты? — Лицо исказилось,
И жилка трепещет в губе.
Я знаю, тебе показалось,
Что кто-то ответил тебе.

**
*

Влюбленные целуются опять
На влажной от дождя скамейке.

В косом луче рыжеющая прядь
Свивается горящей змейкой.

В изгибах уха — розовый огонь
Слегка похож на завязь розы.
С тяжелых роз свисают — только тронь —
Прозрачно-выпуклые слезы.

С каштанов листья падают опять
— Полуовалы, полуромбы.
И страшно вдруг: а если (через пять,
Шесть, восемь лет) вдруг снова — бомбы...

**
*

Снова тот же ветер веет.
Да, опять начало мая.
Разве? Но душа черствеет,
Что-то смутно понимая.

Снова та же птица реет.
Что там, в небе? Жизнь иная?
Разве? — И душа стареет,
Что-то смутно вспоминая.

Снова та же спичка тлеет,
Даже та же чашка чая.
Разве? (И окно светлеет) —
И душа глядит, скучая.

Игорь Чиннов

ХРИСТИАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Более или менее все согласны, или были недавно согласны, что трагедия высшая форма искусства. Что такое трагедия? Все определения обманчивы, но, когда мы сознаем свое бессилие, то обращаемся к Аристотелю, и старик редко бросает нас без помощи. Его определение трагедии всем известно: трагедия есть драматическое действие, в котором зритель переживает чувство ужаса и сострадания и достигает очищения этих страстей. Лучше не скажешь, можно только пояснять. Ужас и сострадание вызываются не зрелищем стихийной катастрофы, но гибелью героя, внутренне необходимой. Иначе не может быть и речи об очищении. Герой может не быть добродетельным, может быть злым (хотя не до последнего растления совести), но он должен быть сильным, чтобы чувство ужаса было свободно от презрения. Трус не может быть героем трагедии. Гибель героя обусловлена неизбежным конфликтом, борьбой со злом в его ли собственной природе или в окружающем мире. И в этой борьбе его силы достигают предельного напряжения и величия. Все это условия очищения.

Эпос, в старинном значении слова, часто притязал на первую роль в классической эстетике. Гомер был долго соперником Эсхила, хотя сейчас кажется окончательно побежденным. Но замечательно, что содержание великих национальных эпопей почти всегда трагично. Они чаще повествуют о гибели любимого героя, чем о его победах. Таковы Ахилл, Зигфрид, Роланд. Иногда герой и спасается после долгих и тяжелых подвигов и страданий: Одиссей, Эней, князь Игорь. И всё же чувствуется, что счастливый конец несколько умаляет значительность эпопеи.

Откуда эта эстетическая необходимость рокового конца? Думаю, не от жестокости слушателя (позднее читателя), отразившейся и во вкусах римской публики, жадной до гладиаторских зрелищ, и в современной американской литературе с ее murder mysteries. Но перед лицом смерти раскрывается истинное лицо человека. Один обращается в дрожащую тварь,

другой вырастает в героя. Смерть великая учительница не только мудрости, но и мужества, не только философии (по Зиммелю), но и доблести. Прав Пушкин: «верит мир лишь доблести, запечатленной кровью».

Никогда не превзойденная трагедия была создана языческой Грецией. Достаточно выяснены ее религиозные корни. Это не есть трагедия чистой человечности. Всеми своими истоками, темами и лирическим фоном она погружена в мир религиозной мистерии. Под светлым, но слишком человечным (или бесчеловечным) небом Олимпа Греция молилась другим, таинственным и страдающим богам. Умирающие и воскресающие боги обещали посвященным спасение от страданий мира и вечную жизнь. Фракийский Дионис, растерзанный титанами, сделался богом афинского театра, к праздникам которого приурочивались трагические (и комические!) зрелища. До наших дней не сохранились первоначальные формы дионисовской драмы, где являлся сам бог со своей свитой сатиров и вакхантов. Дошедший до нас греческий театр выводит на сцену героев-людей, в своей жестокой судьбе повторяющих пассии Диониса. Это его маски или личины. Такова, по крайней мере, господствующая теория происхождения греческой трагедии, не опровергнутая пока ни новыми открытиями, ни новыми домыслами.

Но поскольку человек, а не бог становится героем трагедии, ее содержание существенно меняется. Герои гибнут без воскресения, и чем сильнее их дух, тем беспощаднее они уничтожаются роком. Боги могут преследовать или защищать их, но бессильны спасать от власти рока, который царит и над самими богами. Здесь, в трагедии, находит свое выражение глубокий пессимизм греческого мироощущения, только прикрытый одеждой аполлинической культуры. Здесь получает свой исход «древний ужас» и очищается в созерцании величия обреченного героя. Действительно, силам рока, богам и демонам противостоит только достоинство человека. Его одного достаточно, чтобы возвыситься над созерцанием безысходности нашей судьбы. Древняя трагедия есть трагедия рока. Единственным исключением представляется Антигона, где силы рока представлены злой социальностью, властью земного тирана. Вся божественная правда воплощена в Антигоне; силы, губящие ее, лишены религиозного авторитета. Вот почему для нас это самая легкая из античных трагедий. В ней мы дышим почти христианским воздухом.

Умирающий и воскресающий Бог составляет основной догмат христианства, его первичное откровение или опыт. По отношению к нему всё остальное догматическое богословие является раскрытием или надстройкой. «Мы исповедуем Христа распятого», говорит ап. Павел. Нужно прибавить «и воскресшего», ибо он же сказал: «Если Христос не воскрес, суетна вера ваша». Забывая о воскресении, говорили, что тень от Голгофского креста протянулась через всю историю. Мы все живем под тенью или под сенью креста. Для людей нашей культуры оказалось легче отречься от Бога, чем от креста. По крайней мере, крестной трагедией отмечена и наша, в общем безбожная, эпоха. Стало трудно поверить в воскресение, но Голгофа есть опыт большинства современных людей, сохранивших в себе образ человеческий. Трагедия, заключенная в самом сердце новой религии, сообщает всей «новой» эпохе и ее искусству ту остроту и глубину, перед которой гармоническое искусство античности кажется чуть-чуть пресными даже для немногих еще верных его поклонников.

Слишком часто мы слышим, что религия распятия и креста составляет сердце католичества, тогда как православный Восток живет верой в воскресение (или преображение, как стали говорить у нас со времен символизма). Здесь справедливое наблюдение выражено с крайним преувеличением. В действительности, разница скорее в оттенках. В христианстве нет распятия без воскресения и нет воскресения без распятия. Разрыв между ними означал бы духовную катастрофу. Конечно, на распятиях Византии и древней Руси мы не видим той смертной муки, которая поражает нас на крестах западного средневековья. Конечно, восточные подвижники не знали самобичеваний и избегали кровавых форм аскезы, предпочитая «постничество» и «сухое» умерщвление плоти. Верно и то, что Западная церковь не обставила праздника Пасхи той ликующей торжественностью, какой сумела окружить его церковь Восточная. Но ведь «светлой» неделе предшествует «страстная», и некоторые ее службы в своей пронзительной трагичности не уступают дионисическим восторгам Дамаскина. Многие люди с религиозным вкусом даже предпочитают их.

Возможно, те из нас, кто бывает в церкви раз в году, на пасхальной заутрене, легко могут поверить тому, что православие — религия воскресения. Но те, кто переживает весь

церковный круг, или те, кто знакомится с православием по его аскетико-мистической традиции, те знают, какой страшной ценой куплены пасхальные ликования.

Впрочем, в нашей послепетровской церкви нечувствительно сгладились многие отличия западного и восточного христианства. Католические и православные распятия теперь мало отличаются друг от друга. Человеческие страдания Иисуса острее переживаются сейчас религиозными людьми, чем переживались нашими предками. Святитель Тихон в 18-м веке проводил часы медитации перед изображениями отдельных моментов страстей Христовых (не иконами) явно западного происхождения.

Думаю, мало у кого вызывает возражение мысль, что крест есть основа и сердце христианства. И в самых разнообразных формах этого символа, греческом — равноконечном, русском — осьмиконечном, еще различимо первоначальное Т, орудие позорной казни, виселица, на которой повешен был Спаситель мира. Правда, уже много веков, как христианский мир, слишком привыкший к символу виселицы и к страшной реальности Голгофы, научился эксплоатировать святую кровь для своего земного комфорта. Люди устраиваются на Голгофе, как они устраиваются на Везувии. Под сенью креста создаются империи, накопляются богатства, освящается рабство, благословляется ветхозаветная семья и вся почти языческая цивилизация. Многие христиане стали думать, что Христос поднялся на крест, чтобы избавить нас от наших крестов. Нет ничего более противного и духу и слову Евангелия. «Радость», которую обещал Христос своим ученикам, есть «радость — страданье», достижимое лишь для тех, кто идет Его путем. Об этом могут забывать массы (особенно привилегированные и счастливые), но никогда не забывали духовночуткие. Сектанты протестовали против обмирщения Церкви; святые старались осуществить идеал христоподобной жизни в своей собственной; христианские пророки звали к Царствию Божию путем крестным. Истинный художник носит в себе пророческое вдохновение. Что же открыли нам христианские поэты о тайне трагедии креста?

**
*

Нужно сознаться: немного. Где они, христианские трагики, достойные Софокла и Эсхила? Их нет, по крайней мере, в области театра, то-есть трагедии в собственном смысле слова.

Трагедия нового времени, Шекспира, французского классицизма или немецкого романтизма, не является в основе христианской. Поскольку она не питается воспоминаниями античности, это трагедия человека эпохи гуманизма, оставленного Богом или оставившего Его; трагедия характеров, страстей, конфликтов и неизбежной гибели личности в этом смертном мире, трагедия не христианская прежде всего потому, что не религиозная. И не религиозная не в том смысле, что в ней действуют не божественные силы и не сознательные религиозные мотивы, а в том, что причины ее почти без остатка сводятся к моральным и имморальным мотивам, не оставляя места для религиозного вопрошания. В этом смысле новая трагедия менее религиозна, чем греческая, менее религиозна, ибо более моралистична.

Христианское средневековье было великой эпохой. С ним связаны почти все культурные ценности, которыми мы живем. Оно создало и великое искусство, преимущественно пластическое. Пыталось создать и религиозный театр, выраставший из литургии, как и в языческой Греции. Литургический театр знала не только католическая церковь, но и православная. Самая известная из византийских драм приписывалась Григорию Богослову и носила заглавие «Страсти Христовы». Следовательно, по заданиям это должна была быть, как и на Западе, христианская трагедия. Но нигде она не подымалась над посредственностью, не достигала хотя бы такой высоты, на которой стояла средневековая лирика или роман. В X столетии Хросвита, аббатисса Гандерсгеймская из династии Оттонов, лучшая писательница своего времени, писала латинские трагедии из жизни мучеников, подражая Плавту и Теренцию. Это были лишь школьные упражнения.

**
*

Многие говорят: да, христианской трагедии нет и быть не может, и это вытекает из самой возвышенности христианской религии, которая не оставляет места ни року, ни неоправданным страданиям. Вера в Провидение несовместима с трагическим ощущением жизни. Но ведь в сердце христианства поставлен крест! И на этом кресте Богочеловек воззвал: «Боже мой, зачем Ты меня оставил?» Это ли не трагедия и не источник всех христианских трагедий? Ведь, «чашу, которую Я пью, будете пить и вы». И, действительно, христианская трагедия существует, но она создалась в самые последние

времена, на исходе второго тысячелетия христианской истории. Это один из величайших парадоксов нашей культуры. Один из тех, понимание которого дает ключ к нашей общей судьбе.

Почему христианская трагедия, или, что одно и то же, трагичность христианства были осознаны так поздно?

Тому были серьезные причины, догматического порядка, из которых я укажу две.

Одна из них, действительно, заключалась в долго господствовавшем — не знаю, сказать ли оптимистическом или бесчеловечном — учении о Провиденции. Оно древнее христианства; в сущности, это стоическое представление, лучше всего выраженное в словах Цицерона: Providentia Dei mundus administratur. Мир управляется Богом, как всемогущим монархом вселенной, и в целом и во всех своих частях Всё направляется ко благу, несмотря на видимость беспорядка и зла. Зло кажется нам таким потому, что мы видим лишь часть картины вместо целого. Видим только освещенное солнцем (вернее, погруженное во тьму) полушарие вселенной. Здесь все нити без начала и без конца. Они получают свою развязку и свой смысл в том мире, который начинается после смерти. Там караются грехи и награждается добродетель. Если правда торжествует всегда, хотя, быть может, не на этом свете, где тут место трагедии? «Праведный радуется справедливости», говорил бл. Августин, а за ним повторял Фома Аквинский. Правда, в этой предустановленной гармонии есть одно уязвимое место — гибель грешников, и притом вечная гибель. Августинизм должен был забыть о том, что «Бог не хочет смерти грешника» и что двойная вечность — ад и рай — не может быть угодна Ему. Бог не может «радоваться» такой справедливости, если даже праведный фарисей ей радуется. Но в богословских системах, где любовь Божия отступила на задний план перед правосудием и всемогуществом, легко забывают о жертвах мировой гармонии. Какова теология, таково и благочестие. Построенное на страхе Божием и морали добрых дел, оно делает человеческое сердце неуязвимым для трагического жизнеощущения. Если сострадание случайно проникнет в это святилище спасительного страха, оно, лишенное надежды, увядает прежде, чем начать разъедание монолитного ужаса. "Dies irae", конечно, вселяет страх и ужас, но без сострадания невозможно «очищение этих страстей». Эти наблюдения относятся к раннему средневековью (как и к Византии). Но даже и Данте, лишь слегка затронутый фран-

цисканской духовностью, в основе чужд трагического мироощущения. Он, способный презрительно оттолкнуть ногой осужденного, цепляющегося за него из своей огненной реки, не чувствует сострадания к низким обитателям своего ада. Лишь при встрече с Паоло и Франческой, и в немногих других местах, где светский кодекс морали слишком резко сталкивается с церковным, сострадание проникает сквозь кольчугу теологического разума и систематика возмездия окрашивается трагически.

Не следует думать, что эта теология умерла со средними веками. Она еще живет в школьных системах, в наших катехизисах. Не даром митр. Антоний требовал в катехизисе Филарета исключения «вседовольный и всеблаженный» из числа предикатов существа Божия. Но там, где Бог «вседовольный», в мире, им созданном, нет места трагедии.

Другая догматическая причина бестрагичности средневекового христианства — порядка христологического. Несмотря на торжественно утвержденный Халкедоном (451) догмат совершенной человечности Христа, для людей средних веков Его человечность было так же трудно принять, как для людей Просвещения Его божественность. Привкус монофизитства остался во всей литургической поэзии и искусстве Византии. У нас на Руси один из самых известных книжников византийской школы, Иларион, митр. Киевский, в своем Исповедании веры писал: «Вижу Его распятого и радуюсь». Он радуется, конечно, потому, что Его смерть источник нашего спасения. Но эта радость, кажущаяся нам неуместной и жестокой, предполагает несерьезное, «докетическое» отношение к страданиям Христа. Может ли Бог страдать взаправду? Другой русский «византинист» киевской эпохи, еп. Кирилл Туровский, в изображении распятия старается собрать все евангельские и даже апокрифические черты, усиливающие божественное величие Христа. Что же он делает с воплем богооставленности? Он его просто не упоминает.

Запад, в лице папы Льва, проведший халкедонский догмат и успешно боровшийся за него против монофизитских тенденций Востока, уступает им в раннем средневековье. Духовная печать Византии легла и на него. В VI веке один галльский епископ смущается нагим изображением Распятого и велит прикрыть его пеленой. До XI века и Запад не мог себе представить страдающего Христа. До нас дошли древние распятия (Германия ок. 1000), где Христос изображен на кресте в длинном одеяни и в царской короне, без всяких намеков на стра-

дание. Это живой символ целого тысячелетия бестрагической, но цельной религиозности.

Та же эпоха оставила тысячи житий мучеников, перерабатывая на свой вкус древние «акты» и предания. Здесь пытки и казни, одна страшнее другой, нагромождаются, чтобы потрясти наивное воображение. Вот, казалось бы, где место «ужасу и состраданию», источнику христианской трагедии. Но нет, Хросвите не написать трагедии. Эти физические муки не могут дать содержания для трагедии потому, что за ними нет духовной борьбы. Ложное благоговение (тот же привкус монофизитства) лишает и мученика человеческой слабости. Страдает не он, а Христос в нем. Поэтому ни одной минуты читатель не сомневается в его победе, да герой никогда и ни в чем не показывает даже отдаленной возможности падения. Так, ни распятый Бог, ни страдающий с ним человек не могли стать источником новой трагедии, даже если бы у поэтов нашлись для нее культурные средства и формы, как нашлись они в ту эпоху у строителей романских соборов.

***

Из этих двух догматических камней, завалivших путь христианской трагедии, раньше всего на Западе был отвален последний: полумонофизитская христология. Когда это произошло, и кто был инициатором этого всемирно-исторического сдвига, трудно сказать с точностью. Где-то в конце XI — начале XII в., одновременно с созданием новой лирики и философии, т. е. с началом оригинальной западной цивилизации — совпадение знаменательное. У мало известного немецкого писателя Руперта Дейцского, даже еще раньше, у кардинала Петра Дамиани, мы находим новую черту религиозного внимания к земной, человеческой жизни Христа. С огромной силой любовь к человеку-Иисусу трепещет у мистика Бернарда Клервосского, т. е. задолго до Франциска Ассизского, который был скорее завершителем, а не зачинателем движения. Оно совпало с крестовыми походами, и не случайно: паломничества в святую землю оживили память о божественном Человеке. На предполагаемом месте Голгофы переживались Его страдания, Его воскресение. С этого времени новая струя в западном христианстве, "Jesus mystics", никогда не прерывается совершенно. Франциск получает стигматы, сопереживая крестные раны Спасителя. И в позднем средневековье мы видим распятия с обезображенным, окровавленным лицом

Христа, особенно поражающие в южной Германии и в Испании. Искусство Ренессанса опять завуалировало трагедию Голгофы, но в сердце живой религии, и католической и протестантской, она осталась навсегда. Наконец, она проникла в Россию, задолго до св. Тихона Задонского. Ее принесли в Москву киевляне в XVII столетии, вместе с новыми иконами и новыми, западными темами проповедничества.

Тем не менее, на исходе средних веков рождения христианской трагедии не произошло. Новая христоцентрическая религиозность не успела разбить теологический железный корсет, ее сковавший. И родившийся в ней гуманизм проложил новое русло: только человеческого, полуязыческого, реакционно-античного Ренессанса.

Теология цицероновского или аристотелевского Провидения не была христианизована до конца. Реформация поставила новые экзистенциальные проблемы спасения: о свободной воле человека, благодати Божией и предопределении. Над ними билась века и протестантская и католическая мысль. Эта мысль исходила в схоластических формулировках, а ужас и боль религиозной личности не нашли себе адэкватного выражения. Эпоха Барокко обладала страшно острым ощущением и личности и смерти. Казалось бы, есть откуда родиться новой трагедии. Но родилась чисто гуманистическая, безрелигиозная трагедия. Кальдерон не в счет: его своеобразная религия имеет мало общего с христианством. Глубокие трагедии борьбы с Богом, отчаяния и любви, переживались в уединенных кельях. Какие трагические фигуры — Иоанн Крестный и Паскаль, да и весь янсенизм вообще! Но их духовные борения не отразились в искусстве, по крайней мере, в искусстве слова: слово сковано бестрагической теологией. Сейчас их темы, их жизни становятся образом наших собственных мук и отчасти получают выражение в искусстве. Их эпоха должна была довольствоваться Рибейрой и Зурбараном.

Мистические самоистязания Барокко сменились, законно, реакцией Просвещения. Европа отдыхала на перине гедонистического рассудка. Можно было не верить в адские муки или забывать о них. Ничто не мешало успокоиться на идее мировой гармонии, которая теперь приняла форму бесконечного прогресса. Менее благоприятного для трагедии века, чем XVIII, трудно себе представить.

Нужно было, чтобы человечество окунулось в море крови революций и наполеоновских войн, а потом в волны роман-

тических туманов, чтобы стала возможной трагическая религиозность и трагическое искусство. Впрочем, шумный и грубоубедительный прогресс XIX века увлек большинство — и элиты и массы — по своей большой оптимистической дороге, которая вела к нашей пропасти. Немногие видели эту пропасть в истории или ощущали ее в своем сердце. Эти немногие провидцы спасли для нас христианскую духовность в пустыне «прогресса», и при том духовность трагическую. Почти одновременно, в середине XIX века, протестантизм, католичество и православие (в такой последовательности) дало трех гениев, которыми ныне живет христианское человечество: Киркегарда, Бодлера и Достоевского. Они не могли быть поняты в свое время. Киркегард был отодвинут в тень, как чудак и сумасброд (каким он несомненно и был); Бодлер, автор «Цветов зла», сделался надолго символом сатанизма для благочестивых католиков; Достоевский был признан у нас как большой писатель, психолог, «жестокий талант», но лишь XX век открыл в нем мыслителя и богослова. Вещь небывалая: православный епископ Антоний (Храповицкий) составляет словарь к произведениям Достоевского. В это время Бодлер был уже признан, вместе с другими «проклятыми поэтами», как один из основоположников католического возрождения во французской интеллигенции.

Замечательно, что почти на всех католических писателях последних поколений лежит печать трагического: Леон Блуа, Мориак, Бернанос, Жуандо, Жюльен Грин. Они, несомненно, имеют опыт ада при жизни, но пишут как бы от имени погибающих, а не спасенных. Достоевский тоже не отделяет себя от грешников, идет их путем, но идет за Христом, образы которого он ищет в живых людях. По сравнению с ним, католическая трагедия (в форме романа) кажется более мрачной, почти безнадежной. Но это «почти» необходимо помнить. Луч света, то-есть надежды — должен прорезать мрак для того, чтобы трагедия оставалась христианской.

Менее других трагичны авторы настоящих, т. е. драматических христианских трагедий: Клодель и Т. С. Элиот (англо-католик). Но их иерархическое миросозерцание приближает к Фоме Аквинскому и Данте. Они строители Церкви, прежде всего, и способны «радоваться справедливости». Но сам по себе факт возрождения христианской драмы в наши дни весьма знаменателен. Он подготовляет возможность появления великого трагического поэта: христианского Эсхила.

Что же изменилось в религиозном сознании, чтобы христианская трагедия стала возможной?

Если остаться в границах мира Достоевского, то этот мир представляется не «управляемым хозяйством» Бога, а полем битвы, где Бог одна из борющихся сторон. «Поле битвы — сердца людей». Человек обладает неограниченной, страшной свободой к добру и злу. Ставрогин поворачивается к нам то серафическим, то демоническим своим обликом. Карамазовское насекомое живет и в Алеше. Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов — вылиты из одного и того же металла — потомки байронистов, предтечи ницшеанцев. Но какая различная метафизическая судьба: один спасен, другой погиб, третий, мы чувствуем, может спастись. Это тайна человеческой свободы. И Достоевский показывает нам Христа-сострадающего и страдающего, который хочет победить человека не «чудом, тайной и авторитетом», то-есть не всемогуществом Своим, а притяжением духовной красоты. Свобода поставлена наравне с божественной любовью, и это означает и ныне, как в начале мироздания, трагическую непредопределенность конца. Вместо «вседовольного» небесного Царя и Судии перед нами распятая Красота. Вспоминается слово Паскаля, которое повторяется теперь многими выразителями современного трагического католицизма: «Христос в агонии до скончания века». Произошла огромная революция в христианском сознании, по значению равная и по смыслу тождественная той, что имела место на пороге XII века: новое восприятие и углубление Голгофы и возвращение Кресту центрального значения в христианстве. Может быть, школьное богословие еще медлит на старых схоластических путях. Но в новом русском богословии мы уже видим, как вчера бесстрастное Божество вовлекается в трагедию падшей твари. Отец сострадает Сыну, и Сын является «Агнцем, закланным от сложения мира».

Трагическая теология еще в зародыше, но трагическое искусство уже господствует в христианском секторе культуры. Его религиозная основа выступает не с одинаковой рельефностью. Иногда это трагедия человеческой судьбы, без всякой религиозной мотивации, но лишь ощущаемая чутким читателем на религиозном фоне. Таковы романы Мориака и Грина, которые могут быть допущены, по близорукости, и в советские библиотеки, как иллюстрация разложения буржуазного общества. Но Бернанос изображает духовный путь по-

движников и мистиков нашего времени. Его тема — борьба души с Богом и за Бога. «Sous le soleil du Satan» рисует поразительный мир католического святого, который до самого конца, вместе с читателем, остается в неизвестности: не был ли он всю жизнь жертвой демонической иллюзии? Только смерть разрешает это страшное сомнение. Наконец, возможно возрождение средневековой мистерии, и есть уже попытки воскресить страсти Христовы, где Christus passus сам является героем трагедии.

Мы уже видели темы этой трагедии, несравненным гением которой остается Достоевский. Царящее в мире зло, как грех — личный и социальный. Глубокое несчастье человека-грешника и сострадание наше к нему. Борьба света с тьмой, исключающая безнадежность. Герой, еще не очищенный от страстей, пусть, падая, ведет неустанную борьбу с собой и злом мира. Его борьба освещается и вдохновляется свыше. За ним стоят или чувствуются небесные силы, против него — демонические. Но Бог уважает его свободу. Спасение или гибель зависят от его воли. Он может совсем перестать слышать небесный голос и изнемочь в своем одиночестве. Но исход не предопределен до конца. Если спасение, — «радость-страданье». Если гибель, — ангелы плачут. «Христос в агонии до скончания века».

Здесь уместно поставить вопрос, важный для нас, русских: почему трагедия Достоевского не нашла себе последователей у нас? Достоевский оказал огромное влияние на всё наше православное возрождение и на поколение символизма вообще. Им в значительной мере питалось новое богословское сознание. И вот, те православные художники слова, которые ныне составляют особый, ясно очерченный сектор русской литературы, чужды трагедии. В своей религии они нашли покой от суеты и безумия мира: в церковном ли благолепии быта (Шмелев), в чистой ли элегической красоте тварного и уже закатного мира (Зайцев). Зло и мрак оставлены в удел безбожникам или людям без догмата. Те живут этим мраком, но, без материи нравственной борьбы, не могут претворить мрак в материал для подлинной трагедии.

Почему это произошло? Почему мы утратили наследие Достоевского, доставшееся французам?

Мне кажется, причиной тому имморализм, что́ вошел в русскую жизнь и душу с великого кризиса 90-х годов. И декадентство-символизм, и марксизм, и «новое религиозное сознание» были одинаково враждебны этике. Замолкли, поте-

ряли свой смысл вопросы, волновавшие полвека русских мальчиков, которые нашли свой голос в Достоевском: что́ добро и что́ зло? можно ли убить, можно ли солгать, принести человека в жертву идее? Этика в России была утоплена в эстетике, и воспитанный на Киркегарде Ибсен быстро сошел с русской сцены. Но без остроты этической проблематики не может быть трагедии. Религиозная мысль ищет успокоения в красоте (София) и даже там, где не находит выхода в оптимизме всеобщего спасения (Булгаков), удовлетворяется эстетически, как бл. Августин, двойною вечностью. Это страшный ущерб русской души, который сказался, конечно, не на одной трагедии. И религия, и политика сейчас страдают от него, и, вдумываясь в смысл нашей не литературной, а политической трагедии, мы приходим к тому же роковому перелому: 90-ые годы. Но сейчас нас интересует только искусство.

**
*

«Если Христос не воскрес, суетна вера ваша». В конце концов, христианство ведь благая весть — о спасении, а не о гибели. Там, где утверждается крест без воскресения, мрак без надежды, там уже нет христианства. Есть трагедия, родившаяся на почве христианства, но не христианская трагедия. Так на почве христианской этической проблематики вырос русский атеизм, абсолютный и в конечном выражении своем сатанинский. Вероятно, ни одна культура, вне христианства, не могла создать такого трагического искусства, какое создает сейчас Запад в своей агонии, но является ли оно христианским? И где границы христианской трагедии? Вопросы мучительные, может быть, неразрешимые. Я хотел бы подойти к ним от одного исторического и в то же время личного воспоминания.

Лет двадцать тому назад, проезжая через Кольмар (в Эльзасе), я остановился, чтобы увидеть знаменитое распятие Матиаса Грюневальда (ок. 1515 г.). Впечатление осталось на всю жизнь, сильное, но смутное. Дальше нельзя итти в очеловечении Христа. Напрасно искать в этом лике отблеска божественности. Художник не только не пощадил ни одной черты от обезображивающих мук смерти, но постарался сделать это лицо и это тело отвратительными, покрыв все его, без всякого основания, кровоточащими точками. Говорят (может быть, это только легенда), что он взял своей моделью труп человека, умершего в госпитале от какой-то накожной болезни. Зачем? Это распятие стояло в церкви. Перед ним молились. Это труд-

но понять человеку восточного воспитания. Но трудно переварить и гуманисту. Мне было трудно поверить, что такой труп может воскреснуть (хотя воскресение изображено тут же, на другой доске). Но, может быть, я был неправ, и в этом моем смущении говорила немощь веры. Вера отца Сергия Булгакова была покрепче моей; он принимал Грюневальда.

Христос Грюневальда, Христос-утопленник Гольбейна в Базеле, ад Иеронима Босха — всё это пограничные вехи христианской трагедии. Кисть живописца отважилась на то, на что не решился ни один поэт. Но остается доныне — и, может быть ,до Страшного Суда — под вопросом: христианское ли это искусство?

Этот же вопрос стоит по отношению к современному искусству — искусству вообще. Здесь живопись, музыка и слово идут одним путем. Еще доживают старые формы, и, как всегда, огромное большинство производимых вещей принадлежит прошлому. Это дает возможность людям отдыхать или наслаждаться искусством и закрывает от глаз страшную пропасть. Еще никто не загоняет принудительно в Museum of Modern Art и не заставляет слушать концерты передовых композиторов. Но ведь настоящий, а не вчерашний день определяет будущее. Сюжеты рыцарских романов находили кое-каких читателей и в наше время. Может быть, «нищие духом» будут читать любовно-семейные романы XIX века — в XXV-ом. Но интеллигентные молодые люди их уже не читают. Они «устали» от Бетховена и их тошнит от Ренессанса. То в современном искусстве, что заслуживает этого имени, трагично. Но лишь малый сектор его принадлежит христианской трагедии, о которой мы говорили. Какова же ее секулизированная сестра?

Современный художник ненавидит красоту, ненавидит самую ее идею и большинство ее воплощений: особенно красоту человека и красоту мира. Отказаться совсем от красоты искусство не в состоянии. Что-то должно уравновесить дисгармонию: будь то краска или орнаментальная линия, равновесие плоскостей или соответствующие «формальные» ценности в музыке. Но эти элементы так слабы, что им не уравновесить всей нагрузки безобразия, которого алчет современный художник. Что отрицается начисто — это человеческое лицо, человеческое тело, эмоциальное содержание в музыке, первозданная красота мира. Всё это является предметом отвращения и надругательства. (Ecce homo!). Не одна эпоха Ренессанса отвергается, но и все христианские тысяче-

летия со всеми их истоками. Искусство Востока, Мексики и, еще лучше, негров, — чем примитивнее, чем острее, чем дальше от греческой гармонии, тем лучше, — заменяет прежние классические образцы. Не образцов жалко, а погибающего мира человеческой души (с духом и телом), разлагающегося на свои элементы.

Под эту характеристику подойдут французские сюрреалисты и экзистенциалисты, левые американские романисты (только не Стейнбек), — наконец, Кафка и его школа. Не знаешь, что страшнее: каменное бесчувствие к мукам человека (то подлинное, то напускное) или садистический интерес к ним. Многие современные книги и картины кажутся написанными чекистом. Чувствуешь: если бы современный палач обладал талантом и досугом, то он мог бы написать такую вещь. Во всяком случае, если человечество сейчас более, чем когда-либо разделилось на палачей и жертв, то передовое искусство скорее с палачами, чем с жертвами. Это искусство концентрационных лагерей, отражающее направление «передовой» политики: фашизма и коммунизма. Если же это искусство жертв (Кафка), то впавших в прострацию отчаяния. Ни там, ни здесь невозможно ждать очищения страстей. Впрочем, и сострадание покинуло нас, оставив один ужас.

**
*

Но возможно ли современнику произносить окончательный суд над своим искусством? Что мы знаем о скрытых интенциях художника, может быть, неизвестных ему самому? Возможно, что глубоко придавленное сострадание скрывается под садизмом, который играет роль стыдливого защитного покрова. В сентиментальное время бывало наоборот; случалось, садизм прикрывался чувствительностью. Перед распятием Грюневальда, перед иным католическим романистом нашего времени не знаешь, верит ли он в воскресение; т. е. не теоретически верит, а есть ли в душе его луч надежды и любви? Так и о специалистах ужаса никогда нельзя сказать с уверенностью, не живет ли еще дитя в этой измученной и мучающей душе и не осветится ли вдруг ее мрак. Судьба искусства не отделима от судьбы всей культуры, к которой оно принадлежит, и никто из нас не может и не смеет произнести окончательного приговора над собой, над всеми нами, над нашим веком.

От других связанных и взаимопроникающих сфер куль-

туры искусство отличается особой чуткостью. Чувствительный к незримым духовным токам, художник многое предчувствует. Его называли пророком; он скорее похож на ясновидящего. Блок еще в 1908 году сказал: «Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней!» Современный американец может проживать веселое наследство XIX века и схематически улыбаться для фотографов. Фокнер и Хемингуэй показывают, каково будет самочувствие американца во время и после атомной войны. Но каково будет тогда самочувствие самих Хемингуэев? Великие потрясения производят в сознании такие разряды, которых невозможно предвидеть, извлекают из-под глубоких пластов души хранившиеся на дне тысячелетние инстинкты. Но, главное, существует же такая вещь, как новое рождение, как творчество нового, небывалого и непредвиденного. Мы, за наш краткий век, видели столько небывалого и непредвиденного. К несчастью, новое почти всегда являлось как новая форма зла. Но почему не случиться обратному? Среди безоблачного дня вчерашнего прогресса могли вдруг затрепетать от ужаса редкие провидцы нынешнего дня. Так и среди обломков нашей культуры, на самом дне ада, солнечный луч или одно его предчувствие может осветить мрак. Тогда трагедия перестанет быть безвыходной. Распятый вместе с Богочеловеком разбойник сможет вдруг поверить в Его и свое воскресение. Его трагедия станет христианской.

Г. Федотов.

ПЯТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ИМПЕРИИ

Рождение Советской Империи совпало во времени со сужением или разложением других, старых империй — Германии, Японии, Италии, Британии, Франции и Нидерландов.

До конца 30-ых годов советское государство нельзя было назвать империей: его руководящие группы, погруженные во внутренние дела, не горели еще завоевательными инстинктами и не было еще у них авантюризма экспансии. Лишь зародыши будущих «кампаний» заложены были в теории и в идеологии старого коммунизма. Затем, начиная с 1939 года, а в особенности с 1944 г., Советский Союз стал быстро перестраиваться в новую империю Востока. Империя — это большой конгломерат различных национальностей, силой принужденных к сожительству в рамках одного большого государства; а имперские пути политики — это тенденция к дальнейшему расширению империи всеми средствами: дипломатией, давлением и военной силой.

Советская империя вышла на свет в тот момент, когда в мире начинали торжествовать антиимперские тенденции: это была самая характерная черта нового исторического периода. На предыдущих стадиях своего развития советское государство само содействовало разрушению империй; никогда ни одно правительство не вело такой настойчивой борьбы против империализма, как правительство советское. Поэтому теперь, когда имперские пути открылись перед правительством Сталина, он не мог просто, без изменений, вернуться на ту стезю, которая была покинута в 1917 г. Старые песни заглохли и старые мечты умерли.

Традиционный империализм — и русский и нерусский — был примитивно-откровенный .Его целью было расширение территории государства за счет других стран и народов; его мечтой было величие растущего вверх имперского здания; а его олицетворением была величественная фигура короля, царя или императора. Но эта идеология не могла быть восстановлена в пореволюционной России, которая сделала антиимпе-

риализм символом своей веры и которая приобретала сторонников во всем мире своей «борьбой против империалистической эксплоатации» и настойчиво требовала освобождения всех колоний и свободы для всех малых наций от внешнеполитического гнета. И всё же советская тенденция к экспансии на запад, юг и восток была во многом идентична с теми целями, которые одушевляли наиболее авантюристических деятелей русской политики до революции. Вновь заговорил иррациональный завоевательный инстинкт — этот стимул к территориальным захватам; и вновь открылись безграничные и величественные горизонты.

В трех вопросах новый советский экспансионизм отличается от теории и практики старого русского империализма. Во-первых, размахи теперь больше и цели шире. Пределом стал весь земной шар. Старая русская политика, наоборот, ставила себе ограниченные цели — захватить определенную территорию в Турции, часть Польши, одну из провинций Китая. В результате оказалось, что легче было удовлетворить имперские тенденции старой России и легче было заключить с ней мир, чем с ее наследником.

Во-вторых, традиционное строительство империи постоянно и открыто применяло военную силу для закрепления новых позиций. Британия-ли в Индии, Франция-ли в Индокитае, Пруссия ли в Силезии или Россия в Польше — все содержали свои армии, как гарантию верноподданности и залог против бунтов. Советская империя, наоборот, должна была в идее опираться на местные, так называемые «народные движения», а не на военную силу. То, что мы называем «пятой колонной», должно было в идее сделать ненужным применение советской вооруженной силы в новых областях советской империи. Это было источником гордости для коммунистического мира.

В-третьих, в отличие от методов старой России, советское правительство (в принципе, за немногими исключениями) не включало в состав своего государства народов, которые оказались в сфере его влияния. Наоборот, оно создавало видимость их независимости и суверенности и уверяло, что экономическая эксплоатация стран-спутников противоречила-бы его целям и программе.

2

Насколько всё было проще в старые времена! Когда кончились наполеоновские войны, территориальные приобрете-

ния всеми считались естественными и нормальными. Присоединив к России Финляндию, Бессарабию и Польшу, Александру I не приходилось ни извиняться, ни искать оправдания, ни говорить о «санитарном кордоне». В войне 1914-16 г.г. русское правительство не имело оснований скрывать свои аннексионистские цели от союзников; рядом договоров оно обеспечило себе их осуществление. Если б оно пережило войну, оно назначило бы русских губернаторов в новоприобретенные области.

В основном к тому же стремится и правительство Сталина. Но об этом прямо говорить невозможно — такова мировая ситуация и таковы советские традиции. Поэтому отличительные черты советского империализма делаются источником его слабости; они ведут к кризисам, которые в настоящее время только еще начинаются.

Первая страна-спутник, из которой, в согласии с принципами, советские войска были уведены после войны, была Югославия. Она должна была сделаться первой ареной нового имперского строительства. Вожди Югославии должны были показать примерное поведение коммунистической партии у власти: она добровольно признает над собой — так предполагалось — авторитет и власть Кремля; если в том или ином вопросе столкнутся интересы коммунистической Югославии и Советского Союза, первые будут подчинены последним; в хозяйственном отношении Югославия поможет восстановлению и украшению страны-матери и великой покровительницы. Она добровольно и охотно принесет жертвы на этот алтарь.

События приняли, как известно, иной оборот. Лишь только советские войска покинули Югославию, начал расти конфликт. В 1946 г. он сделался серьезным; в 1947 г. пропасть была уже так глубока, что пришлось создать Коминформ, как последнюю попытку задушить бунт воздействием коммунистического общественного мнения. В 1948 г. Югославия была исключена из Коминформа, и вскоре все советские экономические и военные миссии покинули страну неверного и неблагодарного спутника. В переводе на язык старого империализма это означало, что Советская Империя потеряла одну большую провинцию; ее границы, доходившие до Италии и Триеста, отброшены были далеко назад. Поход на Европу должен был быть приостановлен, по крайней мере, на юго-востоке.

Это поражение в Югославии было результатом применения коммунистических методов вместо традиционных — прямого вооруженного вмешательства. Старая Россия сохранила за собой Польшу, силой подавляя восстания 1831 и 1863 гг. Не

потому, конечно, Сталин отказался (покуда?) от подавления Югославии, что он страшился методов Муравьева. Ему мешали им же созданные навыки и принципы, которые теперь, как цепи, сковывали его движения. Сталин-коммунист вредил делу, которое делал Сталин-император.

3

События в Югославии послужили, однако, уроком на будущее. Надо было принять меры, чтоб измена и предательство не повторились в странах других спутников. Эти меры были не чем иным, как возвращением к методам старой дореволюционной вооруженной оккупации завоеванной страны. Больше рисковать было нельзя. Польша, где антикоммунистические тенденции были особенно сильны, должна была первая ощутить перерождение советского империализма.

В ноябре 1949 г. советский маршал Константин Рокоссовский был назначен управлять Польшей; врученная ему власть была не меньше, чем власть прежних варшавских генерал-губернаторов. Оставаясь советским гражданином и членом ВКП, Рокоссовский назначен был военным министром Польши, а также членом Государственного Совета — высшего государственного органа, имеющего право издавать законы. Одновременно он был кооптирован в состав Центрального Комитета польской коммунистической («Единой Рабочей») партии и немедленно (сперва неофициально) избран в ее Политбюро. В Политбюро он, конечно, занимает положение начальника среди десяти своих новых товарищей.

Вместе с тем все руководящие посты в польской армии постепенно переходили в руки советских генералов, которым присвоены были польские псевдонимы. Генерал Кожич назначен был начальником штаба и товарищем военного министра; его заместителями состоят советские генералы Сивицкий и Поплавский. Польскими воздушными силами командует советский генерал Ромейко. Польша разделена на четыре военных округа; из них тремя командуют советские генералы Радкевич, Пултужицкий и Страшевский. Всеми сухопутными силами управляет советский генерал Синицкий. Свыше шестисот высших чинов советской армии фактически командуют военными силами Польши. Одновременно с назначением Рокоссовского устранены были из Ц.К. и сняты с видных постов все деятели, подозреваемые в антисталинизме; и среди них первым был потенциальный польский Тито — Владислав Гомулко.

Часть советской армии — около 40.000 человек — расположена в Польше; польской же армией управляют советские генералы. Но и эта новая система имеет явные недостатки. Так как Кремль стремился даже в Польше сохранить видимость ее суверенности, возвышение Рокоссовского носило характер однократный и персональный. Для внешнего мира инициатива исходила от польского президента Берута, который «просил» Москву, «если можно», направить маршала Рокоссовского в Польшу; тогда советское правительство в виду «дружественных отношений» согласилось удовлетворить просьбу Берута. В Кремле не провозгласили права советского правительства перманентно управлять Польшей и назначать командиров для польской армии. Если Рокоссовский умрет, или предаст, или будет вычищен, окажется вновь, что нет легального пути для назначения ему заместителя в качестве наместника в Польше.

Между тем, в Москве и мысли нет о том, чтоб дать полякам права свободного самоуправления. Польша была и остается главной дорогой в Германию и через Германию на Запад; и каждое русское правительство, которое поставит себе целью оперировать в Западной Европе, должно раньше всего обеспечить за собой господство над Польшей. Воюя за это право, Ленин шел на Варшаву в 1920 г., а в 1922 г. готовил новую войну против Польши в союзе с германскими генералами. В 1939 г., когда Гитлер решил нарушить европейское равновесие, первой мыслью Сталина была Польша, и его первый поход был в Польшу. В 1944-45 г.г. первый серьезный конфликт его с западными союзниками разыгрался из-за назначения Сталиным собственного правительства в Польшу.

Точно так же и сейчас давление Сталина на Европу зависит от прочности его положения в Польше. Поэтому он скорее пойдет на войну, чем возвратит Польше независимость. Сталин-император имеет больше власти в Польше и над Польшей, чем любой из его предшественников на русском троне; но Сталин-коммунист должен отрицать всякие притязания на Польшу. Он мешает императору управлять империей.

4

Венгрия и Румыния — это два других спутника, в которых советское правительство держит свои войска. Если б советская армия ушла, остались бы, конечно, офицеры и советская полиция в штатском; осталось бы и множество разнообразных «советников» при органах обоих правительств. Но

достаточно ли было б этих сил в случае политического кризиса, коммунистического или народного бунта? Согласно Московскому договору 1943 г., советские войска должны будут покинуть эти две страны, когда закончится оккупация Австрии. В своей новой и систематической борьбе за право **военной** оккупации Венгрии и Румынии, советское правительство отвергло соблазнительные предложения американцев и прекратило переговоры о договоре с Австрией.

Только из двух, из наименее значительных стран-спутников, из Болгарии и северной Кореи, советские войска были уведены. Огромная территория, оккупированная в Европе, почти не сократилась с 1946 г. Эта неспособность консолидировать империю после ее расширения, это неумение создать устойчивые отношения — оказались органическим дефектом советского империализма.

Устойчивость международных отношений воспринимается в Москве, как симптом отрицательный, — это «стабилизация капитализма», это усиление антикоммунистических тенденций. Наоборот, всякого рода кризисы и катастрофы вне советской сферы ощущаются как благоприятная ситуация. Это ведь и составляет отличие советских традиций от традиций старого империализма: в то время как внутренний режим при Сталине никак не лучше того, какой установился при Николае I, глубокое различие имеется между неудержимым «динамизмом» Сталина и консервативным, мрачным спокойствием его предшественника сто лет назад.

5

Тот же порок сказался и во взаимоотношениях с Германией. Начиная с 1943 г., отделение восточной Германии и господство над нею было программой Сталина. Лишь сравнительно небольшая территория (часть Восточной Пруссии с Кенигсбергом) должна была быть присоединена к Сов. Союзу; вся остальная восточная Германия должна была, согласно этим планам, сделаться советским спутником. Теперь Сов. Союз подошел с востока к границам Германии, как Россия подошла к Польше во второй половине 18-го века; тогда, в ходе последовательных разделов, одна восточная территория за другой отрезывалась и переходила под власть России.

Ту же схему Сталин предполагал применить теперь в Германии. Соотношение сил в Европе было благоприятное: великих держав среди континентальных государств больше **не**

было; сверх того он мог получить всемерную поддержку во Франции, для которой вопрос о Германии оставался неразрешенным даже и после ее поражения. На некоторый срок — до нового национального подъема в Германии — план Сталина имел шансы на успех.

Пока продолжалась война, Сталин не очень обременял свою политику коммунистической фразеологией; он откровенно требовал от своих союзников «расчленения Германии». Расчленение Германии было единственным путем для советской трансформации восточной Германии по соглашению с союзниками.

Сейчас советская пресса и советское радио так настойчиво разоблачают западных «империалистов» за их сопротивление единству Германии и так подчеркивают заслуги Москвы перед немецким народом, что иные люди и впрямь начинают верить этой легенде. Факты говорят иное. В 1943 г. Молотов говорил президенту Бенешу: «Германия должна быть разделена, но в настоящее время мы не можем раскрыть свои намерения, чтоб не помочь таким путем Гитлеру». В том же году Литвинов говорил Гопкинсу, что советское правительство «желало бы видеть Германию расчлененной». На Тегеранской конференции, — доказывает Шервуд документами, — при обсуждении вопроса о послевоенных мерах против возрождения германского милитаризма, «Сталин находил, что все предложенные меры недостаточны; он, повидимому, не верил в возможность исправления немецкого народа». В Ялте расчленение Германии обсуждалось подробно; из документов, опубликованных Стеттиниусом, видно, что Рузвельт несколько колебался, а Черчиль и Иден были против подобной политики. Самые настойчивые требования раздавались со стороны Сталина; по его настоянию термин «расчленение Германии» был включен в формулу капитуляции: «Расчленение Германии является предпосылкой будущего мира и безопасности».

Прошло три месяца после Ялтинской конференции; война кончилась, и Сталин публично заговорил иным языком: «Советский Союз, — говорил он, — не имеет намерения расчленить Германию». Теперь программа объединения Германии должна была заменить собой более ограниченое «расчленение»; не одна лишь восточная, а вся Германия делалась объектом и целью советской политики. В этой новой концепции восточная Германия служила лишь мостом к Германии западной. А дальше, за Рейном, стояла большая армия французского коммунизма; еще дальше два миллиона итальянских комму-

нистов ждали прихода Красной армии. Горизонты открывались безграничные. Вновь коммунистические размахи сталкивались с имперским строительством. В этом конфликте был источник маневров и контрманевров, сменяющихся лозунгов, непонятных и раздражающим зигзагов, которые далеко не всегда воплощали в себе государственную мудрость.

Мундир русского императора теперь уж казался тесным для величественной фигуры Сталина.

6

Лет сорок назад французский социалист Марсель Самба написал книгу под заглавием: "Faites un Roi, sinon — faites la Paix": либо возведите на престол короля, либо установите мир. Франция, тогда еще первоклассная мировая держава, была запутана во многие международные конфликты в Северной Африке, в колониях, по германскому вопросу и др. Франция содержала большую армию и строила большой флот; она расходовала большие суммы на вооружение. Заглавием и своей книгой Самба хотел сказать, что политические формы свободной республики не соответствуют тем целям, которые ставит себе агрессивная французская политика. Если Франции надо продолжать свой воинственный курс, тогда сильная монархия более уместна, чем демократия. Если же французский народ отвергает короля и хочет пользоваться политической свободой, тогда надо стремиться к мирным отношениям со всеми другими народами.

В еще большей степени это относится к России в настоящее время. Для завоеваний, для экспансии в больших масштабах старый русский политический режим был более приспособлен, чем коммунизм. Политическая система старой империи была продуктом векового опыта успехов и поражений в мире и войне. Это был организм государства в процессе роста; государства, периодически ведущего большие и малые войны, постоянно готового к войне и, в случае успеха, умеющего подчинять себе и включать в свой состав другие народы. На протяжении веков это государство испытывало разные методы, — и суровость и мягкость к покоренным, и насильственную руссификацию и терпимость к чужому языку, и автономию и централизм, и просвещенный абсолютизм и грубую полицейщину.

Несмотря на специфические выгоды, которые советское государство извлекает из своих пятых колонн, из междуна-

родных «кампаний», из тысяч попутчиков, его методы неудовлетворительны, если целью его политики делаются новые «сферы» и «орбиты», если объектом его вновь делается Западная Европа, Ближний и Дальний Восток.

Подчеркивая превосходство старых методов строительства империи над методами Сталина, я не хочу этим сказать, что все проблемы были бы решены и мир был бы обеспечен, если б советское правительство вернулось на старые имперские пути. Какая бы партия ни правила Россией, какие бы методы экспансии она ни применяла, она в конечном счете потерпела бы неудачу.

В своем вековом продвижении на запад Россия дошла в 19-м веке до своих естественных границ, если такой термин допустим; и она вышла за эти границы. До того и без большого труда она поглотила и освоила ряд племен и малых народов, расположенных на путях ее продвижения, поскольку эти народы стояли на той же или на низшей ступени цивилизации. Труднее оказалась задача в Прибалтике; и совершенно безуспешной оказалась политика освоения в Польше. В настоящее время Россия продвинулась в гущу народов старой культуры, которым нечему учиться у московских учителей; чем дальше она продвигается в Центральную Европу, тем чаще она вызывает тревогу, страх, сопротивление. Она перешла за свои естественные границы, и в этом корень надвигающегося большого конфликта.

Сталинское правительство не разделяет этих опасений; оно воображает, что для него не писаны те исторические законы, которые действовали в эпоху Российской Империи. Но если оно безбоязненно шествует по дорогам экспансии, то оно вынуждено в то же время молчаливо, на практике, признавать превосходство методов старого имперского строительства.

7

С начала текущего века начали возникать разнообразные теории империализма, подводившие итоги мировому развитию за последнее столетие; среди них был и ленинский труд об империализме («Империализм как высшая стадия капитализма»), написанный в первые годы мировой войны. Через несколько лет эта книга начала приобретать мировую известность, войдя в железный фонд коммунистической идеологии. Ее обязаны знать каждый красный профессор и студент, каждый советский журналист и пропагандист. На этой книге по-

строена и вся реторика советских делегатов в Объединенных Нациях, и вся словесная война против «империалистических поджигателей войны». А фаланга советских экономистов и социологов не сумела, увы, прибавить ни одной идеи к ленинскому наследству.

Мир, в котором мы живем, не похож, однако, на ту картину, которую видел перед собой Ленин, когда писал свою работу. Окончательный «раздел мира», без остатка, между колониальными державами представлялся самым важным элементом мировой ситуации. «...Характеристичной чертой рассматриваемого периода является окончательный раздел земли, окончательный не в том смысле, чтобы невозможен был передел, — напротив, переделы возможны и неизбежны, — а в том смысле, что колониальная политика капиталистических стран **закончила** захват незанятых земель на нашей планете. Мир впервые оказался уже поделенным, так что дальше предстоят **лишь** переделы, т. е. переход от одного «владельца» к другому, а не от бесхозяйности к «хозяину». Именно поэтому нынешняя стадия есть «последняя стадия развития капитализма».

Раздел мира дошел до своего предела, думал Ленин; после шестидесяти лет лихорадочной экспансии делить больше нечего. Смогут ли капиталистические государства существовать и развиваться без расширения своих империй? Ленин был убежден, что это невозможно, что капитализм начнет «загнивать» без обширных новых владений. Ибо на предыдущих стадиях развития капитализма колониальные владения служили преимущественно целям торговли; на высшей же стадии развития они являются ареной приложения новых капиталов. Вложение капитала в слабой и отсталой стране означает эксплоатацию ее в пользу метрополии и ведет к потере ею политической независимости. Но так каз земной шар поделен, капиталистическое хозяйство начинает задыхаться, — и социальная революция делается и необходимой и неизбежной.

Это была простая, ясная, закругленная теория; она имела все данные, чтобы сделаться символом веры, и действительно, для ленинского интернационала она сделалась Библией. Ведь самые большие народные движения в истории стояли под знаком примитивных, ошибочных, но воспламеняющих идей.

События последнего десятилетия в мировой политике обнаружили тенденции обратные тому, чего ожидал Ленин. Мир наблюдал, как один за другим порабощенные прежде народы возвращали себе независимость, как сжимался и сокращался

колониальный мир. Англия потеряла Индию, Бирму, Палестину и Египет; Нидерланды потеряли Индонезию; Франция потеряла Сирию, Ливан; Япония лишилась Кореи, Формозы и Маньчжурии; Италия потеряла Абиссинию и, повидимому, потеряет Ливию; Соединенные Штаты отказались от Филиппин. Британские доминионы, прежде колонии, постепенно достигли такой степени самостоятельности, что их нельзя больше считать ни владениями Англии, ни эксплоатируемыми народами.

Общее число населения стран, обретших независимость, составляет 560.000.000, — одну четверть населения земного шара. Азия, недавно еще арена соревнования великих держав и колониальных войн, приобрела полную почти независимость от своих прежних хозяев. Из ее общего населения в 1.200 милл. лишь 55 милл. живут еще в колониях. Лишь Африка, самый отсталый из всех континентов, осталась сферой колониальных владений; ее население составляет, однако, лишь 5% всего населения мира.

Если б тот мир, который клянется именем Ленина, имел право свободно мыслить и критиковать, он признал бы, что за последние десятилетия один из принципов, на котором покоится коммунистическая теория империализма, опровергнут историей.

8

Но в то время, как западные империи сокращались и распадались, быстро росла новая империя, которая вполне отвечает всем признакам ленинского империализма.

С тех пор, как в 1944 году, советские войска перешли границу на Западе, новые, неожиданные задачи встали перед экономическими советскими органами, в особенности перед наркоматом внешней торговли. Советские страны нуждались во всем; но ничего не могли дать взамен. Короткое время продолжался американский ленд-лиз; но его не хватало. Была «военная добыча» в больших масштабах; но и этот паллиатив был скоро исчерпан. Из Германии везли демонтированные заводы, железнодорожный материал и некоторые предметы потребления. Скоро и германские запасы стали иссякать, а пересадка заводов на русскую почву давала ничтожные результаты. Представители Народного Комиссариата Внешней Торговли шарили по всем углам на Балканах, в Маньчжурии, в Северной Корее. Отправляя своих подчиненных в экспедицию, Микоян, в то время нарком внешней торговли, цинично говорил им:

«Вы — советские колонизаторы; экономика определяет политику — вы должны быть советскими коммерсантами, советскими «капиталистами». Мы вам поможем!».

Подобно большинству своих коллег в правительстве, Микоян научился торговле на практике, — дорогой метод воспитания министров, — но на своих и чужих ошибках он недурно научился. Он вырос в коммунистического купца № 1; с середины 30-ых годов он был и членом Политбюро. Никто из советских наркомов не сидел так прочно и так долго на одном месте, как Микоян, проведший 24 года на посту НКВТ. Когда в феврале 1949 г. он одновременно с Молотовым был снят с министерского поста, он остался в Политбюро и, повидимому, продолжает ведать всеми внешнеэкономическими делами.

Случилось так, что советские войска захватили в Румынии Карла Августа Клодиуса, видного экономического работника германского министерства иностранных дел, который заведывал Восточной Европой, в особенности Балканами. В лучшие времена 3-го Рейха, когда Гитлер надеялся сделать Берлин финансовой столицей Европы и собирать дань со всех ее народов, Клодиус показал себя недюжинным специалистом по части односторонней «торговли», которую Германия вела и которую теперь приходилось вести советскому НК а помощник Клодиуса, Шнурре, прославился теми «торговыми» переговорами, которые завершились советско-германским соглашением 1939 года. Это он организовал обширную торговлю с Советским Союзом в 1940-41 гг., обеспечил Германию советским зерном, нефтью и металлами и устроил так, что к моменту разрыва осталась неоплоченной большая часть советских поставок.

Клодиус был доставлен в Москву. Он не был заключен ни в тюрьму, ни в лагерь, а привлечен был Микояном в качестве советника и помощника. Его познания оказались неоценимым кладом. Никто лучше его не знал экономических ресурсов тех стран, которые Красная армия «освобождала» одну за другой. Клодиус применил свои таланты...

Министерство внешней торговли разрослось, разбухло и превратилось в экономическое ведомство имперского строительства. Торговля в ее общепринятом смысле, т. е. продажа и покупка товаров, стала занимать второе место по сравнению с новой функцией советских экономических ведомств, а именно, управления миллиардными промышленными и транспортными капиталами заграницей, составляющими ныне собственность советского государства.

Всё имущество, принадлежавшее германским гражданам в Восточной Европе, было автоматически унаследовано советским государством; тот же принцип был применен к японским владениям в Маньчжурии и Северной Корее. Чтоб управлять множеством промышленных, торговых и транспортных предприятий, советское правительство применило форму «смешанных обществ», — т. е. компании, в которой обычно 50% принадлежат советской стороне и 50% его иностранному контрагенту (иногда 51 и 49%). «Смешанное общество» было испытано в крупном масштабе на Дальнем Востоке между 1924 и 1935 г.г. при урегулировании вопроса о Китайско-Восточной железной дороге, и затем в советской пропаганде эта система служила образцом справедливого разрешения долголетнего спора. В этой Дальне-Восточной компании обе стороны — советская и китайская — имели равные права, с одним, однако, малым отклонением от равенства: директор железной дороги должен был быть советским гражданином. Этого отклонения оказалось достаточно, чтоб лишить китайцев всякого влияния.

Теперь, после войны, смешанное общество сделалось универсальной формой советской экономической деятельности заграницей. В Венгрии смешанные общества дали советскому правительству решающее слово и большие рессурсы в промышленности аллюминиевой, химической, электрической, нефтяной, железной и стальной; под фирмой смешанных обществ советское правительство управляет авиационными сообщениями Венгрии и ее железными дорогами. В Румынии семь так называемых «Совромов» (советско-румынские общества) заведуют воздушным, речным и гужевым транспортом, банками, лесной индустрией, нефтью. Среди них не мало есть прежних американских, английских и французских капиталов, конфискованных Германией в начале войны и ныне автоматически и безвозмездно доставшихся Москве. В Австрии больше половины нефтяной промышленности находится в советских руках, а согласно составленному (но еще не подписанному) договору с Австрией, за Сов. Союзом останется и право нефтяной разведки на очень значительной территории. В китайской провинции Синкьян два больших смешанных общества были основаны весной этого года. Хотя советская пресса и скрывает, в какой форме организована индустрия в Северной Корее и Маньчжурии, нет сомнения, что МВТ и там предпочитает «смешанные общества».

Но то, что советское правительство приобрело в Герма-

нии, было много крупнее и важнее, чем все экономические права и фирмы в других странах. Весной 1946 г. в Москве было решено присвоить, в качестве репараций, двести крупнейших промышленных единиц восточной Германии, среди них такие, например, предприятия, как оптические фабрики Цейса, фабрики Майсенского фарфора, заводы машиностроительные, синтетической нефти, бумажные фабрики, даже издательства. Эти предприятия были затем объединены по промышленным группам и каждая группа — своего рода индустриальный трест — была организована как смешанное общество, в котором советскому правительству принадлежал 51%, а немцам (т. е. правительственным органам восточной Германии) 49%. Через год Москва решила вернуть немцам 30 менее выгодных промышленных единиц.

Остальные 170 немецких заводов и фабрик сохраняются в советских руках и управляются МВТ. Последнее создало для этого новый департамент «Управление Советских Акционерных Обществ», которому подчинены все смешанные общества не только в Германии, но и в остальных странах Восточной Европы. Главное бюро его находится в Вайсензее под Берлином.

Таким образом, впервые в своей истории Россия сделалась владельцем очень крупных капиталов заграницей, после того, как в течение целого столетия, наоборот, иностранные капиталы искали и находили применение в России. Еще сравнительно недавно Ленин приглашал иностранных капиталистов в Россию и готов был примириться с «капиталистической эксплоатацией русских рабочих», лишь бы этим путем добиться роста производительных сил. Сталин, повидимому, был целиком согласен с этой политикой Ленина; по крайней мере, никогда не возражал. Но никто и не думал в те времена о собственных крупных советских капиталах заграницей и эксплоатации иностранных рабочих на пользу советского государства.

В 1917-18 г. правительство Ленина торжественно отказалось от всех экономических привилегий и капиталов заграницей; правда, этих капиталов и привилегий было мало: русские банки в Персии и Китае, боксерская контрибуция и некоторые другие. Ленин не пытался «национализировать» эти капиталы в пользу советского государства и извлекать из них прибыль в пользу советской страны.

В дополнение к этому главному активу советской экономической деятельности заграницей надо прибавить:

во-первых, около миллиарда долларов в репарациях по мирным договорам, исчисляемых по низким ценам 1938 г. (т. е. почти в удвоенных в настоящее время);

во-вторых, произвольную оценку доллара в непрочных валютах Восточной Европы, позволяющую комбинировать то низкие, то высокие цены;

в-третьих, закупку товаров в стране одного спутника по низкой цене и перепродажу другому спутнику по повышенной;

в-четвертых, торговые договоры, в которых цены соответствуют не столько уровню мирового рынка, сколько политической силе покупателя и продавца;

в-пятых, высокие проценты за займы, предоставленные странам-спутникам;

в-шестых — самая оригинальная выдумка — оплата за субсидии, предоставленные Москвой коммунистическим партиям в предыдущий период. Известно лишь, что с Болгарии требуют 10.000.000 долларов; но какие открываются перспективы...

Заграничные советские работники, численность которых неимоверно выросло в последние годы, составляют нечто вроде нового сословия. Разбухли посольства в несоветских странах, персонал их доходит порой до тысячи служащих. В оккупированных странах размещены тысячи военных и штатских советских работников. Сотни директоров, служащих и инженеров работают в «смешанных обществах». Сонмы «советников» не только советуют, но и приказывают на всем пространстве от Софии до Шанхая. Вероятно, не меньше 100.000 человек находится на этой иностранной службе. Они живут в привилегированных условиях; удобства предоставлены им такие, каких они не знали на родине. Жалованье их часто оплачивается страной-спутником; ставки среднего инженера превосходят жалованья местных генералов и министров. В дополнение к денежной ставке им предоставляются виллы, телефон, радио, освещение, отопление, автомобили и прислуга.

Нет сомнения, что особые интересы этого привилегированного слоя тянут в сторону длительной оккупации чужих стран, территориальной экспансии и «колониальных» методов управления.

9

Регистрируя эти важные процессы внутреннего перерождения советского империализма и советской политики вообще, мы все должны, однако, соблюдать пропорции и сохранять перспективу. Меняется ли **в принципе,** в существе своем советская политика и советское государство? Или изменения эти лишь частичные, поверхностные, не затрагивающие самого существа? И в чем это существо?

Почти тридцать лет прошло с тех пор, как группа русских интеллигентов-эмигрантов вышла со знаменем «Смены Вех». Советское правительство, говорили они, постепенно, незаметно преобразуется в русское правительство; отбрасывая интернациональную накипь, оно делается национальным; порывая с утопией, оно вводит НЭП, свободную торговлю; оно призывает иностранный капитал в Россию. Оно и дальше вынуждено будет идти теми-же путями возрождения нормальных для России политических форм и порывать с коммунизмом. «Не тактика, а эволюция!», восклицал Н. Устрялов. «Революция уже не та...» «Начинается «спуск на тормозах» от великой утопии к трезвому учету обновленной действительности и служению ей, — революционные вожди сами признаются в этом. Тяжелая операция — но дай ей Бог успеха!»

«Народная толща, — писал Ю. Потехин, — незаметно перерабатывает интернациональную власть, приспособляя ее к своим потребностям, заставляя служить национальным целям». «Самый факт длительности советской власти, — писал А. Бобрищев-Пушкин, — доказывает ее **народный** характер, историческую уместность ее **диктатуры** и **суровости».** Ленин, как известно, выступил публично против этой концепции. У нас только тактика, настаивал Ленин; коммунизм остается верен себе. У вас идет эволюция, — настаивал Устрялов, — хотя вы сами того и не замечаете.

Расцвет сменовеховства длился недолго. Первой из его фантазий, которые погибли, была уверенность, что отмена ВЧК означает введение строгой законности. Потом Ленин объявил «конец отступлению». Когда же, в конце 20-ых годов, Сталин приступил к коллективизации, заглохли все толки о «спуске на тормозах» и «эволюции». Устрялов признал неправильность своих теорий; сменовеховство умерло, что

не спасло, однако, прежних носителей его идей от жестокой расправы.

Горячие споры давно заглохли и забылись к началу новой войны. Лишь только Сталин заговорил, однако, о Суворове и Кутузове, разрешил открыть соборы и приказал славить русский народ, опять заговорили об «эволюции», о Сталине, порвавшем с коммунизмом; о «национальных» целях его политики; о «народности» его власти. За эти теории ухватились, естественно, много мелких журналистов; но и такой крупный человек, как П. Милюков, принял тактику Сталина за подлинную эволюцию. Невольно Троцкий — к тому времени уже убитый — помог этому своей «левой» критикой сталинизма: Сталин изменил ленинизму, Сталин — реставратор русского национализма. Анафема некоммунисту Сталину, — провозглашал Троцкий. Да здравствует некоммунист Сталин — восклицали все — Милюков, новообращенные возвращенцы, быстро-испеченные советские патриоты и своеобразные неосменовеховцы в демократическом лагере.

Нет ничего легче, как подобрать из 33-летней истории советского режима десятки, даже сотни иллюстраций, чтоб доказать эволюцию его к типу старой национальной России. Он вечно менялся; менялась, хотя и медленнее, и официальная идеология. Но в этой политической системе, как и во всякой иной, был капитал «переменный» и капитал «постоянный»; и большой ошибкой было б не замечать второго из-за пестроты одежд первого. Нельзя не замечать коммунистический лес за националистическими деревьями!

Постоянный капитал это, во-первых, тираническая диктатура. Были зигзаги, колебания; но равнодействующая шла всегда в сторону усиления тирании и террора, и события последних пяти лет это вновь подтвердили; во-вторых, это государственное хозяйство, от которого, вопреки недавним предсказаниям «эволюционистов», никакого отклонения не допускается. В-третьих, это воинственная, материалистическая и атеистическая идеология, — вопреки вечным зигзагам в церковной политике. В-четвертых, это антизападничество, антагонизм к «империализму» Америки и Англии, — вопреки кратковременному и вынужденному зигзагу военных лет.

В начале этой статьи перечислены изменения, имевшие место в советской внешней политике после войны; многие из этих перемен шли в сторону реставрации старых целей и

методов. Но всегда оставался при этом твердый, неизменный элемент; это был сталинский коммунизм, нередко стоящий на пути к новым приемам его же внешней политики, и это был, вообще «динамизм» во внешних делах, непоседливость, суетливость, антагонистичность, воинственность.

Коммунизм был и есть; нельзя ожидать, что он растает незаметно в процессе некой «эволюции». Нельзя ожидать, чтоб произошло у нас (перефразируя слова Энгельса) мирно-спокойно-свободно-веселое врастание старого свинства в добропорядочное общество. Не бывает этого. Нет данных ожидать этого и в России.

Без большого кризиса дело не обойдется, — кризиса, не незаметного, секретного, а очень явного, вероятно, кровавого. Без большого кризиса не изменятся, очевидно, и главные черты внешней политики, ныне сочетающей коммунистическое существо свое с вреднейшими из атрибутов дореволюционых режимов.

Д. Далин.

СВОБОДА И СОЦИАЛИЗМ

Свобода и социализм или социализм и свобода? Это различают те, кто признают и свободу, и социализм. Другой, более глубокий водораздел проходит между теми, кто противопоставляют свободу социализму: свобода или социализм?

Такое разделение проходит чрез всё современное сознание — в странах просыпающегося Востока, как и в «ведущих» странах Запада. Что отличает нынешнюю постановку вопроса от предыдущих, насчитывающих почти полуторавековую давность, это — что из мира отвлеченных идей вопрос перешел в мир реальных вещей и перестал быть достоянием одиночек и групп последователей, став достоянием массовых движений.

С полной очевидностью это сказалось в Англии во время недавних выборов в парламент. Это же сказывается и в Соединенных Штатах Америки — тем отчетливее, чем ближе к выборам нынешнего года и, главное, к выборам президента через два с половиной года.

Правительство рабочей партии в Англии пробыло у власти пять лет. И за все эти годы оппозиция, как ей и надлежало, не переставала критиковать правительственные мероприятия, относя дефекты на счет социализма. Критика социализма шла не только в парламенте, но и на страницах печати, в открытых и закрытых заседаниях. Критиковали старики, критиковала и молодежь. На собрании студентов в Оксфорде было поставлено недавно на обсуждение предложение — признать, что «социализм подрывает энергию и свободы народа». После красноречивых речей и обсуждения вопроса по всем правилам парламентской процедуры собрание одобрило 365 голосов против 214 внесенное предложение.

Во время избирательной кампании глава оппозиции Черчиль в первой же речи в Чартвиле определил социализм, как «ошибочную философию и устаревший образ мышления, ведущие к всемогуществу государства, которое владеет всем, проектирует всё и распределяет всё». Это, конечно, никуда

не годится. А что нужно? «Схема, которую мы отстаиваем, это установление и поддержание основного жизненного уровня и уровня труда, ниже которого недозволено было бы опуститься ни для мужчины, ни для женщины, как бы стары или слабы они ни были. Пища, которую они получают, цены, которые им приходится платить за вещи первой необходимости, жилища, в которых они живут, их труд — должны быть первой заботой государства, иметь приоритет пред всеми другими нуждами мирного времени. Как только мы обеспечим этот уровень, мы расчитываем возможно скорее освободить страну от контроля и ограничения, которые отягчают нашу повседневную жизнь».

В другой речи в Кардифе Черчиль пошел еще дальше, заявив, что так называемое "Welfare state" (попечительное государство), озабоченное социальными улучшениями и социальным обеспечением, это «наше (консерваторов) политическое дитя», — а вовсе не социалистов. В полном соответствии с этим руководимая Черчилем партия заявила, что, если она придет к власти, она не станет денационализировать ни угольную промышленность, ни Английский Банк, ни железные дороги, ни воздухоплавательные линии, ни электрическую энергию, ни даже социализированное здравоохранение. Она лишь не даст ходу национализации стальной промышленности. А, главное, — консерваторы обещали сделать лучше, эффективнее и дешевле то, что рабочее правительство делает бюрократически и расточительно.

С полным, поэтому, основанием глава рабочего правительства Эттли заметил: «Замечательно, как британский народ в целом, и даже партия тори, усвоили за последние годы мысль о необходимости планирования и контроля. В самом деле, если тори будут продолжать учиться в таком же темпе, как сейчас, они через двадцать лет окажутся как раз на том самом месте, где сегодня находится рабочая партия» (Речь в Дерби 9 февраля 1950 г.).

Как бы то ни было, но тот факт, что выборы дали приблизительно одинаковое число коммонеров рабочей партии и партии консерваторов, может найти свое объяснение, в частности, в том, что партии разнились друг от друга лишь в способе и скорости, с которыми одна из них осуществила, а другая осуществила бы приблизительно одинаковую программу. Если и та, и другая партия заявляют претензию на то, что «попечительное государство» е е детище, — принципиальная разница между ними стирается.

Иначе, хотя тоже весьма поучительно, обстоит дело в США.

Президент Рузвельт с его "New Deal" никак не преследовал социалистических задач. Он был полностью поглощен жгучими и неотложными заботами: как устранить панику, обрушившуюся на страну вследствие кризиса и хаоса, как уменьшить безработицу, помочь той и другой отрасли хозяйства, организовать социальное страхование, обеспечить сбережения вкладчиков в банки и т. д. Всё это требовало какого-то плана — не всегда, может быть, до конца продуманного, но непременно заблаговременного — и прямого вмешательства государственной власти в экономику страны, ее финансы и общую хозяйственную структуру. С мировой войной планирование и вмешательство со стороны государства усилились и в США: государственная власть стала глубже и больше регулировать и контролировать экономику, стала не только субсидировать и направлять производство, но и создавать собственные предприятия, следить за распределением сырья, фабрикатов, продовольствия.

В избирательной речи, произнесенной в Эдинбурге, Эттли сравнивал политику рабочего правительства в Англии 1945-1950 гг. с политикой Рузвельта. Эта параллель встретила полное сочувствие со стороны аудитории. И на самом деле историко-политические и социально-психологические корни той и другой политики — одни и те же. «Демократии исчезли в ряде великих стран не потому, что народы этих стран разлюбили демократию, а потому, что они устали от безработицы и необеспеченности, от вида голодных детей, беспомощно сидящих лицом к лицу с правительственной неразберихой и бессилием», — говорил Рузвельт в одном из обращений к конгрессу. «В конце концов, народ в отчаянии предпочитал пожертвовать свободой в надежде получить что-нибудь для еды».

И в думах о будущем, строя планы, как организовать мир, прочный мир после ужасов войны, Рузвельт, как известно, 6 января 1941 года сформулировал Четыре Свободы, которые должны быть осуществлены «повсюду в мире», как предпосылки и условия общего замирения. На третье место, после свободы слова и религиозного исповедания, Рузвельт поставил свободу от нужды повсюду в мире, — что́, в переводе на язык мировых отношений, означает экономическое соглашение, обеспечивающее каждому государству здоровую мирную жизнь для его жителей».

В нынешней международной обстановке — и атмосфере — Четыре Свободы звучат как наивная или благочестивая утопия. Это не меняет, однако, смысла и направления, в которых шла мысль Рузвельта и руководимая им внутренняя и внешняя политика США. И преемник Рузвельта, сменивший "New Deal" на "Fair Deal" и «Третью Свободу» на «Четвертый Пункт» своей программы (оказание всяческой помощи отсталым и малоразвитым странам и народам), и Трумэн, конечно, идет путем, проложенным Рузвельтом, — может быть, только осторожнее и медленнее.

Это одинаково следует из того, что говорят противники нынешней администрации и что говорят ее сторонники.

В предвидении выборов республиканская партия опубликовала 1-го апреля официальную программу или платформу. В целях широкой пропаганды она сведена к 99-ти словам. В пункте 10-ом, расчитанном на массового избирателя, который должен вернуть республиканцев в Белый Дом после 18-летнего перерыва, говорится: «Сохранение свободы против социализма». Комментируя свои «принципы и цели», республиканцы доказывают: «Главнейшее задание на сегодня во внутренней политике, это — свобода против социализма... Программа администрации с плановой экономикой, по образцу социалистических правительств Европы, угрожает самобытным принципам Америки».

И признанный лидер республиканцев в сенате, кандидат в президенты на прошлых выборах и вероятный кандидат на выборах в 52-ом году, Роберт Тафт пишет: «Если Америка последует британскому примеру, даже без его некоторых крайних черт, тогда, нет сомнения, получатся и результаты, похожие на британские... США созданы для обеспечения гражданам свободы. Эта свобода была узловой во всем нашем прогрессе, во всей нашей истории. Она привела к освоению новых пространств, новых идей, новых заводов, новых методов.... Свобода будет прикончена, если господину Трумэну будет позволено повести нас британским путем... Наши предки давным давно покинули британский путь из-за чрезмерности управления и недостаточных возможностей для индивида. Сейчас мы приближаемся к концу американского пути». (*Collier's*, April 18)

В том же смысле высказался и Джон Фостер Доллес во время кампании за переизбрание сенатором. «Так называемое «попечительное государство», которого домогается администрация демократов при помощи кучки левых и коммунисти-

ческих элементов, означает государственный социализм и конец свободе».

Правда, ряд видных республиканцев оспаривают выработанную платформу и держатся других мнений. Так, другой кандидат в президенты на выборах 48-го года, удостоившийся интервью со Сталиным, Стассен категорически заявляет: «Свобода против социализма не есть решение. Решение в том, чтобы обеспечить право на (благоприятные) возможности против необеспеченности и скудости».

Бывший президент Хувер, продолжающий считаться одним из лидеров республиканской партии, недавно заявил: «Наша американская система уже 60 лет тому назад развелась с французской дамой Laissez Faire. Мы начали в 1887-м году, когда создали меж-штатную торговую комиссию, положив тем начало контролю над монополиями. Но гораздо более революционным был закон против трестов 1890 г.».

Хувер продолжает отстаивать свободную конкуренцию и возражает против лозунга правительства Эттли «обеспечение с колыбели и до могилы». Но как он возражает? Оказывается, — «обеспечение с колыбели до, примерно, 18 или 20 лет и, примерно, с 65 лет было всегда священным для американского народа». Работающие с 20 до 65 лет, меньше 70 миллионов населения, и должны создать возможность обеспечить жизнь остальных 80 миллионов.

Еще более интересны соображения и программа губернатора Дьюи, бывшего официальным кандидатом партии на выборах президента в 44 и 48 гг. — против Рузвельта, а потом Трумэна.

Дьюи прочел серию лекций в принстонском университете на тему: «Может ли американская система оградить свободу в социалистическом мире?» Как и Черчиль, Дьюи отрицает за противниками, за демократами, право считаться инициаторами и родоначальниками «попечительного государства»*). Он обрушивается на тех «неуклюжих республиканцев», которые пытались приклеить эту этикетку к администрации Трумэна. «Кто думает, что нападки на основную идею обеспечения и попечения могут встретить сочувствие у народа, тот живет в средневековье. Каждый желает обеспечения и попечения в той или другой форме. Я никогда не

*) Первоначальное употребление термина "Welfare state" в положительном смысле приписывают сенатору Тафту. О "General welfare" говорится в тексте конституции США (введение и ст. 1, секция 8).

встречал человека, который не хотел бы попечения и обеспечения. Первый, воспользовавшийся этим выражением против нашего нынешнего правительства, поступил, выражаясь мягко, нехорошо для своего дела».

Что Дьюи ставит в вину нынешней администрации, это не стремление к обеспечению населения, а то, что она «распухла». «Администрация прежде всего отрицает большую предпосылку, что первая задача правительства — сохранить свободу. Утверждая, что обеспечение главная задача нашего общества, она стремится... отвратить наш народ от основной истины, что без труда и производительности мы погибли. Второе, — распухшее правительство требует своеобразного постоянного контроля и непрерывности и потому неизбежно движется в сторону однопартийной системы... стремится передать право распоряжения государственным кошельком вместо конгресса исполнительной власти. Третье, — распухшее правительство, подобно диктатуре, может продолжать существовать, лишь становясь все огромнее и огромнее... Четвертое, — распухшее правительство постепенно разрушает источник нашего общества, 10 миллионов центров инициативы в наших индивидуальных предприятиях и у наших фермеров».

Противники политики Рузвельта и Трумэна прибегают к старому приему: «амальгамируют» попечительное государство с этатизмом, социализмом и коммунизмом. Это, конечно, облегчает полемику, но встречает, естественно, возражения со стороны оппонентов.

Так, вице-президент США Баркли на банкете демократической партии 2-го декабря минувшего года дал исторический очерк того, как н е о б х о д и м о с т ь вынуждала США на протяжении не только этого века приходить постепенно к «регулированию хозяйства, руководству им и контролю», к «расширению усилий охранить население против несправедливости и атак со стороны своекорыстных интересов и групп».

Баркли пытался даже установить непрерывную историческую традицию в противодействии американской администрации тем, кто искал у государства помощи исключительно в своем личном и частном интересе. И противники этой традиции не могли бы сказать, по мнению Баркли, «где кончается «индивидуализм» и начинается «этатизм».

Как бы то ни было, изображать нынешний хозяйственный строй США как звериное царство, в котором человек

человеку волк, а администрация только о том и думает, как бы помочь выживанию более мощных и жизнеспособных капиталистов, — а именно так малюет США советская пропаганда, устная и печатная, — является злостной карикатурой, и самым отдаленным образом непохожей на действительность.

«В чистом виде свободной и конкурирующей экономики в США больше уже нет» — значится в докладе-обозрении, представленном объединенному комитету сената и дома народных представителей коллегией экономических советников при президенте. Да и как могло бы быть иначе, если вдуматься в то, что свободная инициатива и предпринимательство возникли не как самоцель, а как средство или следствие определенной морально-политической системы. Дэвид Лилиэнталь, бывший глава комиссии по атомной энергии, в книге «То, во что я верю» («This I do believe») убедительно показывает, что в наше время и свободное предпринимательство не может существовать без хотя бы организационного вмешательства со стороны государства.

Таково же мнение и президента Трумэна.

На банкете 16 февраля он говорил: «Задания 20-го века не могут быть выполнены теми, кто хотели бы вернуться ко временам Мак Кинлей... Республиканские лидеры пользуются выражением «попечительное государство», как пугающим на мгновение словом. Но они обнаружили, что население расположено к правительству, которое выдвигает попечение. Тогда они пробуют слово «этатизм»... Теперь республиканские лидеры должны были вернуться к старой подпорке... Нынешнее их слово, которое должно напугать, это «социализм». Вполне разумно быть против «социализма». Трудность в том, чтобы заставить страну поверить в то, что демократическая партия стоит за социализм... Они пытались это делать с 1933 г. За последние 17 лет они каждое новое мероприятие демократов именовали «социализмом» или «коммунизмом», постоянно предсказывая раззорение и бедствие... Конечно, (наша) программа не социализм. Она покоится на твердой вере в силу свободной предприимчивости. Ее назначение укрепить рынки свободного предпринимательства и расширение вкладов в последнее. Она дает нашим гражданам экономическое обеспечение, хорошее образование и доверие к будущему».

И далее Трумэн сказал то, что мог сказать и Рузвельт, и Эттли, и всякий демократ и социалист.

«Свобода — не абстракция. Свобода — реальность в

нашей повседневной жизни. Программы нашей партии освободили рабочих от их подчинения предпринимателям. Они освободили фермеров от страха пред банкротством... Они освободили пожилых от страха и зависимости от возраста... И на этих основах для большей свободы для всех мы идем вперед разрушить препятствия к экономическим возможностям и политической свободе, которые созданы были предрассудками и дискриминацией... И когда республиканская партия заявляет, что мы втягиваемся в ограничение свободы, пусть американский народ посмотрит на свою собственную жизнь и спросит себя, пользуется ли он большей или меньшей свободой по сравнению с тем, чем он пользовался 18 лет тому назад?.. Наша задача идти вперед в свободе — создать общественную систему, которая всё более будет ответственна за нужды народа, укрепить демократические принципы в сердцах народа так, чтобы их никогда нельзя было бы выкорчевать... Среди народов мира мы стоим как пример того, что могут сделать свободные люди, когда они контролируют собственные дела и посвящают себя идее лучшей жизни для всех».

США, конечно, весьма далеки от социализма. Здесь и нужда, и нищета, и проституция, и безработица, и привилегии, и классовая борьба, и прочие социальные бичи. Но если не все эти бичи, то большинство их и другие, худшие — в форме замаскированного крепостничества и рабства существуют и в именующем себя «социалистическом» обществе. И в чем качественно — или «в принципе» — отличается строй США от строя, устанавливаемого в Англии правительством рабочей партии?

Превратилась ли уже северо-американская демократия в «попечительное государство» или еще не превратилась, — в конце концов, не так существенно. Существенна т е н д е н ц и я, развитие, «куда растет» американский капитализм. И здесь не может быть никаких сомнений: развитие идет в сторону а к т и в н о г о вмешательства со стороны государства в пользу обеспечения равенства и свободы и известного минимума прав и благ за каждым членом общежития. Чем иным, в частности, можно объяснить тот необычайный факт, что, несмотря на социальное расслоение, на несомненную концентрацию капитала и рост пролетариата, массы в США не пошли и не идут европейским путем образования социалистических или рабочих партий, а ограничиваются юнионным объединением по профессиям?

**
*

Социализм явился следствием Великой революции во Франции и промышленной революции Англии первой половины прошлого века. Свобода, равенство и братство, провозглашенные французской революцией, и осуществлены были неудовлетворительно, и недостаточно шли навстречу экономической нужде масс. Революция не оправдала скороспелых надежд и вызвала разочарование и недовольство. У одних неудовлетворенность вылилась в стремление в о с п о л н и т ь то, чего не доделала французская революция. И социализм — самый термин этот был впервые употреблен Пьером Леру в 1834 году, уже после смерти Сен-Симона (1825), — к правам человека и гражданина стал добавлять коллективные права общества в экономической области.

Здесь социализм становился как бы п р о д о л ж е н и е м того, что было провозглашено «принципами 89-го года». Его миссией было завершение начатого французской революцией — всестороннее освобождение человека и общества, социальная справедливость, универсальное братство.

Другая линия развития социализма идет от английских чартистов, не удовлетворенных ни французской революцией, ни половинчатой избирательной реформой в Англии 1832 г. Эта линия в Англии, Франции и в других странах привела к о т т а л к и в а н и ю от буржуазной французской революции и п р о т и в о п о с т а в л е н и ю ей социализма, как отрицания капитализма с его индивидуальными правами, личными привилегиями и частными интересами. Политическая свобода и права человека и гражданина были взяты под подозрение, как «выдумка» и «уловка» имущих классов, упразднивших феодальные цепи, чтобы заменить их своими, буржуазными, капиталистическими.

Этот социализм отвергал всё прошлое и презирал окружавший его мир, утверждая свою монополию на обладание единой и абсолютной истиной. Маяковский воспроизвел общие всем социалистам этого типа эмоции (в виршах о «Бродвее»):

....У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.
Начинается земля,
как известно, от Кремля.

У социализма появились свои догматы и догма, своя исключительность и свой фанатизм, ничем не отличавшиеся по внутренней напряженности от «старого мира», подлежавшего окончательному уничтожению. Надлежит отметить, что почти с самого возникновения социализма ему противопоставлялся коммунизм. Уже в 1842 г. Лоренц Штейн озаглавил свое (едва ли не первое) исследование о социализме «Социализм и коммунизм современной Франции».

У одних коммунизм отличался от социализма крайним обострением индивидуалистического момента, сближавшим коммунизм с анархизмом. У других коммунизм уже в первой половине прошлого столетия доходил до полного отрицания всякой личной свободы, настаивал на коллективизации не только производства, но и распределения и потребления — одежды, питания, жилища. И знаменитый Манифест, составленный Марксом и Энгельсом по поручению лондонского съезда коммунистов, не случайно именовался Манифестом Коммунистической партии.

В социализме Маркса и Энгельса оказались уже налицо все аттрибуты вероучения, веру, правда, отвергавшего, но в науке находившего ответы на все вопросы мироздания.

Признав единственно себя «научным», марксизм стал отталкиваться от всего другого и от всякого другого социализма, как ненаучного или утопического. На место былого идеализма был выдвинут материализм. Благая в человеке природа была замещена своекорыстной, движимой экономическими и иными интересами. Место волевых усилий, просветленных добром и истиной людей занял безличный исторический процесс масс, которых будто бы «нельзя обмануть».

В этой светотени, в изображении демонически-мрачными красками прирожденных злодеев — буржуев, «могильщиков» свободы и прогресса, и райски-светлыми — изначально добродетельных «масс», равно как и в установлении заранее предрешенных, «финальных» целей исторического процесса, так называемый научный социализм 19-го и 20-го века повторял мышление 18-го века. Дань гуманистической традиции — и Гегелю — выразилась, однако, в том, что, если не «дух», то ход истории в силу «железных законов» своего развития признан был работающим на социализм, на окончательную эмансипацию, вместе с пролетариатом, и всего остального общества.

Больше полувека утверждалось — в теории и на практике, — что только принявший **все** основы марксова учения

может быть подлинным социалистом и, обратно, приобщение к социалистическому движению предполагает признание целостного марксизма с диалектическим методом, историческим материализмом, классовой борьбой, как движущей силы истории, и проч.

Идеократический характер марксизма, с заготовленной заранее и навсегда единой и сакральной, не терпящей отступления или компромисса истиной — зародыш ждановщины до Жданова, — предопределил его авторитарность, в течение почти целого века отравлявшую социалистическое сознание и политику. Марксизм перестал удовлетворять более или менее критические и требовательные умы. И даже те, кто по установившемуся обыкновенно продолжали именовать себя марксистами, стали вносить в него поправки и оговорки. Однако, исправленный и дополненный социализм и в наши дни не перестает быть — или хочет быть — в е р о у ч е н и е м.

Мы имеем в виду не тех, кто именует себя религиозными или христианскими социалистами, а тех, кто отрицает свою связь с положительной религией.

Когда В. М. Чернов говорил о социализме как «светской религии» и «религии труда», это можно было счесть за образ или словесный оборот. Но вот Леон Блюм, привыкший к тщательной отделке и формулировке своих взглядов. До конца дней не переставал он считать себя и учеником Маркса, а не только Жореса, и свой «духовный синтез» Маркса и Жореса, или «интегральный социализм», отказывался называть религией, «потому что у него нет ни догм, ни ритуала, ни священства». Тем не менее, Блюм тут же прибавляет: «социализм... может удовлетворить ралигиозную потребность, потому что он учит мудрости и добродетели, приучает совесть к угрызениям, наставляет, как в идеале, более высоком, чем индивид, находить мотив и воздаяние за личные деяния, потому что форма приятия его (социалистического идеала) дозволяет жертвенность и походит на веру» (A l'Echelle Humaine, 175-176).

Приведу еще более яркую иллюстрацию того, как эволюционировало представление о социализме даже у тех, кто духовную свою родословную ведет по прямой линии от Маркса и Энгельса, Плеханова и Мартова и других марксистов.

«Что такое социалист в наше время?» — ставит вопрос признанный лидер русских меньшевиков Р. А. Абрамович в статье, напечатанной на еврейском языке в 46-ом году (Сбор-

ник, посвященный 60-летию Н. Ханина). Автор припоминает ряд определений, которые давались социализму в прошлом. «Человек, уверовавший в коллективную систему хозяйства, признающий необходимость высокой оплаты труда рабочих и социального страхования? Ненавистник капитализма, нетерпящий несправедливости и господства эксплоатации, кризисов и безработицы? Человек, размышляющий о хозяйственных проблемах и установивший путем глубокого анализа, что система планированного и регулированного хозяйства более производительна и является более высокой ступенью, чем хаотическое «свободное» капиталистическое хозяйство? Достаточно ли всё это, чтобы быть социалистом, чтобы быть признанным таковым?»

На эти реторические вопросы Р. А. Абрамович отвечает:

«Лет сорок тому назад мы ответили бы утвердительно на этот вопрос — решительно и категорически. Все перечисленные мною признаки были характерными чертами, отличавшими социалиста от буржуазного демократа. В настоящее время, однако, дело обстоит уже не так. В нашу эпоху имеется достаточно людей, убежденных в том, что будущее принадлежит системе коллективного и планированного хозяйства. Однако, они отнюдь не социалисты. Они могут быть «технократами», «планистами», коммунистами, наци, фашистами и другого рода «истами». Они отнюдь не должны быть непременно социалистами в том смысле, как мы понимаем этот термин. Даже враждебное отношение к капитализму и социальному неравенству, даже признание классовой борьбы сейчас уже не является больше истинным проявлением социалистических убеждений. Анти-капиталистами могут быть, и часто бывают, и фашисты, романтически-реакционные крестьянские группы, ненавидящие город и городского торговца, антисемитские мелкобуржуазные группы и т. д.

Социализм является чем-то иным. Это система взглядов, пропитанных моральным пафосом, пафосом свободы, человечности, гуманизма, братства. «Социализм» диктатуры, смертной казни, концлагерей при национализации промышленности для нас не социализм. Но разрешите мне пойти дальше: даже не всякий приемлющий платформу гуманитарного и свободолюбивого социализма является в моих глазах настоящим и действенным социалистом.... Должно исповедывать социализм не только в книгах, статьях и публичных речах, но носить его в сердце, как своего рода внутреннюю религию, как свойство характера, как черту, характеризующую душу».

Нет надобности подчеркивать, как дорого, идейно и душевно такое представление о социализме социалисту-народнику, в течение десятилетий отстаивавшему признание в социалистическом сознании и движении, наряду с марксистским социализмом, и социализма идеалистического, этического, гуманитарного. Однако, — и это было «лет сорок тому назад», и даже больше... Это тоже ушло в безвозвратное прошлое. Социализм уже не может быть исповеданием веры или вероучением, — хотя бы и благим и более удовлетворяющим душу и сознание, чем марксизм. Уже нет и не может быть социализма как «цельностного миросозерцания» и даже социализма с обязательной системой этики, общей историософией или хотя бы «философией эпохи», «большой концепцией» и проч. Это все уже в прошлом — пройденная ступень.

И считать себя особым состоянием души социализм тоже не вправе. Он не может заявлять монополию на всё высокое и всё прекрасное, выделяющее его приверженцев из ряда других смертных. И социалисты, увы, оказались подвержены низким чувствам, и несоциалисты далеко не всегда бывали чужды благородных побуждений. Лишь поддавшись соблазну «собственной гордости», которой хвастался Маяковский, можно обнаружить в социализме особую «черту, характеризующую душу».

Нет единого социализма, как нет монизма и в жизни. Многие и разные пути ведут в направлении к социализму, ибо произошло о б м и р щ е н и е социализма, как идеи и как движения. Социализм снизошел с абстрактных высот чистого разума и разума практического. Социализма в реальной действительности еще нет, и невозможно предсказать, когда, где и как «интегральный» или «подлинный» социализм будет осуществлен, но д в и ж е н и е в с т о р о н у с о ц и а л и з м а, даже при идейном отрицании этого факта, представляется неоспоримым.

Мне не раз приходилось писать об этом и оспаривать тезис о «социализме в наши дни», который отстаивают не только большевики или левые социалисты, но и некоторые убежденнейшие противники большевиков и всяческого максимализма. И сейчас, после второй мировой войны и всех огромных экономических и социальных сдвигов, происшедших в демократических странах, я продолжаю думать, что о социализме в Англии или Швеции и Новозеландии говорить никак не приходится, — если, конечно, не возвращаться к изжитому, казалось бы, представлению о социализме, как «национализациях», при котором «куски подлинного социализма» можно

было обнаружить и в водочной монополии и государственных железных дорогах самодержавной России, или в светло-голубых трамваях, телефонах, ваннах, светлых домах и проч. Стокгольма, Нью-Йорка, Лондона, Велингтона и т. д.*).

Что такое вообще «подлинный» социализм и не-подлинный? В известной книге проф. П. И. Новгородцева «Общественный идеал» говорится, что «марксистский социализм — самый настоящий и притом единственно настоящий». «Кто берет от социализма одну лишь идею социальных реформ, но откидывает рационалистический утопизм, уже не может называть себя социалистом, ибо он устраняет из социализма его душу, его основной питающий корень». «Лассалеанизм есть только социализм по имени», — уверял ученый противник социализма.

Надо ли говорить, что построение Новгородцева не считается с тем бесспорным фактом, что не-марксистский или не-настоящий социализм: лассалеанизм и бернштейнианство в Германии, жоресизм во Франции, кер-гардизм в Англии сыграли исключительную роль в социалистическом движении этих и других стран Европы, часто даже бо́льшую, чем марксизм?

И стоит ли вообще спорить о словах: есть ли реформистский социализм социализм и что есть социализм? После тысячелетия существования юриспруденции Кант мог сказать, что юристы все еще ищут определения права. То же справедливо и в применении к свободе, которая насчитывает десятки различных определений. Юной, сравнительно с другими, идее социализма тем простительнее не иметь прочно установленного однозначного определения**).

---

*) Ср. статьи Е. Юрьевского «Путь шведского социализма», «О тенденциях общественного развития в наше время» и «Чем может быть сейчас социализм», а также мою статью «О социализме советском и ином» в журнале «Современные Записки» номера 64, 65, 68 и 69 за 1937-39 гг.

**) Приведу несколько образцов того, как определяют социализм, — помимо общеизвестных «обобществление средств и орудий производства», «уничтожение эксплоатации человеком человека» или нелепого ленинского определения: социализм это «контроль и учет» или «советская власть плюс электрификация».

Троцкий изрек: «социализм есть не что иное, как общество культурных, т. е. прежде всего грамотных, кооператоров»; в другом случае

Социализм, на наш взгляд, это т е х н и к а или о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к а я задача, как обеспечить и расширить пределы свободы — личной и социальной. Такое понимание существа социализма вовсе не снижает и не умаляет его, а отводит место, которое ему принадлежит в иерархии морально-политических ценностей. Значение идейности, жертвенности, энтузиазма, пафоса этим нисколько не отменяется. Оно только переключается или приводится в связь не с временным и мнимым, а с постоянным, чтобы не сказать вечным, и неистребимым в человеке.

Таким первичным и исторически постоянным началом в духовной, а иногда и в физической жизни человека и общества всегда была с в о б о д а. Пусть одни связывают это начало с иудео-христианским богооткровением; другие — с философской дедукцией, ведущей начало от стоиков; третьи — с собственным непосредственным и эмпирическим жизнеощущением свободы, как волевого и творческого фактора в историческом процессе. Каковы бы ни были корни или истоки свободы, только из этой верховной и непререкаемой духовной ценности может человек — и вовсе не непременно только социалист — черпать вдохновение для своей жизнедеятельности и поиски личной и социальной справедливости.

К противоположению свободы социализму приходят разными путями. Всячески отталкиваются от социализма, не приемлют его и возмущаются самой постановкой вопроса о социализме познавшие на тяжком опыте блага и прелести советского социализма. Повторяя Достоевского и Спенсера, они твердят, что никакого другого, кроме каторжного социализма, и н е м о ж е т б ы т ь.

он же определяет социализм, как «организацию труда на принудительной основе солидарности».

По Каутскому: «не из борьбы против нищеты, а из борьбы за свободу и власть появится социализм».

Для идеолога, так называемого, гильдейского социализма Коля: «не освобождение от труда, а освобождение труда — задача социализма».

Для С. И. Гессена основная идея современного социализма в «суверенитете права». Для него же социализм есть «право лица на проявление своей хозяйственной активности, т. е. на свободный труд». (См. недооцененный большой труд проф. С. И. Гессена «Проблема правового социализма». — «Совр. Записки», номера 22, 23 и 27-31).

С другой стороны, более чем скептически и сдержанно относятся уже не к социализму, а к демократии те, кто на опыте или путем наблюдений убедились в ошибках и преступлениях демократических учреждений, в слабости и неустойчивости демократической власти. Свобода, если не говорить о ней с большой буквы, «в безвоздушном пространстве», представляется им «в эпоху масс» — и атомной энергии — более чем рискованной.

Невозможна полная свобода для всех. Необходимо ограничить свободу стачек для занятых в общественных службах (газ, вода, электричество, транспорт), в государственных учреждениях, в полиции и т. д. Недопустима и полная свобода слова и печати — нельзя претерпевать призывы к разрушению и насилию. Кто не знает со времен Эзопа — что язык дан человеку, как высшее благо, как ключ к истине и проповеди божественной истины, и в то же время, что язык — отец всякой распри, лжи, клеветы и хулы на людей и даже на богов.

Демократия отвергает непротивление злу. Но фактически она следует завету Льва Толстого, уверявшего, что если бы пришли дикие зулусы, чтобы изжарить его детей, единственное, что он мог бы сделать, это — постараться внушить зулусам, что это нехорошо и им невыгодно.

Многого ли в таком случае стоит «до конца последовательная демократия» и разрушающая «жизнь и существование общества» свобода? «Политически либеральная доктрина не только не защищает мир от деспотизма, а обратно — своей «свободой» открывает дорогу его победе. Она переполнена противоречиями. Это не политическое мировоззрение, которое помогает бороться со злом в наше страшное время. Борясь с коммунизмом, убившим всякое движение независимой мысли, ему противоставляют анархическую идею полной свободы».

В таком освещении западная демократия немногим более оправдана, чем советский социализм: «безграничная свобода» способствует торжеству «безграничного деспотизма», по вещему слову Шигалева.

Можно возразить, — **никто** в современной демократии и не защищает безграничной свободы. Это отвергала и Французская революция, ограничившая свободу и право каждого делать «всё» — тем, что «вредит кому-либо другому». «Принципы 89 года» ограничивали свободу — законом и воспрещали «действия, которые вредны общежитию» (статьи 4 и 5 Декларации прав человека). То же предусматривает и Универсальная

Декларация Прав Человека, принятая Организацией Объединенных Наций 10 декабря 49 г. И там, в п. 2 статьи 29, права и свободы одних ограничены правами и свободами других и «удовлетворением справедливых требований морали, публичного порядка и общего блага в демократическом обществе». Проект соответствующей конвенции о правах человека предусматривает (в ст. 17) до **двадцати пяти** случаев отступления от неограниченной свободы выражения своих мнений.

И если не демократия, какая иная возможна альтернатива в наше время? Что другое может предложить наш оппонент, выдающийся экономист, бывший ленинец и бывший плехановец, разочаровавшийся ныне и в демократии, и в свободе? У него имеется положительное предложение: нужна диктатура Разума (с большой буквы) и Совести (тоже с большой буквы) в форме **Элиты** в каждой стране — из «ученых, выдающихся общественных деятелей, лучших литераторов, юристов, экономистов и т. д. Они образуют высший суд над словом, допустимым и недопустимым, они должны вдохновлять и руководить политикой».

Надо ли оспаривать такое построение? На уровне ли оно нашей «апокалипсической эпохи»? Не является ли оно возвращением на два-три столетия назад к эпохе просвещенного абсолютизма с тою лишь разницей, что место абсолютного монарха отводится коллегии — Элите из «мозга и совести страны»? И в более глубокой истории можно найти образцы и доводы в пользу управления не одним и не всеми или многими, а некоторыми, — олигархией из лучших или мудрейших. Но мыслимо ли, возможно ли в «эпоху масс» господство аристократии, хотя бы и духовной, когда оно оказалось невозможным и в более уравновешенное время, не в эпоху масс?

Бесспорны злоупотребления в пользовании свободами в современных демократиях. Бесспорна и слабость, и вынужденная уступчивость анти-демократическим настроениям и актам. Но неудачная реализация идеи только в весьма условном и отдаленном смысле компрометирует идею. Какие только идеи не были скомпрометированы и извращены на протяжении истории! Свобода, равенство, гуманизм, христианство, патриотизм, братство — всё побывало в разное время в грязи и в крови. Корни демократии и социализма не в нынешней эпохе и не в первой мировой войне или парижской коммуне, даже не во Французской революции или эпохе просвещения и ренессанса. Корни демократии и социализма в общих достижениях челове-

ческой культуры, в извечном — или первозданном — стремлении к свободе.

Из свободы вышла идея демократии, из нее же вышел и социализм. И социальная демократия вовсе не выше демократии политической. Она разновидность демократии, позднее политической демократии появившаяся на исторической арене. После попытки насильственного «введения» социализма в экономически и политически отсталой России, даже такой ортодоксальный марксист как Каутский признал **условный** характер социализма и его **подчиненность** более высоким ценностям — освобождению, — Каутский говорит, конечно, об освобождении «пролетариата и человечества».

Приходится идти дальше и признать не только свободу, социальную справедливость и гуманизм глубже, шире или выше социализма, но и демократию — глубже, шире и общее социализма. Не будучи демократом, нельзя быть и демократом-социалистом, тогда как исторически — и в идее — возможны демократы, которые, делая свое дело и даже отрицая социализм, фактически способствуют ему.

Изначальный порок коммунизма и большевизма состоял в том, что, разочаровавшись в темпах эмансипации человека и трудящихся путем демократии, они решили переставить порядок исторической последовательности. «Сначала социализм побеждает полностью в области политической, а затем в области экономической», — поучает и сейчас «Советское Государство и Право» (№ 11 за 49 год), повторяя старую ленинскую учебу, что борьбу за демократию надо подчинять борьбе за социалистическую революцию. Соблазну ускорить процесс освобождения путем обходного движения поддались не только большевики. Достаточно напомнить германских независимых 19-20 гг., в лице Даумига и Криспиена, доказывавших, что «было бы утопией стремиться достичь социализма чрез демократию. Нужно обратное — установить демократию чрез социализм».

Самоочевидно, что политическая, или «формальная» демократия — не полна и не совершенна. Но в эмпирическом мире вообще нет и, вероятно, не может быть полноты совершества. К тому же то, что от Ленина до Бердяева именовалось «реальной» демократией, имело у Гегеля, у которого это различение заимствовано, смысл различения как раз между менее совершенным и более совершенным (Volständig). И не абсурдно ли в поисках «целого» — более совершенного, социализма, — отвергать или умалять значение части или ча-

стичного — демократии. Мы берем это соображение из статьи философа Сиднея Хука, считающего себя — правда, с оговорками — марксистом. Он прибавляет: «Так как я прежде демократ, а потом уже социалист, — поскольку я более глубоко убежден в истинности самого демократического идеала, нежели в одном определенном пути к его осуществлению, — то я считаю, что наши главныя усилия должны быть направлены в сторону теории и практики **политической** демократии, равно как и вытекающих отсюда мероприятий по социализации и контролю». («Der Monat». № 5. 1949. Стр. 15 и 17).

Мир — и идеологии — разделены сейчас не между социализмом и не-социализмом, не по линии отступающего капитализма и анти-капитализма, а по линии тоталитаризма и нетоталитаризма. Любая разновидность последнего включает ту или иную, хотя бы минимальную, долю свободы, тогда как всякая разновидность тоталитаризма ее полностью исключает. В одних случаях тоталитаризм это делает открыто и цинично, как это делал Муссолини, издевавшийся над принципами 89-го года и рекомендовавший без страха и сомнений переступить через труп богини Свободы. Другая разновидность того же тоталитаризма предпочитает цинизму лицемерие и двурушничество: прикрываясь свободой, требуя для себя и своих единомышленников «безграничной свободы», советский тоталитаризм на деле оборачивается «безграничным деспотизмом».

Здесь водораздел — в идеологии и в жизни.

М. Вишняк.

БАЛЬЗАК КАК СОЦИОЛОГ

1.

18-го августа исполняется 100 лет со дня смерти Бальзака. Бальзак — дитя девятнадцатого столетия, современник Кювье и Жоффруа Сэнт-Илера, Конта и Базара. Для Бальзака, как будто, не подлежит никакому сомнению, что «общество» умещается целиком в рамки «природы», является частным случаем последней. Бальзаку, вероятно, и в голову не приходило, что весь труд его жизни опровергает это воззрение. Он предполагал, что он «описывает» человеческое общество, подобно тому, как Бюффон описывал животных. Comédie Humaine должна была стать зоологией человека: «Всегда существовали и будут существовать социальные виды, как существуют зоологические виды» — пишет Бальзак в знаменитом предисловии к «Человеческой Комедии»[1].

«Человеческая Комедия» пестрит такими выражениями, как «физиология», «патология», «анатомия» и т. п. Бальзак любит называть себя «доктором социальной медицины», «ветеринаром неизлечимых болезней». В ту эпоху в литературе было принято заигрывать с естественными науками, подобно тому, как литература нашего времени щеголяет психологическими терминами.

Бальзак никогда не был натуралистом, как Золя. Он не мог быть натуралистом по той же причине, по которой он не мог быть позитивистом или мистиком, хотя ему иногда хотелось быть и тем, и другим, и третьим, пожалуй, даже, в одно и то же время. Бальзак был «формалистом», в нем жила страсть познать человеческое общество во всех его формах, бесконечно сложных и разветвленных.

В сущности говоря, объект Бальзака весьма точно опре-

[1] Oeuvres Complètes. Paris. Calmann Levy. 1903, v. 1, p. 5, — Бальзак цитируется везде, где специально не оговорено, по последнему полному изданию сочинений: Oeuvres Compl. de H. de Balzac. Texte révisé et annoté par M. Bouteron et H. Longnon. Paris, 1912, Louis Conard. Первая цифра означает том, вторая — страницу.

делен — это новое французское общество, как оно создано было Революцией, общество, беспрерывно разлагающееся и беспрерывно заново созидающееся. Это общество представляло большие опасности, не только для непосредственного участника происходящих в нем процессов, но и для писателя, пытающегося его изобразить. Бальзак сознавал опасность того, что «интересный» материал может увлечь его в сторону авантюрного романа. Под конец своей жизни ему пришлось столкнуться с таким соперником, как Дюма. По размаху фантазии Бальзак, во всяком случае, не уступал Дюма, но он от этого соперничества уклонился. История, фабула были для Бальзака второстепенным элементом. За конкретным, исторически данным материалом он видит «общество», как оно представлялось его формальному, социологическому прозрению. «История одного какого либо общества есть история всякого общества» — здесь в зародыше виден весь метод «Человеческой Комедии»[2].

Можно было бы привести много цитат для доказательства того, что Бальзак придавал «форме» исключительное значение. «Каждое общество существует лишь благодаря своей форме» — это изречение одного из бальзаковских резонеров, деревенского священника, одного из персонажей, которым Бальзак любит вкладывать в уста свои мысли. Старая, циничная княгиня де Бламон-Шоври, фрейлина двора Людовика XV, каким-то чудом дожившая до реставрации, издевается над «народом», который «благодаря своему положению, не может ничего понять», потому что он видит лишь «материю вещей», но не замечает «самого существенного, т. е. формы»[3]. Наряду с чувством «формы», стоит увлечение «координированьем», беспрерывные поиски аналогий в социальных формах. Тут Бальзак доходит до настоящего цинизма. Для него, как для всякого истинного социолога, люди представляются лишь деталями систем[4]. Материалом для социологи-

[2] H. de Balzac, Pensées, sujets, fragmens (sic) Ed. origin, de Jacques Crepet. Paris, A. Blaizot, 1910. P. 3. — В письме к Ганской Бальзак называет эту изданную после его смерти записную книжку "le grand parc de mes idées".

[3] La duchesse de Langeais, 13, 296.

[4] «Человек — это деталь, потому что человек — это лишь средство к цели» (из инспирированного и отчасти продиктованного Бальзаком предисловия к неполному изданию его сочинений: "Etudes de meurs (sic) au XIXe. siècle", 1834-37).

ческих построений являются школа и каторжная тюрьма, армия, церковь и канцелярия. Приходится «разделить с Господом Богом труд или удовольствие координировать миры»[5].

Грандиозные социологические построения представляют, однако, одну громадную опасность: они могут привести к бессодержательности, пошлости. Но тут Бальзака спасает его тонкое чутье к нюансам, к переходам и оттенкам. Маркс замечает, что Бальзак исследовал все оттенки скупости. Но все эти оттенки скупости и других человеческих страстей определены у Бальзака не в психологических, а в социологических координатах.

Бальзак, обладавший фантастической способностью вдумываться в психологию своих героев, строго отделяет психологию от социологии. Психология, по Бальзаку, абстрактна, социология конкретна, но в своей конкретности формальна. Бальзак завидовал Мольеру, драмы которого он считал грандиозными психологическими абстракциями, по ту сторону пространства и времени. «Решающим признаком духовного бесплодия является нагромождение фактов. Восхитительная комедия «Мизантроп» показывает, что настоящее искусство состоит в том, чтобы построить дворец на острие иглы»[6].

Но сам Бальзак прибегал именно к методу «нагромождения фактов» с целью социологической характеристики и дифференциации. Мольеровский Гарпагон был психологической абстракцией, в то время, как «скупые» Бальзака имеют географические и социологические корни. Три французских провинции — Анжу, Турень и Берри, — дали Бальзаку три типа скупцов: винодела Грандэ (Eugénie Grandet), врача Ружэ (La Rabouilleuse) и проныру Ла Бодрэ (La Muse du Département). Каждый из них отражает специфическую географическую и социальную среду.

Грандэ, Ружэ и Ла Бодрэ напоминают человекообразных Домье. Все это очень серо и мелко, вообще, провинциально. Другие типы ростовщиков и скупцов порождает парижская богема, свет и полусвет столицы. Это знаменитый Гобсек и элегантный ростовщик Вовинэ (Comédiens sans le savoir). Бальзаковские герои копошатся в тесной сети социальных

---

[5] Предисловие к 2-му изданию Père Goriot, Oeuvres compl., M. Lévy, 1869-72, XXII, 408.

[6] La maison Nucingen, 14, 386.

форм, бегство из которых невозможно. Человек это деталь, вставленная в социальную форму, как в твердую рамку. Вне этой рамки всё лишь случай, насмешка природы над человеком. Разница в несколько миллиграмов фосфора делает человека гением или преступником, великим художником или идиотом, добродетельнейшим человеком или подлецом»[7]. Надо обуздать «случай», «координировать миры». Мы живем в несовершенном, незаконченном обществе. Бальзак ставит себе задачу противопоставить несовершенному обществу какое-то другое более приемлемое, хотя бы с эстетической точки зрения. Faire concurrence à l'état civil — вступить в соперничество с метрическими записями — это было у Бальзака каким-то наваждением.

«Человеческая Комедия», пишет Бальзак, имеет свою географию и историю, свою генеалогию и своих героев; у «Человеческой Комедии» есть свое дворянство и своя буржуазия, свои ремесленники и свои крестьяне, свои политики и своя армия; «Человеческая Комедия» — это особый мир, созданный Бальзаком отчасти в подражание французскому обществу той эпохи, но больше всего по образу и подобию самого Бальзака[8].

Во всяком случае, это общество «Человеческой Комедии» не вполне совпадает с французским обществом первой половины 19 столетия. Это действительность во второй потенции. Да, это Франция, но Франция, перенесенная в некие другие координаты, Франция типологизированная.

Бальзак выражается очень двусмысленно на этот счет. С одной стороны, с гордым смирением, он называет себя добросовестным переписчиком, письмоводителем своей эпохи. «Я не желаю быть ничем иным, как секретарем французского общества»[9]. Одновременно Бальзак влюблен в «систему», он стремится к типологизированью, которое, в конечном счете, отвергает всякое копированье действительности.

---

[7] La peau de chagrin, 27, 60.

[8] Préface de la Com. Hum., Honoré de B., Oeuvres compl., Calm. Lévy, 1903, v. 1, p. 19. — Cerfbeer и Christophe составили в 1893 г. толстый том в 600 страниц, в котором содержатся биографии всех двух тысяч бальзаковских героев. Здесь, в этом "Répertoire de la Comédie Humaine" (Париж 1925; 1 изд. 1893) осуществилась, следовательно, мечта Бальзака вступить в соперничество с метрическими записями.

[9] l. c., стр. 7.

«Не достаточно быть человеком, нужно быть системой», говорит Бальзак в 1835 году своему сотруднику Феликсу Давену[10].

В середине двадцатого столетия слово «система» звучит несколько наивно. Человек нашей эпохи гордится своей бессистемностью. Бальзак жил в эпоху, когда «система», в теории, была представлена такими людьми, как Конт, Фурье, Сэн-Симон и Анфантэн, а на практике Робеспьером и Наполеоном. Всех этих людей объединяет стремление заменить «дурной», иррациональный мир до-революционной эпохи совершенным обществом, организованным по всем правилам чистого разума. Бальзак, прямой наследник этих великих рационализаторов, тоскует по «порядку», по «системе».

Была ли эта тоска, эта влюбленность в систему вполне искренней? Об этом мы скажем ниже. Но, при всем своем рационализме, Бальзак был весьма эмоционален. "Le grand imaginatif" умел ненавидеть. Способность ненавидеть — так же, впрочем, как способность любить, — предполагает большую фантазию. Исходной точкой великой любви Бальзака к «порядку» и «системе» была великая его ненависть к «позорной» июльской монархии. Сколько раз Бальзак выражал свое негодование по поводу этого царства Juste-milieu, лишенного какого либо стиля. Бальзак ненавидел арривизм и аррививстов, владычество банкиров, кокоток, журналистов и адвокатов. Но, прежде всего, ему был ненавистен этот фатальный либеральный «беспорядок». Из этой ненависти и презренья возникла социологическая мечта Бальзака создать, по крайней мере, пером, общество, в котором нашла бы воплощение покоряющая хаос совершенная «иерархия».

Под мраморным бюстом Наполеона, который и теперь еще стоит в рабочем кабинете Бальзака на его квартире на rue Cassini, выгравированы слова: «завершить пером то, что Он начал мечом».

2.

Французское общество, вышедшее из революции, то общество, которое послужило материалом для бальзаковской социологии, — это общество атомизированное, общество, которым руководит всё, что угодно, только не разум. Пара-

[10] Spœlberch de Lovenjoul, Histoire des œuvres de H. de B., Paris 1886, p. 50.

доксальность этого общества заключается в том, что создатели его, люди восемнадцатого столетия, задумали его, как нечто рациональное, а получилось нечто сугубо иррациональное, хаотическое.

Юный английский капитализм восемнадцатого столетия сделал больше двухсот лет тому назад замечательное открытие: корыстолюбие индивидуумов, если только предоставить ему полную свободу действий, приводит неизбежно ко всеобщему благополучию[11]). Вот этому-то Бальзак поверить не мог. Он начисто отрицал возможность длительного существования такого общества. Тут его взгляды совпадают целиком, с одной стороны, со взглядами таких «реакционеров», как де Мэстр и Бональд, и со взглядами революционеров вроде Пьера Леру, с другой.

Индивидуализм в духовной области, который в эпоху Бальзака давно уже перестал быть новизной для западной цивилизации, в области хозяйства и политики всё еще представлялся чем-то неслыханным. Бальзак совершенно ясно видит связь между реформацией и хозяйственным индивидуализмом. «Какое мне дело — так перефразирует современный мещанин великое возмущение Свободной Воли, которое выразили Лютер, Кальвин, Цвингли и Нокс на высотах религиозной философии. — "Chacun pour soi, chacun chez soi", — эти два страшных положения, вместе с «какое мне до этого дело?» — это и есть триединая мудрость буржуа и мелкого собственника... Индивидуализм — это та болезнь, которая нас съедает»[12].

Этой болезни Бальзак противопоставляет свою собственную терапию, тоже не совсем оригинальную. На место триединого символа веры буржуазии Бальзак хочет поставить другую троицу: привилегия, пиетет, иерархия. Нельзя основать общество на поклонении «святому, обожаемому, солидному, милому, грациозному, прекрасному, благородному,

---

[11] "Thus every Part was full of Vice, — Yet the whole Mass a Paradise... The worst of all the Multitude — Did something for the Common Good" (Bernard de Mandeville, The Fable of the Bees or Private Vices, Publik Benefits, The sixth Edition. London. 1722. p. 9). А старший современник Адама Смита, Александр Поп, формулирует оптимистическое социальное мировоззрение своей эпохи в знаменитых строках: "All discord — harmony not understood. All partial evil — universal good".

[12] Le curé de village, 25, 214.

всемогущему луидору», как требует этого бессмертный прохвост Кревель[13]. Перед Бальзаком стоит проблема: как возможна «иерархия», а, следовательно, власть и общественная дисциплина, в обществе, которое основано на принципе обогащения частных лиц. Эта проблема, кстати, сегодня столь же актуальна, как и сто лет тому назад. Социологический анализ Бальзака посвящен, в значительной мере, «классам». Но для Бальзака класс — это не экономическая абстракция. Бальзак видит классовую дифференциацию во всей ее пестроте и сложности. Для Бальзака социальные группировки это не «надстройки» над экономическим основанием. Они живут сами по себе. Экономическая характеристика является одним из составных элементов социальных группировок, не более.

В своих больших, чисто социологических романах "Les Employés", "Les Paysans", "Le Député d'Arcis", "La Maison Nucingen", "César Birotteau" — Бальзак прибегает к своему любимому методу — методу бесконечно малых. Рамки журнальной статьи не позволяют привести все цитаты, сюда относящиеся. Но вот отрывок, позволяющий до некоторой степени догадываться, каков был метод, применяемый Бальзаком в данном случае: «Еслибы можно было прибегнуть в литературе к услугам микроскопа, ...и если можно было бы сфотографировать в увеличенном виде тех древесных тлей, которые разъедают голландские плотины, то перед нами оказались бы почти те-же самые фигуры, как фигуры господ чиновников, показавших свое могущество при создании июльской монархии»[14].

Ярче всего этот метод социального дифференцированья выступает в «Крестьянах». Анализ доходит здесь до ужасающей остроты. Исследователь оказывается, в конце концов, лицом к лицу с какой-то человеческой пылью. Но вот тут-то и начинается социологическое чудо. Эта пыль складывается в странные фигуры, создается «система», которая начинает жить по собственным законам. «Человеческая пыль» выделяет органы, которые служат ее вожделениям, ее интересам. Аморфная крестьянская масса становится агрессивным «классом», стремится к власти. «Десять крестьян, собравшихся в деревенском трактире, представляют собой элементы настоящей большой политики».

[13] La cousine Bette, 17, 342.

[14] Les employês, 19, 75.

Но основной проблемой Бальзака, как и всякого истинного социолога, является проблема власти. «Между Сократом и Христом существовало только два человека: Юлий Цезарь и Сулла»[15]. Для того, чтобы так чувствовать, нужно было родиться в наполеоновскую эпоху, когда так легко можно было наблюдать комплекс «власти» in statu nascendi, когда этот комплекс разжег социальное любопытство в размере, неслыханном со времен гражданских войн древнего Рима.

3.

Анализ социологии власти Бальзака представляет большие трудности. Подсознательные детерминанты этой социологии находятся в области политики и психологии.

Трудно говорить о политических убеждениях Бальзака. Как мог вообще Бальзак с его чудовищной фантазией, не останавливающейся ни перед какими преградами, ломающей все условности, как мог такой человек стать искренним сторонником какой-нибудь политической группы? Для того, чтобы быть активным политиком, нужно в какой-то степени ошибаться насчет своего противника. А вот это как раз не было дано Бальзаку; он понимал всех и всё[16]. Он был слишком любопытен до всего человеческого, он был слишком искренний исследователь, он был слишком **социолог,** чтобы принимать всерьез какое-либо политическое мировоззрение.

В Бальзаке можно различить определенные политические наслоения. Эти наслоения удивительным образом сплетаются с женщинами, игравшими роль в жизни Бальзака. Зульма Карро и республиканство, г-жа де Берни и либерализм, герцогиня д'Абрантес и бонапартизм, герцогиня де Кастри и легитимизм. . . Политические-ли идеологии искали себе соответственных представителей в лице этих женских образов, или женщины эти оказали влияние на развитие идеологии Бальзака? Вероятно, было и то, и другое. Но одно уже обилие этих политических наслоений и их связь с эротикой заставляет ду-

---

[15] **H. de Balzac, Pensées, sujets, fragmens, Paris 1910, p. 16.**

[16] **«Слушая этих людей, я чувствовал, что я могу слиться с их душами. Я чувствовал их лохмотья на своей спине, на ногах моих были их дырявые башмаки. Их страсти, их нужда, все это проникало в мою душу, или, вернее, моя душа переливалась в их душу». Facino Cane, 16, 372.**

мать, что тут налицо весьма сложное соотношение. Во всяком случае, бальзаковскую «политику» надлежит, до некоторой степени, рассматривать сквозь призму эротики и социологии.

Исходным пунктом для бальзаковской социологии власти является понятие «благодати» (харизма) в формальном смысле слова. В этом Бальзак сходится с Максом Вебером.

Удивительно, как никому не пришла до сих пор в голову мысль составить, на основании «Человеческой Комедии», большую хрестоматию по социологии Макса Вебера. Кто пожелал бы, например, конкретно представить себе, что такое «харизма», тому достаточно обратиться к тому изображению Наполеона, которое дает старый солдат Гогела[17]. Император освобожденный от всех человеческих черт, встает перед нами, как мечта-вожделение в чистом виде, как солдатский мессия.

Но с социологической точки зрения этот фантом вставлен в весьма определенные рамки. Характерно для Наполеона то, — и в этом его харизматическое значение, — что он опрокидывает весь старый иерархический порядок. Мечта «народа» о герое, который, устранив все ненавистные промежуточные инстанции, устанавливает непосредственные отношения между народом и «божеством», проявляется здесь с элементарно наивной силой. «Да, вот вам доказательство того, что он был сыном божьим, избранным для того, чтобы быть отцом солдат: ведь никто никогда не видел его ни лейтенантом, ни капитаном! Чорт возьми, он сразу стал главнокомандующим!»[18]

Старая иерархия разрушена, лестница, ведущая с земли на небо, открыта для всех, тысячелетнее царство наступило. «Ах, какое прекрасное время! Не успеешь оглянуться, как полковники становились генералами, генералы маршалами, маршалы — королями... Да, даже саперы, умевшие читать и писать, внезапно получали дворянское звание!»[19]

---

[17] Le médecin de campagne, chap. III: Le Napoléon du peuple; 24, 170-190.

[18] l. c., 170.

[19] l. c., 180. — Так изображается наполеоновская харизма в рассказе старого, немного подвыпившего инвалида, разглагольствующего перед молодыми крестьянками и батраками в каком-то сарае. Эту картину мы знаем из бесчисленных наивных литографий современника Бальзака, Шарле. Гораздо бледнее, абстрактнее, хо-

Для многих бальзакистов, напр. для Поля Буржэ, представлялось загадкой, почему Бальзак, этот "Napoléon littéraire", страстно обожавший Наполеона, не изобразил по настоящему ни в одном из своих романов "notre grand Empereur". Наполеон является у Бальзака лишь эпизодически, в качестве второстепенной фигуры.

Бальзак боялся сюжета «Наполеон». Он боялся вообще скатиться в область исторического романа. Наполеон нужен Бальзаку, как исходный пункт, как неразложимая основа, как невидимое солнце, которое озаряет бальзаковский мир. Одним словом, Наполеон нужен Бальзаку, как «легенда». Эта легенда не устояла бы перед ножом социологического анализа. Харизматический герой был бы разоблачен, как «деталь», как средство к цели. "L'homme était le détail, parce qu'il était le moyen"[20].

Бальзак не мог, по чисто психологическим мотивам, подвергнуть анализу наполеоновскую харизму, но он не мог также возвеличивать Наполеона, по примеру романтиков. В этом сказалось призвание его, как социолога. Ему оставалось только дать картину развития харизмы во всех ее разветвлениях.

Макс Вебер учит, что каждая харизма рано или поздно, именно в случае своей удачи, вынуждена сойти с небес на землю. Легенда становится конкретностью, харизма переживает то, что Вебер называет "Versachlichung". У Бальзака один старый адвокат говорит, что империи основываются мечом, а заканчивают свою жизнь в канцеляриях[21]. Носители-же харизмы становятся бюрократами, а иногда прохвостами. В каком бы обличии, однако, они впоследствии ни появлялись, в качестве ли сановников реставрации, салонных львов или мошенников, они распространяют вокруг себя лучи наполеоновской харизмы, "le soleil d'Austerlitz".

лоднее выглядит интеллигентское изображение той-же наполеоновской харизмы из-под пера другого современника Бальзака: «...бонапартизм... это идея единовластия высшей силы, которая преследует благо народа...» (Heine, Französische Zustände).

[20] Oeuvres compl., 1872, M. Lévy, XXII, 377. — Толстой безжалостно разбил наполеоновскую харизму, показав, что Наполеон был социологической «деталью». По мотивам, о которых мы уже говорили, Бальзак избегал такого развенчания Наполеона, который был ему нужен, как воплощение «легенды».

[21] Le médecin de campagne, 24, 163.

4.

Бальзаковская социология, — а вместе с тем и бальзаковская политика, — имеет дело с тремя системами: легитимизмом, июльской монархией и бонапартизмом. В сущности говоря, Бальзак, в своем негодовании против juste milieu, противопоставляет «буржуазному» режиму Луи Филиппа бурбонскую монархию. Но Бальзак понимает, что легитимизму не под силу справиться с проблемами новой Франции. Для разрешения основной проблемы, которая встает перед всяким обществом на другой день после «большой» революции: как соединить демократию с иерархизмом, — Бальзаку мерещится какой-то союз между легитимизмом и бонапартизмом. Всё это очень неясно. Политические концепции Бальзака очень шатки. Но задача, которую он себе ставит, дает ему повод для одного из сложнейших социологических и литературных построений. Мы говорим, конечно, о знаменитом романе "La duchesse de Langeais".

Чтобы понять социологический и литературный пафос "La duchesse de Langeais", этого, пожалуй, самого характерного для Бальзака романа, надо иметь в виду, что Бальзак, страстно влюбленный в иерархию, яростный ненавистник всех арривистов и парвеню, был сам разночинец (un roturier), парвеню, у которого глаза и зубы так и горели отведать сладких пирогов Сэн-Жерменского предместья.

Бальзак, этот любовник герцогинь старой и новой чеканки, доверенное лицо князей империи и реставрации, лев аристократических салонов, был в действительности самым настоящим парвеню. Он происходил от гасконских крестьян и парижских ремесленников, т. е. именно из тех социальных слоев, которые боролись в первых рядах за создание новой буржуазной цивилизации Европы. Из этих политически и социально «свежих» глубин возник тот грандиозный поток людей и идей, который в течение нескольких десятилетий совершенно изменил лицо старого континента и привел в изумление весь земной шар неиссякаемой мощью своей социальной и идеологической энергии.

Весь этот водоворот проникнут одной неслыханной страстью: parvenir! Социальный успех во что бы то ни стало! Эту страсть Бальзак всосал из всей атмосферы своей эпохи. Прибавьте к этому титаническую фантазию и переходящую все человеческие масштабы непрактичность, наконец, волю к творчеству, которая ломала все внешние препятствия, и вы

поймете, на чем основана циклопическая постройка «Человеческой Комедии». «Жизнь заставила меня описывать мои желания и мою жажду, вместо того, чтобы удовлетворять их»[22].

Бальзака трудно назвать неудачником, но сам он горько жаловался на свои неудачи. Литературная слава не давала ему удовлетворения: ведь он был лишь одним из многочисленных парижских «гениев», которые попеременно то возносились критикой до небес, то низвергались в грязь. Но бальзаковский ressentiment нельзя объяснить только психологическими методами, это чувство неудовлетворенности, которое испытывает Бальзак, подлежит, в первую очередь, социологическому анализу. Даже эротика, и, может быть, в первую голову эротика, «Человеческой Комедии» нуждается в социологической интерпретации. Ключ ко всему этому сложному комплексу дает роман герцогини де Ланжэ с наполеоновским генералом Монриво.

В любовной борьбе с герцогиней де Ланжэ генерал Монриво не только представляет вечно-мужское начало в противовес женскому властолюбию и коварству, он в то же время является носителем брутальной наполеоновской «идеи», не отступающей ни перед чем, чтобы доказать свое превосходство над ветхим бурбонским легитимизмом.

В "La duchesse de Langeais" Бальзак описал свои отношения с герцогиней де Кастри. Henriette-Claudine de Maillé de Castries принадлежала к стариннейшей туренской аристократии; ее отец был герцог и пэр Франции, ее мать была в родстве с Стюартами. Замужем она была также за герцогом и полковником королевской гвардии[23]. Одним словом, tout ce qu'il y a de plus faubourg St. Germain! Любовные связи герцогини носили такой же аристократичный характер, как ее родство: большой любовью ее жизни был князь Виктор

[22] «...я еще молод, а тарелка моя пуста, и я голоден!.. mes deux seuls et immenses désirs, être célèbre et être aimé, seront-ils jamais satisfaits?..." (H. de B., Correspondance, Paris 1876, p. 35). — «Он мечтал о миллионах, ...всю жизнь он не мог освободиться от этого фантома» (Hector Berlioz, Mémoires, 1803-65, 2. série, Paris 1878, p. 268). — Незадолго до своей смерти, Б., в письме к Ганской, выражает надежду стать членом трех французских академий и попасть в парламент. Еще более фантастичным было желание заплатить все свои долги (H. de B., Lettres à l'Etrangère, II, p. 3).

[23] Arrigon, Les années romantiques de Balzac. Paris 1927.

Меттерних, сын знаменитого канцлера[24]. Клан Кастри был важным опорным пунктом легитимистов в их борьбе с июльской монархией. Бальзак как раз в то время был тесно связан с легитимистами; он сотрудничал в легитимистской прессе и даже выставил свою кандидатуру в парламент в качестве легитимиста.

В истории литературы «Герцогиня де Ланжэ» обычно рассматривается, как проявление личной мести Бальзака по отношению к г-же де Кастри, которая не хотела удовлетворить его страсть[25]. Спорить против этого не приходится. Об отношениях между Бальзаком и герцогиней имеется, однако, несколько версий. Но Бальзак не был бы самим собой, если бы личное недовольство герцогиней не вызвало бы у него эмоций чисто социологического характера. В «Герцогине де Ланжэ» Бальзак мстит не столько женщине, сколько касте, к которой она принадлежит.

Женщина и каста сливаются тут в магии бальзаковского творчества, социологического и эротического. Как старается Бальзак завоевать расположение и женщины, и касты, как он любит и ненавидит обеих, как он старается их спасти, и как он, в конце концов, проклинает их обеих. Никогда еще ни одна женщина, ни одно сословие не подвергались таким оскорблениям! Да, эта аристократия и эта герцогиня больны, смертельно больны, и страшные симптомы этой болезни — это их холодность и мелочность. «Это мелочная и холодная эпоха, это эпоха, лишенная поэзии»[26] — так характеризует Бальзак реставрацию. А вот какой приговор выносит Бальзак своей герцогине: «Эти страсти, вернее, полустрасти, эта фикция величия при полном отсутствии его в действительности, эти холодные чувства и эти горячие излияния, — всё это неизбежно вытекало из ее положения и из положения той аристократии, к которой она принадлежала»[27].

Но как страстно желал Бальзак спасти их и излечить — эту молодую женщину и эту старую аристократию! Он, сын

---

[24] Романтический образ герцогини де Кастри вдохновил, еще до Бальзака, Стендаля. Ср. R. Lebègue в предисловии к роману Стендаля "Armance", Paris 1925.

[25] См., например, предисловие известного бальзакиста М. Бутерона к "Correspondance inédite de H. de B. avec La Duchesse de Castries", Paris 1928 (Les Cahiers Balzaciens, No. 6).

[26] La duchesse de Langeais, 13, 195.

[27] l. c., 191.

молодого и здорового класса, предлагает себя в качестве политического и эротического врача. Бальзаком владела совершенно неосуществимая мечта обновить ветхое сэн-жерменское предместье с головы до ног, превратить эту стареющую, усталую олигархию в прогрессивную, постоянно возобновляющуюся снизу аристократию, в действительное «владычество лучших».

Бальзак ставит аристократии следующий ультиматум, имея в виду, конечно, самого себя: «...аристократия должна была бы найти в самой себе какого-нибудь Наполеона или, на худой конец, Ришелье. Если же такового не оказалось бы, то следовало бы обратиться к мансардам, где, возможно, такой гений умирает с голоду; надо было бы ассимилировать его, как английская палата пэров беспрерывно ассимилирует аристократов случая. Надо было бы дать этому человеку приказ не щадить ничего, вырезывать беспощадно всю гниль, чтобы обновить старое дерево аристократии»[28].

Бальзак, следовательно, мечтал о роли Наполеона. В этих мечтах большую роль играл, разумеется, комплекс социальной неполноценности. Он чувствовал себя всегда в передней, а ему хотелось попасть в гостиную и, по возможности, даже в спальню. Бальзак, в сущности говоря, здоровенный деревенский парень, чувствовал в себе достаточно силы, чтобы сыграть роль политического мессии. Он, во всяком случае, считал себя способным выступить как "médecin politique". Но — Бальзак-то сознавал это — для исцеления необходимо, чтобы больной желал выздороветь, а вот эта-то воля к выздоровлению как раз и отсутствовала у французской аристократии. Эта каста не желала никакого движения, не хотела, чтобы ее куда-нибудь двигали. Она чувствовала себя в полном упадке, была неспособна предпринять что-либо.

Может быть, за этой пассивностью скрывалась большая мудрость. Sint ut sunt, aut non sint! В этом изречении, произнесенном когда-то с вершины ватиканского трона, содержится полная программа для стареющих сословий, для ветхих учреждений, для которых реформа часто означает смерть. Бальзак, конечно, знал это, как он знал всё вообще, что касалось человеческого общества. Но с этой мечтой об обновлении старой аристократии у него слишком много связано, он слишком влюблен в эту мечту. Только поэт может

[28] l. c., 186.

так любить и так ненавидеть. Тут не может быть никаких компромиссов. Эта каста, эта женщина не желают ему отдаться?! Тогда они должны умереть. В этом истинный смысл "Duchesse de Langeais". Ne touchez pas à la hache — таково было первоначальное название этого романа. Не смейте касаться моих мечтаний!..

5.

Один нахальный сноб, принадлежавший, по всей вероятности, к той тайной ложе дураков, которая отравляет существование всех выдающихся людей, однажды бросил Бальзаку — так рассказывает один современник, — в тысячный раз «остроумный» упрек в том, что его романы не соответствуют действительности, что бальзаковские герои существуют только в фантазии автора, и т. д. В ответ на это Бальзак, как передает тот же современник, воскликнул: мой труд охватывает все классы французского общества 19-го столетия; через пятьсот, через две тысячи лет, когда ученые, историки, археологи, захотят изучать Францию времен империи, реставрации и июльской монархии, они должны будут обратиться к моим трудам[29].

В социологических монографиях «Человеческой Комедии» содержится, действительно, громадное нагромождение фактов и наблюдений, нагромождение, которого, как мы знаем, Бальзак так боялся. И при всем том, не был ли только что цитированный почтенный зоил до некоторой степени прав? Можно с некоторой натяжкой сказать, — да это и говорилось много раз, — что такие фигуры, как Онегин,, Печорин, Рудин появились сперва в литературе, а потом в жизни. Механизм воздействия литературы на жизнь не нуждается в данном случае ни в каком объяснении. Но как объяснить, что в «Человеческой Комедии» меньше отразилось современное Бальзаку общество, чем то общество, которое возникло после его смерти? А это факт, уже нередко отмеченный в исследованиях о Бальзаке. Объясняют это обычно фантазией, даром предвиденья. Но, в сущности говоря, это ничего не объясняет. Бальзак, во всяком случае, не удовлетворился бы такими объяснениями. Le grand imagina-

[29] **Balzac mis à nu et les dessous de la société romantique d'après les Mémoires inédits d'un contemporain. Paris, C. Gaillandre, 1928, p. 206.**

tif бывал иногда и великим рационалистом. В эти моменты он склонен был полностью отрицать не только всё «фантастическое», но и самоё фантазию. «Фантастического не существует. Мы воображаем только то, что есть, или то, что однажды будет, или то, что уже существовало»[30].

Это, разумеется, преувеличение, одно из тех преувеличений, на которые так падок был Бальзак. Он знал, что никакой анализ не может заменить творческой фантазии. Décomposer n'est pas créer, разлагать на составные части не значит творить. Это изречение Бальзака относится к тому же времени, когда он заставляет своего Бальтазара Клаэса (Balthazar Claës), мистика и позитивиста, формулировать разницу между "pouvoir de vision" и "pouvoir de déduction"[31].

Но фантазия дала Бальзаку лишь материал. Дух, который живет в этих построениях, — детище страстной его влюбленности в социальную «форму». Гнаться за этой формой во всех ее вариациях, выслеживать ее в самых ее тайниках, охотиться за ней всегда и всюду — в этом автор «Человеческой Комедии» видел свое призвание. Вот почему его романы отобразили не только современное ему общество, но и грядущее. Бальзак продумал и сконструировал все возможные, не только уже существующие, комбинации и пермутации социальной формы. Он хотел создать готовые кадры для любого социального развития. Если это ему не удалось до конца, то это не было поражением: даже самая сильная конструктивная воля не в состоянии предугадать и закрепить навсегда социальные формы.

Г. Бинштоk

[30] H. de B., Pensées, sujets, fragmens, p. 19.
[31] La recherche de l'Absolu, 28, 192.

О ПОСЛЕВОЕННОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ПОЭЗИИ

После войны издание стихов в эмигрантских условиях, повидимому, стало еще более затруднительным, чем было до 1939 г. Появилось всего только несколько книжек-тетрадок. Но зато недавно был выпущен сборник зарубежных поэтов «Эстафета», под редакцией И. Яссен, В. Андреева и Ю. Терапиано. Эту книгу следует приветствовать, хотя она и не дает полной картины. Действительно, «Эстафета» не может идти в сравнение с антологией «Якорь», выпущенной под редакцией А. Адамовича (в 1936 году). В «Якоре» тоже были пробелы, но в «Эстафете» их гораздо больше (отсутствуют Г. Иванов, Г. Адамович, Л. Червинская и др. значительные поэты). Но всё таки этот сборник имеет свои заслуги. Особенно следует похвалить редакторов за включение стихов многих молодых поэтов.

Судить же о современной зарубежной поэзии надо не только по «Эстафете» и некоторым дошедшим до Нью Иорка сборникам, но также по стихам, появившимся в журналах и альманахах — их, к счастью, не меньше, чем до войны («Новый Журнал», «Возрождение», «Новоселье», «Грани»); особо следует выделить альманах «Орион» (1947 г.).

Столь редкий в наши дни читатель стихов (впрочем, и во все времена редкий!) — может быть, пожелает найти в послевоенных эмигрантских стихах отражения эпохи... Ведь мы только что пережили апокалиптическую бурю и ждем следующей... Следы этой бури действительно находим в некоторых стихах, помещенных в той же «Эстафете», но вместе с тем нельзя не убедиться, что какого-то нового «эпохального» слова эмигрантскими поэтами сказано не было. Да это и естественно. В «минуты роковые» песен не поют — и нужны годы, чтобы уяснить себе тайный смысл этих минут.

В Париже, который до сих пор остается столицей русской эмиграции, всё еще преобладают, хотя и не господствуют прежние, уже давно хорошо знакомые настроения русского Монпарнасса и его главного законодателя Адамовича. Он и теперь почти монопольный «заказчик» поэтов... Правда, очень многие не следуют его «заказу», но попрежнему не могут не считаться с его мнением.

«Заказ» Адамовича никогда не отличался четкостью. У него нет никакого литературного плана действий, как у Брюсова в «Весах», у Гумилева в «Аполлоне», у футуристов в их многочисленных манифестах, но за это его никак нельзя осуждать. Программы литературных школ в лучшем случае переживают одно десятилетие, а затем обычно вызывают только ироническую улыбку или же недоумение, переходящее в скуку. Одни профессиональные литературоведы еще долго принимают их всерьез и вдобавок навязывают свою собственную программу уже умершим поэтам.

Значение Адамовича в том, что он, метр, уклоняющийся от каких бы от ни было формулировок, сумел создать литературную атмосферу для зарубежной поэзии в парижских кафе; и «флюиды» этой атмосферы передавались и передаются далеко за пределы Парижа...

Это атмосфера — лирическая.

В этой атмосфере — ду́ши, в поисках «самого главного», Бога, человечности, правды, любви, а также России, раскрываются не без страха, но и не без горячности, и затем, охлажденные жестоким анализом, как товарищеским, так и собственным, стыдливо закрываются опять... В результате этих «опытов» — являются стихи — чаще всего узко-автобиографические и кружковые. Повидимому, целью (хотя бы и неосознанной) пишущих является: каждый порыв, каждое движение сердца и догадку ума проверить всеми возможными правдами, чтобы в конце концов дописаться до чего-то близкого к этим строкам Иннокентия Анненского

> А если грязь и низость только мука
> По где-то там сияющей красе...

Или же до тех стихов, о которых мечтал сам Адамович:

> Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
> Растерянно шептал на казнь приговоренный,

И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли...

Анненский, незадолго до смерти «нежным и зловещим» голосом читавший свои стихи первым акмеистам, — именно тот авторитет, который преимущественно, в интерпретации Адамовича, стал общеобязательным для русского поэтического Монпарнасса.

Почему именно Анненский так полюбился Адамовичу и его духовным сынам? И кто такой Анненский — этот «последний из царскосельских лебедей?» Ведь его так мало знают у нас. Его имя не вошло в обычный культурный обиход.

Анненский († 1909) — поэт обреченно-одинокий и нервно-капризный. Его трагедия в том, что он (при большом даре) усумнился в самом существе поэзии и при этом продолжал мучительно, но смутно надеяться, что его неверие в искусство приведет к вере — не эстетической, а другой, настоящей. Если пристально вглядеться в духовный облик Анненского, то станет очевидным, что у него, эллиниста, переводчика древнегреческих трагедий, изощренного ученика французских символистов и яркого индивидуалиста, имелись чисто-русские черты: сомнение в форме (мастером которой он был), сомнение в культуре (которой он так удивительно владел) и тоска по настоящей вере... Повидимому, именно такой Анненский был усвоен (через Адамовича) на русском Монпарнассе. Сам же Адамович анализ Анненского еще усиливает толстовским «анти-культурным» анализом... Но, может быть, он всё же надеется, что под этим тяжелым обстрелом что-то останется от поэзии (если она чего-нибудь стоит!) — самое серьезное и чистое, близкое ангельским «звукам небес» Лермонтова...

Но почему именно Анненский оказался так убедителен для русских зарубежных поэтов?

По Адамовичу — после гибели надежд в пору революции, в несчастных условиях эмиграции, на берегах Сены, и на всех вообще чужих берегах, всякая «уверенная в себя» поэзия невозможна. Именно поэтому он так порицал героику Марины Цветаевой, которая оказалась слишком сильным поэтом для эмиграции... Он упрекал ее в позе, не замечая или не желая заметить непосредственности ее огромного, щедрого и трагического дарования. Для него — героическая муза Цветаевой залетала слишком высоко (что уже якобы подозрительно!).

Надо же летать низко (ближе к земле), чтобы не предать землю во имя какого-то большого, но далекого и холодного неба. На то же небо, что сияет в лучах любви, можно только смутно надеяться. Надежда — то заветное слово, которое остается для него святой реальностью. Вера лучше надежды, но вера, по априорному убеждению Адамовича, эмигрантскому поэту едва ли доступна. Вера может быть только ложным самоутешением, самообманом, т. е. иллюзией, псевдо-верой. Если только мы искренны и серьезны, то дальше надежды идти не можем.

Вот, по моему разумению, то, чему — нет, нельзя сказать — учил, а то, что Адамович внушал и внушает всем, кто дышал и дышет его воздухом... его парижской атмосферой. Глубже всего надышались этим воздухом покойный Штейгер*) и Лидия Червинская.

Штейгер умер в 1945 году. Он был, по словам Адамовича, — «подстреленная птица»; и причиной его ранней гибели был не только туберлулез. Он не вынес ужасов войны, хотя только издали «внимал» им в своей швейцарской санатории. У него был вообще ужас перед жизнью — перед торжеством неправды в ней. Этот ужас не помешал ему сделаться мастером — мастером в малом. Его лучшие стихотворения (обычно в пять-шесть строк), законченны, совершенны. В них горечь, неблагодарность (так он назвал один свой сборник стихов)... Как будто никакого просвета для него не было. Но каждая его лирическая «миниатюра» одушевлена именно надеждой на какую-то нечаянную радость (а вдруг мы поверим, полюбим по-настоящему...)

Червинская пишет умело, но ни в одном из своих стихотворений она не может или вернее даже не хочет ограничить тему. Отсюда — некоторая капризность изложения. Она взрослее Штейгера с его детски-беспомощной обидой на жизнь (однако именно эта детская обида заставляет нас любить штейгеровские стихи, доверяться его поэзии...) В Русском сборнике, в «актуальном» стихотворении «1945», она пишет о празднике торжествующего резистанса в Париже: Эх, хорошо, что кончилась война и празднуют свободу и победу... а что же «для нас»?

*) Недавно изд-м «Рифма» в Париже выпущен его сборник стихов «Дважды два четыре» (1926-1939). Это же изд-во подготовляет к печати ряд других сборников.

Для нас свобода, нищета
И одинокий подвиг созерцанья...

Здесь, пожалуй, ей удалось выразить profession de foi многих парижских поэтов. Они, действительно, попрежнему созерцают; и это их созерцание сводится к горестному анализу (по Анненскому). Это своего рода стоицизм, но без героизма, т. е. бездейственный... Поэтому, вопреки Червинской — аналитическое, разлагающее созерцание парижских поэтов едва ли можно назвать подвигом. Ведь горестно созерцается не столько мир, жизнь, и не образ и подобие Божие в себе, сколько — пусть очень мучительной, но только **частной** жизнью живущее **я**. Монпарнасское самокопание часто отзывается самовлюбленностью, флиртом с самим собой, и поэтому оно редко достигает трагизма. Имеет ли смысл делиться своими узкочастными настроениями всё на ту же тему, как это делают многие и старые, и молодые поэты в той же «Эстафете»? Это не столько подвиг созерцанья, сколько — просто лирические частные жалобы; они становятся принадлежностью какого-то хорошего тона, который в свое время так жестоко осуждался В. Ф. Ходасевичем. Но большинство поэтов к его предостерегающему голосу не хотело прислушиваться.

Надо признать, что и этим частным жалобам следует отдать предпочтение перед стихами, претендующими на красивость. Однако, таких вещей немного. Судить же следует не по худшему, а по лучшему. Удачи несомненно имеются, как у поэтов, вращающихся в орбите Адамовича, так и у тех, которые вне этой орбиты. Отмечу также, что Адамович не только не склонен говорить о достижениях в собственном кругу, но скорее недоверчив к удачам и жестоко порицает лирические черновики.

Теперь обращусь опять к отдельным поэтам. К сожалению, не имею возможности сказать обо всех. Ведь поэтов в эмиграции, пожалуй, не меньше ста — цифра устрашающая! При этом имею в виду только тех, которые печатались в журналах... Но всё таки, не боясь со стороны читателя обвинений в чрезмерной любезности, готов утверждать, что у всех этих ста поэтов можно найти стихи, имеющие прелесть не только в глазах автора.

Ладинский — один из очень сильных поэтов эмигрантского поколенья. Он щедро одарен и прекрасно владеет стихом. Он — не от Анненского, а от Осипа Мандельштама. Словарь его включает мифологические и исторические имена-символы. Чувства, им владеющие — нежность, прикрывающаяся легкой иронией. Поэзия Ладинского — это агония позднеакмеистического, празднично-хрупкого **мира искусства.** Его стихи — приглашение на бал с обреченными воздушными красавицами... Теперь Ладинский пишет не хуже, чем до войны. Но в последних его вещах нет того волшебства, которое так привлекало в его сборниках «Черное и Голубое» и «Северное Сердце».

Есть несомненное мастерство у Ю. Терапиано. В противоположность оскудевающему Ладинскому — он духовно растет и крепнет. Но, попрежнему ему вредит пристрастие к холодному великолепию, к полотнам «парнасского» стиля. Однако, нельзя без волнения читать его чисто лирические стихи:

Утром, в ослепительном сияньи,
Ночью при мерцающей луне,
Дальний отблеск, смутное сознанье
Вдруг становится доступным мне...

(«Новоселье», 19, 1945).

Необыкновенно щедро одаренный Довид Кнут пишет преимущественно о Палестине. В прежних его стихах — библейско-эротических и, конечно, об особенном «еврейско-русском воздухе», было больше силы. (Его посл. сборник «Избранные стихи», 1949).

Мастерство В. Смоленского прежде не укрепляло доверия к его поэзии. Темы его были очень монпарнасскими — об одиночестве, смерти... Стихи казались слишком гладкими, без сучка, без задоринки. Но некоторые из его последних вещей — настоящие.

Повидимому, за последние годы очень окреп Раевский. (Сборн. «Новые стихи», 1946). Он и прежде возбуждал доверие к своему дарованию, а теперь создал свой стиль душевной, доброй поэзии, близкой по грустно-мягкому тону Полонскому, но при этом без какого бы то ни было литературного влияния, которому вообще не следует придавать большого значения, если мы говорим о самостоятельном поэте. Вот прекрасное

стихотворение Раевского, которое, может быть, и является именно «актуальным» после пережитой нами апокалиптической бури:

Не хрустальный бокал, не хиосская гроздь,
А стакан и простое вино;
Не в пурпурной одежде торжественный гость:
В тесной комнате полутемно,
И усталый напротив тебя человек
Молчаливо сидит, свой же брат,
И глаза из-под полуопущенных век
Одиноко и грустно глядят.
Ты наверное знаешь, зачем он пришел;
Не для выспренних слов и речей.
Так поставь же ему угощенье на стол
И вина неприметно подлей.
Может быть, от беседы, вина и тепла
Отойдет, улыбнется он вдруг, —
И увидишь вся комната стала светла,
И сияние льется вокруг (Сб. «Эстафета»).

Тонко-восприимчивый Закович был всегда очень типичен именно для кофейно-кружкового Монпарнасса, но всё как-то не мог найти своего тона, воплотиться в адэкватной форме. Однако, нельзя было не довериться его обещаниям. В «Эстафете» было помещено одно его прекрасное стихотворение о Рождестве. В нем он рискнул преодолеть свои только частные настроения и создал прекрасную вещь — и совсем не в духе Анненского, а с какими-то пушкинскими интонациями, и избегнул при этом стилизации, потому что остался самим собой. Это стихотворение как будто безнадежно, но есть в нем свет:

Зима, зима... Рождественские дни.
Уж скоро мы сподобимся, надеюсь,
Отпраздновать с друзьями иль одни,
Под восковыми звездами, рассеясь;
И позабыв о скучном, о дневном,
Мы в эту ночь о чем-то (о родном,
Но издавна потерянном) услышим.
В потрескиваньи елочных огней,
В молчаньи снега, спящего на крышах,
В словах гитары... Но в который раз
Мы слышим этот елочный рассказ.

Выходя «из рамок литературы» хочется отметить кажущуюся по первому впечатлению неправдоподобной «актуальность» и других новых вещей Раевского, а также вышеприведенного стихотворения Заковича. В них светлая доброта и еще некоторая усталость после пережитого за эти годы. В них тоска по человеческому теплу, по теплому жилью на голом пепелище. Но чтобы сохранить это тепло нужно бороться, а сил для борьбы мало, очень мало... У Анненского этой светлой доброты не было, но зато он — пусть иногда с какой-то неврастенической судорожностью защищал свою безнадежную позицию и рвался к окончательной «сияющей красе», в которую так и не смог поверить... Существенно же, что некоторые поэты, повидимому, в соответствии с новым духом времени стремятся к «оправданию добра». Но остается открытым вопрос — сумеют ли поэты преодолеть в себе душевную усталость и найти силу духа для этого «оправдания».

Какая-то внутренняя связь с современностью чувствуется также в последней строфе одного стихотворения Х. Кротковой:

Чем я живу? — Усмешкой: тщись,
Особь, себя утвердить нерушимо.
Чем я живу? — Улыбкой: жизнь, —
Невероятно, но выносима. («Эстафета»).

Здесь уже не усталость, а бодрость, которая как будто внушает доверие. В этих резко звучащих стихах ритм удачно подчинен смысловой интонации фразы (как у Цветаевой). Если бы Кротковой удалось написать еще несколько таких вещей с интонационным ритмом — это была бы большая удача, и не только литературная, а победа духа, и, конечно, для такой победы необходима духовная сила, а не только уменье.

Новую чистую струю внес Игорь Чиннов. Никакой актуальности в нем нет, но в его поэзии находим черты, которые хотелось бы назвать вечными, хотя условность этого выражения в плане нашей жизни достаточно очевидна. Чиннов в атмосфере Адамовича, и вместе — сам по себе. Расплывчатости или сектантской (кружковой) капризности в нем нет. Можно говорить о его мастерстве.

Некоторые его горькие признания: «Умрешь. — И не мечтай о чуде...» как будто могут показаться слишком традиционно-монпарнасскими. Но чудо истинной поэзии всегда чудо, за которое хочется благодарить. Есть и чудесность и совершенство в этом его стихотворении:

Так посмотришь небрежно
И не вспомнится позже
Этот снег неизбежный,
Этот светленький дождик.
Незаметно задремлешь,
И не видеть во сне бы
Оснеженную землю,
Светлосерое небо.
Это радостный признак,
Это счастье поверьте:
Равнодушие к жизни
И предчувствие смерти.

В чем чудесность этого стихотворения? Не в том ли доверии к напеву, внутренней музыке — без которой невозможна поэзия?

Жестокий анализ, даже придирки рассудка, нужны. В этом смысле Адамович прав. Без анализа и придирок стихи слишком легко делаются, как всякий дешевый товар. В своей поэтической лаборатории вероятно и Чиннов жестоко придирается к себе. Но это только подготовка. Главное же — поэт должен быть имеющим уши, чтобы слышать; и в какой-то независящий от него момент, который никогда нельзя предугадать, он должен ответить на зов, принять дары, посылаемые — кем мы не знаем, но во всяком случае — кем-то другим, качественно отличным от нашего суетного тщеславного эмпирического «я» (но не внешним, а внутренним по отношению к нам). Чиннов, повидимому, всегда готовил себя к принятию этих даров и несколько раз ему удалось их принять. Именно здесь поэзия (по Бремону) соприкасается с религией. Но удержаться на этой высоте, которую без боязни можно назвать мистической, — трудно. Последняя строфа вышеприведенного стихотворения Чиннова его не портит, но это уже не мистика поэзии, а логически завершающие слова...

Хотелось бы отметить еще многих и многое, но обилие имен неуместно в обзоре.

Если и не вопреки влиянию Адамовича, то всё таки скорее без его санкции — несколько выдающихся эмигрантских поэтов идут не путем Анненского. Это поэты, ищущие новых способов выражения.

Так, Анна Присманова (посл. сборник — «Соль», 1949) героически не боясь смешного, и иногда наперекор всем правилам языка, создала свой особый мир, не лишенный странной привлекательности. У ней тема, которая долго была запретной: тема лирически рассказанной повести в стихах. Здесь всегда большая опасность: опасность прозы. Если это повесть, то возникает вопрос: а не лучше ли было передать ее в прозе?

В опытах Присмановой много чудачества, но ей удалось достигнуть своеобразной выразительности. Вот образчик:

Он сделан был из желтых кирпичей,
и всё вокруг весной дышало, кроме
смирительных рубашек и ключей
для тех, что проживали в желтом доме.
Они гуляли парами порой,
но двигался иной и в одиночку...
Я помню грачий, солнце над горой,
и их глаза, направленные в точку.

(«Садовник», Эстафета)

Интересно, что в поисках нового повествовательного стиля Присманова в своих «Эпизодах» («Детство Некрасова», напечатанное в «Новоселье»), пытается приспособить для своих целей трехсложные некрасовские размеры и переделывает на свой лад (**остраняет,** как сказали бы формалисты школы Виктора Шкловского) некрасовский язык.

Эти попытки вполне закономерны после каждой большой поэтической эпохи. Ведь за нами Серебряный век русской поэзии, и давно уже чувствуется, что мы в каком-то лирическом тупике. Повидимому, поэзия должна стать более прозаической, и по языку, и по темам.

Повести и описания в стихах Присмановой — занимают, но при всей ее изобретательности, кажутся монотонными. Может быть всё таки лучше рассказывать и описывать в прозе? ...потому что, попрежнему, ищешь в стихах — музыки: не столько, конечно, звуковой, сколько словесной, композиционной, т. е. лирики, **волшебства** лирического монолога*); и ведь лучшие стихи той же Присмановой — чисто лирические:

*) Об этом пишет Андре Жид в «Предисловии к Антологии французской поэзии». Для него стихи прежде всего "charmes".

Не к раю приближаюсь я, а к краю
мне данной жизни, плача и звеня...

(Из сборн. «Близнецы», 1946).

Доля чудачества имеется в поэзии Гингера. Он не повествует, но его лирика всегда — на фоне чего-то отчетливо изображенного, зримого, например эстафетного бега. Свои длинные стихотворения он пишет — одним дыханием, но часто срывается, хотя и достаточно изощрен формально. Тема его всё та же — это старая сказка о бедном, чердачном восторженном поэте, который юношески-мечтательно любит этот пестрый мир. Но мир его не любит, обижает и хочет погубить.

Некоторым его порывам нельзя внимать равнодушно:

Эстафетный бег являет взорам
зрелище, которому найти
невозможно равного, с которым
муза, не тебе ли по пути?

(Именно из этого прекрасного стихотворения был взят эпиграф и наименование для сборника «Эстафета»).

Мамченко (посл. сборники «Звезды в аду», 1946 и «В потоке света», 1949) — стал менее косноязычным, но всё так же плутает в каких-то дебрях слов и звуков, и как будто совсем не заботится о цели своих плутаний, но иногда договаривается до настоящих прозрений:

Не плачь, дитя, нельзя не быть, нельзя,
Благословенно всё и всё возможно...

Органическая чудачливость, повидимому, помогает Мамченко думать и чувствовать **по-своему**, но вместе с тем мешает ему делиться напряженным духовным опытом. Его хаос очищает спертую литературную атмосферу, но не может удовлетворить даже предельно доверившегося ему читателя. В противоположность Присмановой, он чужд сознательного стилистического экспериментаторства. Он только духовно экспериментирует. Его язык — просто беспомощен.

Еще надо отметить, что и у «диких» парижских поэтов нередко встречаются интонации родственные всему Монпарнассу Адамовича, напр., у того же Мамченко: «...Только счастья никакого нет». И затем следует традиционно-монпарнас-

ское признание: а вдруг всё таки есть «белое счастье»... Это всё та же смутная надежда, с которой до конца не смог расстаться Анненский. Как видно, воздействие этого последнего (через Адамовича) совсем не литературно-формальное, а более глубокое, хотя и не всегда явное, заметное.

Особо выделю чисто артистические опыты в стихах. Иногда эти опыты очень занимательны. Таковы, например, сюрреалистические лубочные картинки Юрия Одарченко (сборн. «Денёк», 1949). В них много странно-добродушного садизма. В стихотворении «Чистый сердцем» («Новый Журнал», 19) поэт подрезает канат, по которому ходит фантастический слоник, милый и обреченный: этот образ не надуман, но всё таки только выдуман, чтобы поразить воображение. Трагизма, как в опытах Присмановой или Мамченко, здесь нет. Впрочем, Одарченко вероятно еще весь в будущем, и судить о его даре преждевременно.

Также поражают воображение игрой звуков и слов стихотворения поэта-мастера В. Набокова, напр. «Кн. Качурину» (напечатано в «Новом Журнале» и в «Эстафете»). Эта прекрасно сделанная вещь убедительна зрительностью, вещностью фантастики. Оценить изумительное и причудливое мастерство Набокова — трудно. Еще труднее уяснить сокровенный смысл его поэзии. Чудачества в нем нет, но есть загадочность. Нелегко понять: только ли Набоков упражняется в стиле или говорит также всерьез... Каламбурные рифмы, к которым он так часто прибегает (напр. — то-есть — густое, лаковая вся — передвигающимися), воспринимаются как стилистические ухищрения. Но есть пронзительность, есть скрытый трагизм в некоторых его лирических вещах:

Держусь, молчу... Но с годом каждым,
Под гомон птиц и шум ветвей,
Разлука та обидней кажется,
Обида кажется глупей.
И всё страшней, что опрометчиво
проговорюсь и перебью
теченье тихой, трудной речи,
давно проникшей в жизнь мою.

В атмосфере Адамовича — поэты ориентируются на Анненского, который не верил в поэзию, боялся высоко залетать и замыкался в своем мучительном одиночестве. Близки этой атмосфере также многие из тех поэтов, которые, ища новых путей, бродят в потемках... Есть еще поэт, который продолжает тревожить воображение пишущих. Это — Блок.

Об одиночестве Блок знал не меньше Анненского, но он знал еще нечто большее. У Блока была та, которую он в юности именовал Прекрасной Дамой, а потом — Родиной, Россией. Блок любил Россию не слепой, но страстной любовью, и он верил в нее верой близкой Достоевскому. Он верил, что Россия несет освобождение всему человечеству, зовет на «светлый братский пир» любви и свободы. В противоположность Достоевскому блоковский мессианизм был полон страстного ожидания революции и привел его к трагическому принятию ее. Но революция, которую Блок ждал и приветствовал, убила его. После крушения старого мира, образовалась страшная пустота — и в этой пустоте он задохнулся. Он слушал **музыку** революции и России, но после «Двенадцати» и «Скифов» — слушать было нечего. «Музыка ушла из мира», записал он незадолго до смерти.

Слабеющие отзвуки блоковской музыки явственно слышатся в поэзии Георгия Иванова, лучшего поэта эмиграции. Рядом с ним можно поставить только Адамовича (который после войны кажется опубликовал лишь несколько своих стихотворений, в Орионе).

При поверхностном наблюдении может показаться, что Г. Иванов только эстет-нигилист — умный и очень чуткий. Блок же для него — лишь благодарная стилистическая тема. Может быть, ему тоже скорее полагалось бы только безотрадно мучиться в своем одиночестве, как Анненскому, разоблачать себя, мир и изредка смутно на что-то надеяться. Но это не так. Г. Иванов обречен писать именно так, как он пишет. Может быть, даже помимо своей воли, Г. Иванов не мог не принять наследие Блока. Безлюбый, безверый автор «Распада атома», видит и слышит то, что видел и слышал страстный и верующий Блок.

Теперь у Г. Иванова новое понимание России: в стихах, помеченных 1949 г. и напечатанных в «Возрождении»:

А может быть... пора на слом.
И ничему не возродиться,
Ни под серпом, ни под орлом!

Это понимание не пугающее, ибо разве возрождение России возможно **только** под серпом или орлом?

Другое понимание неизмеримо глубже:

Россия тридцать лет живет в тюрьме,
На Соловках или на Колыме.
И лишь на Колыме и Соловках
Россия та, что будет жить в веках...

Для Г. Иванова очевидно: Россия остается великой, трагической и потрясающей духовной реальностью всемирного значения. Он свидетельствует об этом, как прежде Блок (конечно, не с той силой, без огня любви и веры... Но и без опасных, соблазнительных «мессинистических чаяний»).

Метафизическая реальность России Блока и Достоевского тревожит очень многих поэтов — в том числе и Адамовича. Он «внушает» поэзию по Анненскому, но связан и с Блоком, и еще с Тютчевым. Ему близок бедный нищий образ России, которую в рабском виде исходил Царь Небесный (тютчевский образ). Это — христианская Россия, которую знал и Блок: он ведь видел, и по собственному признанию, «констатировал факт» — впереди двенадцати красноармейцев (его поэмы) идет Христос. Они стреляют в «святую Русь», но один из них уже шептал покаянные речи и следовательно был близок Христу. Но сам Блок не любил этот, по его выражению, «женственный образ», и, вероятно поэтому так исказил черты Христа, в кощунственно-хлыстовском эпилоге своей поэмы.

Есть великий соблазн во всяком национальном мессианизме. Это — древний языческий соблазн; и ужасно, когда он связывается еще с христианством, с которым, по существу, несовместим. Это смешение национального мессианизма и христианства особенно сильно проявилось у Достоевского. Но образ России у Адамовича (как и у Тютчева) — не мессианистический, а только христианский. Здесь есть настоящая правда.

Россия также одушевляет поэзию Юрия Софиева. В одном стихотворении («Русский сборник») он говорит о белогвардейце, который теперь, как библейский блудный сын, «склоняется у отчего порога». Увы, это настроение основано на ужасном заблуждении, которое разделяли, да и теперь еще разделяют очень многие. Лучшие же стихи Ю. Софиева не о ложной «верности родному краю», а о «предельной дружбе, братской теплоте».

С особенным бережным вниманием следует отнестись к тем ново-эмигрантским поэтам, которым за последние годы удалось выпустить несколько сборников в Германии. Теперь многие из них печатаются в больших изданиях («Новом Журнале», «Возрождении», «Гранях»). Они недавно из России, и тема родины для них особенно болезненна.

Из них Ольга Анстей наиболее умелый поэт. Она почти владеет культурой стиха Серебряного века, и у ней свой личный мучительно-тяжелый, страшный опыт жизни в советских условиях. Но страдания не озлобили, а как-то очистили ее душу. Ненависти она не знает и полна настоящей любви к родине и веры в нее. Но мессианизм ей чужд. К Богу она обращается с молитвой о спасении заблудшей и глубоко-несчастной России:

Господи — падших, слепых, непотребных — помилуй!
В мраке и смраде, стыде и безумьи — помилуй.

Но лучшие ее вещи в сборнике «Дверь в стене» — чисто лирические. Ее голосу можно довериться, хотя своего собственного стиля она еще не нашла.

Очень умелы также стихи Ирины Бушман, напечатанные в «Новом Журнале» (в особенности о «теплой рукавичке»). В этих стихах есть свет и трезвая точность. Каждую свою тему она четко ограничивает.

Иван Елагин выпустил две книжки. Он — талантлив, но часто срывается. Напр., он посвятил стихотворение-акростих Грину, который так любим многими советскими читателями за нетенденциозность и сентиментальную романтику. Но всё-таки нельзя относиться всерьез к автору «Алых парусов». Грин — это помесь раннего Гумилева и Лидии Чарской!

Елагин часто неточен в выражениях — вероятно потому, что всегда очень уж волнуется и спешит. Все его стихи написаны в порыве сильного душевного волнения. Он часто полон ненависти — всегда несколько театральной («мы — те, кто умирать спускаются в подвал...»). Но нельзя сомневаться — он очень одаренный поэт, и имеются у него такие вот прекрасные строки:

— Мой бедный сын! Тебя зовут сады.
Мой бедный сын, идущий по дорогам,
Оставленный на произвол звезды.
(Сб. «Ты, мое столетие!»).

В сборнике стихов Владимира Маркова много случайных стихотвореинй. У него тонкая культура, хотя он не овладел еще культурой языка. Подкупает, привлекает его чистота, искренность, серьезность. Он ищет «то важное, простое, чего никто еще не замечал...»

Также привлекательны стихотворения Николая Моршена, печатавшиеся в «Новом Журнале» и «Гранях». Умения у него достаточно. Но он еще только нащупывает свою тему.

Вот лучшие поэты новой эмиграции. Ни один из них полностью не определился. Их стихи — обещания чего-то лучшего. Есть ли в их стихах нечто общее им всем? Да, есть: это витальность, бодрый тон, который чувствуется даже, когда они говорят, что жизнь невыносима (как это особенно часто повторяет Елагин). Ведь разъедающих душу и опустошающих соблазнов и ужасов одиночества они не знают. С окружающим миром ново-эмигрант часто не в ладах, но самим собой, в сущности, доволен... Именно поэтому поэты новой эмиграции готовы часто довольствоваться малым и радуются, когда находят красивую форму (напр. гумилевскую, как Моршен) для какого то лирического содержания.

Если в России была бы объявлена свобода печати, то вероятно сотни молодых поэтов писали бы именно в том же духе. На поэтической повестке дня для более изощренных были бы — Гумилев и даже Пастернак (влияние которого испытал Елагин), а для нового сентиментального ширпотреба — конечно, Есенин.

Блок и несомненно Анненский остались бы в стороне. Но кое-кто может быть взялся бы за переработку хлебниковского языкового сырья (подобно Заболоцкому). Можно говорить о некотором примитивизме ново-эмигрантского мышления, однако, совсем не потому, что бодрый тон «неприличен», как вероятно многие думают в Париже; и у Пушкина была бодрость, но на совсем другой человеческой глубине, и при другом культурном уровне. Скорее всего «бодрость тона» ново-эмигрантских поэтов напоминает языковскую. Также желание найти красивый, блестящий способ изложения — сродни очень витальному, но поверхностному Языкову. Однако, это не окончательное суждение. Я уже говорил, что большинство названных поэтом еще не определились. Особенного внимания заслуживают те обещания, которые находим у Маркова и Моршена.

Вся вообще новая русская литература так тесно связана с европейской, что вполне закономерен вопрос о связи эмигрантской поэзии (и при этом не только послевоенной) с поэзией современной Европы. Казалось бы именно эмигрантские поэты могли бы быть в тесном контакте с европейскими, но этого контакта нет. Лирическая тематика Запада их не волнует.

Можно ли судить поэтов за то, чего у них нет? Едва ли. Но всё-таки эмигрантские поэты могли бы проявить больше внимания к современной западной поэзии: а вдруг что-то окажется им сродни... Имею в виду не обогащение чисто литературным опытом (хотя и он мог бы тоже пригодиться), а обогащение прежде всего внутреннее, духовное. В этом смысле прозаики пошли дальше поэтов. Многие из них, как известно, усвоили Пруста, сюрреалистов.

Хотя именно в эмиграции возникла евразийская (анти-западническая) доктрина, тем не менее, очевидно, что эмигрантский духовно-душевный облик — не евразийский, а русско-европейский, и не потому только, что большинство интеллектуальных эмигрантов до сих пор проживает в Европе. Нет, прежде всего потому, что они принадлежат к старой петербургской культуре. Правда, среди новой эмиграции встречается «евразийский» тип, резко отталкивающийся от всего западного, но этот тип мало чем проявил себя творчески. В частности, именно у ново-эмигрантских поэтов «евразийских» черт мы не находим.

Поэзия Запада, повидимому, прежде всего определяется теми задачами, требованиями, которые поставили себе Рильке и Валери. Конечно, не только они продолжают господствовать. Но я не хочу, да и не берусь говорить о новейшей европейской поэзии в целом, и ограничусь лишь творчеством этих двух поэтов, которые оказались в центре внимания сравнительно давно, в начале 20-х г.г., но до сих пор еще не исчерпаны. Сейчас, повидимому, не меньшее значение, чем они, имеет Т. С. Элиот.

Мистик земной жизни Рильке и чистый интеллектуалист Валери очень разные — и по внутреннему складу и по стилю, но у них есть общая тема. Они поняли лучше, чем кто-либо (и даже когда-либо), что художник бессилен, если не умеет четко мыслить. Без четкости мышления художнику всегда угрожает опасность растворения в собственных настроениях, которые так часто являются только его частным делом (как у многих парижских поэтов). Но при этом оба, конечно, знали,

что одного чистого интеллектуализма недостаточно. Чуда или «случая» из поэзии вообще нельзя устранить: un coup de dès jamais n'abolira le hasard. (Малларме). Абсолютная же (неслучайная) поэзия возможна только в абсолютной «обстановке» (в раю... или в пустоте).

Валери говорил: il y a des vers q'on trouve. Les autres, on les fait; и лучшие стихи именно **не сделанные,** а **найденные.** Но не только «инстинкт», «подсознательное» (а, может быть, проще всего и вернее сказать **чутьё**) находит эти лучшие стихи, а также интеллект; и уж непременно интеллект проверяет опыт чутья...

Усилия Валери и Рильке были направлены на создание языка, который мог бы быть одинаково пригоден и для философии и для поэзии: чтобы на нем можно было б и мыслить и воображать и догадываться. Для русских максималистов — это задача более, чем скромная... Только и всего! скажут они: какой-то новый философско-поэтический язык, а может быть, и сказать то им нечего — ни Рильке, ни Валери!

Но неужели непонятно — какие открылись бы большие творческие возможности, если можно было бы найти слова, выражающие и интеллект и инстинкт. Нашли ли этот язык Валери и Рильке? Нет, не нашли, но очень много сделали в этой области... Если бы такой язык удалось обрести, то на нем, по Валери, можно было бы ясно и отчетливо понять всё то, что доступно нашему пониманию, и мы смогли бы отрешиться от многих иллюзий. Бóльшего Валери не добивался. Он не мечтал о преображении мира и хотел только правды и логики в пределах культуры и истории.

Рильке стремился к большему. Его называют иногда Gottmacher. Он был религиозен без Бога, которого хотел «строить». Он искал «настоящего бытия» и верил, что очевидный земной мир может стать таким же божественно-абсолютным, как тот невидимый небесный мир, о котором вещает религия. Он был убежден, что все церкви давно уже пусты, но наш безбожный мир чреват Богом. Именно потому, что его задача была труднее той, которой ограничился латинянин Валери, он чаще срывался, иногда даже, увы, его можно упрекнуть в манерности. Но нельзя отказаться от богатого возможностями и трагического наследия этого великого европейца, который в равной степени был дома и в Германии, и в Чехии, и во Франции, а также в Италии, Испании, Дании, и одно время мечтал даже навсегда поселиться в России.

Несомненно, что знакомство с языком умного мистика

Рильке и с языком лирика-интеллектуалиста Валери — лучшая культурная школа не только для одних поэтов и философов. Они часто выражались темно, но никакой приблизительности не терпели. Если мы не только нигилисты или паникеры атомной бомбы и еще способны связно мыслить и понимать (а также воображать), то не можем обойти ни Рильке, ни Валери.

Если мы от Европы Рильке и Валери обратимся к эмигрантской поэзии, то ее узость станет нам очевидной. Мучительно проверяя себя по Анненскому и мечтая о лермонтовском Ангеле, большинство эмигрантских поэтов на самом деле заняты преимущественно своими собственными частными настроениями, и у них редко можно найти следы большого духовного, душевного или жизненного опыта. Поэзия же поэтов, ищущих новых путей, слишком отзывается чудачеством. Правда, благодаря традициям (всё слабеющим) Серебреного века, эмигрантские поэты обычно достигают общеобязательного культурного опыта. Некоторым из них удалось также найти свою манеру и создать несколько стихотворений, без которых русская поэзия была бы беднее. Еще пленяет в лучших эмигрантских вещах та душевность и простая человечность, в которой, может быть, заключается основная сила русской литературы. Горестные признания о том, что «человека-то забыли...» особенно пронзительны у покойного Штейгера:

До нас теперь нет дела никому,
У всех довольно собственного дела...

В какой-то тихий час души — и разумник Валери и даже мистик Рильке могут показаться слишком отвлеченными, изощренными по сравнению со многими скромными эимгрантскими поэтами... Но нельзя не помнить, что без форм Запада русская душа не сумела бы себя выразить.

Почти все эмигрантские поэты — через Блока — связаны также с русским мессианизмом и верят в Россию — одни только в «вечную», а некоторые даже в сегодняшнюю. Между тем совершенно невозможно, чтобы какой-нибудь серьезный европейский поэт обращался за разрешением последней правды к своему народу, своей стране. Правда, Рильке в юности был близок мессианизму. При этом мессией для него была — Россия... Судя по его удивительным письмам, он и незадолго до смерти продолжал верить в особую благодатную судьбу России, имевшей такое большое значение для его внутренней жизни. Он писал, что в России он научился **принимать**

(empfangen), а во Франции — **творить** (gestalten). Но любя и благословляя Россию, он в зрелые годы свой русский мессианизм уже не мог принимать всерьез.

Неужели неясно, что последней правды нельзя ждать ни от одного народа, ни от человечества, как это мечталось старым немецким романтикам и французским утопистам? Лучшие старые традиции Европы, как античная, чисто культурная, принятая гуманистами, так и христианская, предъявляющая абсолютные требования к человеку, но усвоившая вместе с тем творческие замыслы древних — говорят нам не о правде народа или человечества, а о правде человека и об образе и подобии Божием в человеке.

Национальный и общечеловеческий (и, конечно, классовый) мессианизм — великое заблуждение, обольщение. Мессия — это не многие, это — один, это — человек. Но отрицание национального мессианизма не означает отрицания патриотизма. В частности, нельзя не любить родной язык; ведь только на нем каждый из нас может рассказать о нашем современном опыте — не только о наших настроениях и чудачествах, но также о необходимости борьбы с последними идолами, в особенности с идолами национализма. Для победы же с иллюзиями нужен точный правдивый язык, адэкватный человеку в целом — и его интеллекту и его инстинкту. Конечно, нужно не только это. Прежде всего мы нуждаемся в силе духа, в присутствии духа, но ведь сейчас идет речь о литературе, о поэзии, т. е. об особом способе выражения.

Ю. Иваск.

"ЗАВЕЩАНИЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО"

(ИСТОРИЯ И АВТОРЫ ЭТОГО ПОДЛОГА)

Вернуться еще раз к так называемому «Завещанию» Петра Великого, подложность которого давно уже установлена в специальной литературе, побуждает нас следующее:

Во-первых, тот факт, что подложность этого квази-документа устанавливается в статьях, печатавшихся в специальных исторических журналах, которых широкая публика не читает. Широкая публика слагает свои историко-политические взгляды, главным образом, под влиянием газет, публицистики и — в последнее время — на основании более или менее точно воспроизводимых речей общественных, политических и государственных деятелей.

Приходится сказать, что все эти источники политического осведомления читателя, весьма ненадежны. В частности, по вопросу нас сейчас занимающему, надо сознаться, что с подложностью «Завещания», установленной наукой, они не считаются и охотно ссылаются на него всякий раз, когда нужно подогреть ненависть к России и страх перед нею.

Начало такому использованию этого текста положил еще Наполеон, в 1812 г., и с тех пор оно прошло красной нитью через весь XIX век и перебросилось даже и в нынешний. В этом смысле очень показательны годы переизданий «Завещания»[1].

Но и ошибки искреннего неведения, и недобросовестное использование «Завещания» в целях анти-русской пропаганды одинаково доказывают, что подложность его еще не для всех достаточно ясна и что, следовательно, отнюдь не лишнее еще раз выявить ее.

Во-вторых, в настоящее время, с обнаружением новых фактов, возможно не только утверждать подложность «Завещания» на основании исторического анализа его текста, но и

[1] Не претендуя на исчерпывающую полноту, приведем некоторые даты: 1812, 1824, 1836, 1839, 1849, 1854 (пять изданий), 1855 (два издания), 1857, 1858, 1860, 1863, 1864, 1865, 1866, 1875, 1876, 1878, 1914.

восстановить с полной наглядностью самый процесс создания этого мифа, а также указать главных его авторов, сознательно или бессознательно распространявших эту ложь.

Вот это последнее и составит собственно задачу настоящего очерка.

I. 1797 г.

История и критика этого апокрифа любопытна и поучительна. Он имеет уже значительную литературу. Особенно важными следует признать работы немецкого ученого Гарри Бресслау в 1879 году и польского историка Михаила Сокольницкого в 1912 году[2].

Именно обнародование последним подлинного «Мемуара» его предка, генерала Сокольницкого, позволяет воздать должное историческому чутью и критическому анализу некоторых прежних исследователей, особенно Бресслау, который еще в 1879 году совершенно справедливо указал, как на истинного автора пресловутого завещания, на известного польского эмигранта, генерала Михаила Сокольницкого.

Вот как представляется дело в настоящий момент.

После неудавшейся попытки польских патриотов восстановить расчлененную Польшу (1794 год), во Францию нахлынула вторая мощная волна польской эмиграции (первая относится к 70-м годам 18-го столетия, после Барской Конфедерации). Эта «вторая эмиграция» была менее аристократической по своему составу, но отнюдь не менее пламенной по настроению, и она принялась с новым жаром за изготовление новых проектов восстановления польского государства.

Необходимость, ради безопасности всей Европы, самостоятельной Польши всегда доказывалась ссылкой на провиденциальную ее роль, как естественной защитницы Запада от «восточных варваров». В дни былые эти варвары являлись в лице татар, орды которых захлестнулы бы всю Европу, не будь спасительницы Польши, **единолично** — Россия при этом забывалась! — принявшей на себя все удары. В новое время восточное варварство олицетворялось самой Россией, грозившей полным порабощением Европе, если последняя не примет своевременно надлежащих мер, и в первую голову, не восстановит «польского бастиона».

[2] Harry Bresslau, "Das Testament Peters den Grossen", ("Historische Zeitschrift", 1879, Bd. 41). Mischel Sokolnicki, "Le Testament de Pierre le Grand", ("Revue des sciences politiques", 1912, vol. 2).

Для восстановления этого «бастиона» все упования возлагались на Францию, особенно на ее республиканское правительство. Но, взывая к Франции, никто не подумал серьёзно ознакомить ее с истинным положением дел и отношением сил в стране, которая попрежнему оставалась, — даже для политических заправил тогдашней Франции, — только «далекой Сарматией», пригодной лишь для использования ее во французских интересах.

Смерть Екатерины II-ой (6/17 ноября 1796 г.) и вступление на престол ее преемника, открыто не сочувствовавшего всему, сделанному Императрицей, и в частности разделу Польши, сильно подняли надежды польских патриотов. Первый же жест Павла в пользу польских заключенных — их освобождение 19 ноября ст. ст. — сразу умножил ряды польской эмиграции, пополнив ее людьми значительными и уже раньше зарекомендовавшими себя активными и горячими патриотами. К их числу принадлежал и генерал Сокольницкий, яркая и заметная личность даже среди пестроты тогдашнего Парижа.

Блестяще и разносторонне образованный военный инженер, он принимал деятельное и непосредственное участие в восстании 1794 года, и после разгрома Косцюшки при Мациовицах (12 октября 1794 года) добровольно разделил двухгодичное изгнание и заключение своего друга, варшавского бургомистра Закржевского.

По сравнению с теперешними нравами, мягкость тогдашнего тюремного заключения даже для важнейших «государственных преступников», повинных ни мало ни меньше, как в вооруженном восстании, — кажется почти невероятной. Но мы имеем подробное описание этого заключения, принадлежащее перу знаменитого польского эмигранта, поэта Немцевича, личности совершенно исключительной и по своей духовной высоте и по блеску и разнообразию своей биографии. Однако, как бы ни были мягки тюремные условия, всё же Сокольницкий и другие были узниками, были лишены свободы, были в руках своих врагов и ореол мученичества — для Сокольницкого притом добровольно принятого — значительно увеличивал престиж человека.

Он появился в Париже в самом начале 1797 года. К этому времени усилия некоторой части польской эмиграции уже увенчались успехом: при итальянской армии, под командой Бонапарта, был образован из поляков отдельный легион, под начальством Домбровского, для которого Иосиф Выбицкий написал тогда свой знаменитый марш-мазурку «Еще Польска

не сгинела». Предполагалось, что участие поляков в победоносной французской войне против Австрии даст им и право участия в мирных переговорах. Поэтому Сокольницкому было поручено разработать проект организации второго вспомогательного польского отряда, на этот раз при рейнской армии. Он горячо принялся за работу и результатом ее явились два мемуара, поданные им Директории 19-го октября 1797 года за полной своей подписью.

Один из этих мемуаров был чисто военно-технического содержания и говорил о способе вербовки легионеров; другой — подкреплял необходимость создания польского легиона раскрытием грозного замысла России «поработить всю Европу», если во время не будут приняты предупредительные меры. Этот второй мемуар назывался "Aperçu sur la Russie". Его то и превратили впоследствии те, кому это было нужно, в «Завещание» Петра.

Необходимо тотчас же и со всею настойчивостью подчеркнуть, что сам Сокольницкий ничуть не повинен в этом обмане. С первых же строк своего мемуара он определенно говорит, что излагаемые им соображения суть его **личные домыслы.** Вот его буквальные слова:

«Двухгодичные размышления в петербургских тюрьмах; систематическое изучение моральных и физических сил России; указания и объяснения по этим вопросам нескольких моих соотечественников; объяснения, почерпнутые ими из русских архивов, захваченных в Варшаве 13-го апреля 1794 года — (всё это) позволило мне понять тот бессовестный, но обширный и смелый план подчинения Европы русскому игу, который был начертан Петром. **Этот план хранится в тайных архивах кабинета Е. В.** Я мог ухватить из него лишь самые главные пункты и запечатлеть их в своей памяти»[3].

Далее шло обращение к Директории:

«Убежденный в том, что в настоящий момент одна только Франция в состоянии спасти Европу от опасности ей угрожающей; что необходимо использовать нетерпение поляков, жаждущих стряхнуть с себя позорное иго, их угнетающее (исполь-

[3] Во всем этом тексте лишь подчеркнутая фраза могла породить тот исторический подлог, о котором идет речь. Если под «планом» разуметь совокупность всех действий и предначертаний Петра, то, конечно, следы их должны были находиться среди оставшихся после него бумаг, хранившихся в государственных архивах, но это не значит, что имелся специальный документ под заглавием «План».

зовать); антипатию молодого шведского короля к новому царю, антипатию, раздуваемую страхом увидать его у себя и наконец (использовать) притворство русских магнатов, лишь поджидающих момента, чтобы убить своего тирана и сменить государя, я полагаю, что краткое изложение этого «плана» не покажется излишним руководителям первой нации в мире, руководителям, которых Европа считает ныне вершителями своих судеб».

За этим следовало изложение в 13 параграфах того, что Сокольницкий называл «планом» Петра и что было опубликовано Сокольницким-историком в 1912 году с пометою: «Мы **впервые** сообщаем этот текст in extenso».

В свою очередь, мы тоже **впервые** сообщаем его **по-русски** и тоже *in extenso*, раз навсегда полагая таким образом предел дальнейшим измышлениям по вопросу о «Завещании» Петра. Вот оно.

§ I

Ничем не пренебрегать для того, чтобы придать русской нации формы и обычаи европейские. С этой целью добиваться содействия европейских дворов, а особенно европейских ученых, либо выгодами материальными, либо идеями филантропическими и философскими, либо еще какими-нибудь средствами.

§ II

Поддерживать государство в состоянии непрекращающейся войны, дабы закалять солдат, а всю нацию держать на чеку, готовою по первому приказу двинуться в поход.

§ III

Распространяться всеми возможными средствами на север, вдоль Балтийского моря, и на юг, вдоль Черного моря.

§ IV

Разжигать зависть Англии, Дании и Бранденбурга против Швеции: тогда они закроют глаза на те узурпации, которые можно будет сделать за счет этой последней страны, которую, в конце концов, мы и подчиним.

§ V

Заинтересовать Австрийский дом в изгнании турок и под этим предлогом держать постоянную армию и устроить верфи на черноморском побережьи, дабы, постепенно продвигаясь, распространиться до Константинополя.

§ VI

В Польше поддерживать анархию, влиять на сеймы и особенно на королевские избрания; при всяком удобном случае ее дробить и в конце концов совсем ее подчинить.

§ VII

Заключить тесный союз с Англией и поддерживать с ней прямые сношения посредством выгодного торгового договора; предоставить ей даже некоторую монополию внутри страны, что незаметно приведет русских к сближению с английскими купцами и матросами и всячески цивилизует русских, поможет росту и усовершенствованию их флота, пользуясь которым надо будет подумать о господстве над Балтийским и Черным морями. Это вопрос капитальный, от которого зависит успех и быстрота осуществления всего плана.

§ VIII

Во что бы то ни стало вмешиваться в европейские и особенно немецкие войны, употребляя для сего все средства, силы, хитрости, подкупа и лести.

§ IX

Всегда притворяться союзницей Австрии и пользоваться малейшим поводом, чтобы вовлекать ее в разорительные войны, дабы постепенно ее ослаблять, иногда даже ее выручая, а втайне создавая ей внутри Империи всё новых врагов и возбуждая против нее зависть князей.

Примеч. Сокольницкого. Этот параграф тем легче исполнить, что до сих пор Австрийский дом не переставал льстить себя надеждой завоевать всемирную империю или, по меньшей мере, восстановить Западную Империю, а для сего ему нужно первее всего начать с подчинения Германии.

§ X

Всегда выбирать в супруги для русских великих князей немецких принцесс и таким образом укреплять союзы политические семейными связями и интересами. Это увеличит русское влияние в немецкой империи.

§ XI

Использовать влияние религии на греко-схизматиков, имеющихся в Венгрии, Турции и южных частях Польши; привлечь их к себе всеми соблазнами, добиться титула их покровителя и какого-нибудь иерархического сана. Под этим предлогом и через их поддержку Турция будет подчинена, а Польша задета, завоевание Венгрии окажется пустяшным делом, но Австрии придется обещать вознаграждение в Германии. Остаток Польши, не будучи в состоянии поддержать себя ни собственными силами, ни политическими связями, естественно сам собой подчинится общему игу.

§ XII

Тут каждая минута дорога. Дабы нанести решительный удар, втайне приготовить все орудия, заставить их действовать в порядке, с точностью и, главное, с быстротой, которые не дали бы времени Европе опомниться. Нужно начать с секретнейшего предложения прежде всего Версальскому Двору, а потом и Венскому, разделить с одним из них мировое владычество, поставив им на вид, что фактически Россия уже господствует над всем Востоком и что, следовательно, она не приобретет ничего нового, кроме разве титула. А потому настоящее ее предложение никоим образом не должно им казаться подозрительным. Напротив, совершенно несомненно, что весь этот проект для них только лестен, но он может возжечь между ними смертельную вражду, которая, принимая во внимание разнообразные и широкие связи и отношения обоих этих Дворов, вскоре превратится во всеобщую, заставив вмешаться в эту распрю все остальные государства Европы.

§ XIII

Среди этого всеобщего смятения, у России будут просить помощи то та, то другая воюющая страна. После долгих колебаний — чтобы дать им время хорошенько друг друга обессилить, а себе самой — собраться с силами, Россия в конце концов сделает вид, что реши-

лась помочь Австрии. И в то время, как она продвинет свои линейные войска до Рейна, немедленно по их пятам, она напустит целую тучу своих азиатских орд, и, пока они будут двигаться по Германии, два значительных флота, нагруженных теми же ордами, одновременно выйдут — один из Азовского моря, другой из Архангельска и, под прикрытием Черноморского и Балтийского флотов, внезапно появятся в Средиземном море и Атлантическом океане. Они выгрузят всех этих номадов, жестоких и жадных, и затопят ими Италию, Испанию и Францию. Часть их жителей они перебьют, другую часть уведут в рабство, дабы заселить ими сибирские пустыни, а остаток населения приведут в состояние такой слабости, что люди не в силах будут свергнуть с себя это иго.

К этим параграфам Сокольницкий прибавил еще несколько собственных замечаний и размышлений, которые мы опускаем, как несущественные для нашей задачи.

Написанный тотчас по завершении блистательного екатерининского века и 75 лет спустя по смерти Петра, вышеприведенный текст, конечно, никоим образом не может нас изумить даром своего «провидения»: в фактической своей части, т. е. оставляя в стороне приписываемые им России планы и намерения, он не более, как краткое резюмэ того, что было, резюмэ политических событий 18-го века, хотя и толкуемых весьма субъективно. О его «профетизме» можно говорить только, если действительно приписать его Петру.

Откуда же, однако, это наименование «план Петра»? И современники Екатерины и сама она, а позднее и историки, не раз говорили о ней, как о продолжательнице и завершительнице планов и предначертаний Петра, отнюдь не имея при этом в виду какого-нибудь специального «документа». Екатерина говаривала, что, приступая к новому и важному начинанию, она приказывала своим секретарям порыться в бумагах Петра, чтобы узнать, не задумывал ли Великий Император чего-нибудь подобного, и часто искомое находилось. Таким образом, выражение «план Петра», быть может, уже со времен Екатерины, стало ходячей краткой формулой для обозначения некоторой политической системы, вовсе не имея в виду какого-то специального «Завещания». Во всяком случае, мы полагаем, что генерал Сокольницкий употребил этот термин именно в таком смысле.

Подлинник генерала Сокольницкого находится в Париже, в Министерстве Иностранных Дел. Он снабжен подписью и датой: "Salut et Respect! Michel Sokolnitzki, ancien officier-

général. P. 28 vend. an VI de la R... F... u... et indiv...'' Но в 70-х годах прошлого столетия, в Берлинском Государственном Архиве открыли копию этого Aperçu, попавшую туда через австрийское правительство. При этой копии было препроводительное письмо к генералу Домбровскому от 23 октября 1797 года. Вот эта-то берлинская копия **тогда еще неизвестного, в Париже находящегося, подлинника** и натолкнула немецкого ученого, Бресслау, на блистательно подтвердившуюся догадку о том, что странный документ, впервые напечатанный в 1812 году, а затем, в разукрашенном виде, в 1836 году под титулом «Завещание Петра», есть ничто иное, как соображения генерала Сокольницкого. Но критическое чутье и добросовестный исторический анализ Бресслау в полной мере восторжествовали только в 1912 году, благодаря находке Сокольницкого-историка.

Добавим несколько слов о дальнейшей судьбе проектов генерала Сокольницкого. Сперва успех улыбнулся ему: Директория постановила создать Рейнский легион (9 сент. 1798 года). Но патриотические надежды поляков и на этот раз, как и много раз впоследствии, были опять обмануты: великие державы, чая замирения Европы, не только легко замалчивали, но даже и просто отстраняли для многих неприятный вопрос о восстановлении Польши.

И как часто в течение всего 19-го века и вплоть до наших дней приходилось думающим о политических вопросах полякам, повторять недоуменно-наивное восклицание идеалиста и вовсе не-политика Косцюшки: «Не знаю почему, всегда так выходит, что, несмотря на все симпатии между Францией и Польшей, французы всегда нас покидают в самые критические для нас минуты».

II. 1812 г.

В сентябре 1796 года Бонапарт получил письмо от Михаила Огинского, видного польского эмигранта, сотоварища в борьбе и в беде Косцюшки. Из этого длиннейшего письма, от 10-го августа 1796 года, приводим следующие выдержки: «...15 миллионов поляков, некогда независимых, а ныне жертв силы вещей, смотрят на вас!... Не теряйте из виду, гражданин-генерал, эту нацию, заслуживающую внимания своими бед-

ствиями... Да не будет сказано, что поляки обречены влачить свои цепи, если Франция еще существует! Поспешите, гражданин-генерал, оповестить всему миру, что Франция полагает свою славу в защите слабых и в обеспечении счастья тех народов, которые прибегают к ее покровительству; поспешите ответить нашим чаяниям и надеждам, восстановите равновесие Европы, восстановив независимость народа, лишившегося свободы, и сделайте так, чтобы от центра Италии до истоков Борисфена народы, вновь обретшие свои права, увидели в вас друга человечества и почтили воителя победоносного...»

Наполеон приказал своему адъютанту, поляку Сульковскому, ответить: «Напишите вашему соотечественнику, что я люблю поляков и весьма их ценю, что считаю польские разделы актом бессовестным, неимеющим оправдания, и что, окончив итальянскую войну, я самолично отправлюсь, во главе французов, дабы принудить русских восстановить Польшу. Но, прибавьте также, что поляки не должны полагаться на иностранную помощь, что они должны сами вооружиться... Нация, раздавленная своими соседями, может снова подняться только с оружием в руках...»

Прошло 16 лет, прежде, чем Наполеон решился «самолично двинуться во главе французов на Росссию», дабы «принудить ее восстановить Польшу». Впрочем... для этого-ли? Принимая графа Шувалова в Сен-Клу 13 мая 1811 года, Наполеон говорил ему: «Я не хочу войны с Россией... Это было бы преступлением... Можно-ли серьезно поверить, что я пожертвую 200.000 французов для восстановления Польши?»

Наступил 1812 год. Надежды поляков воскресли. Наполеон готовился к русской войне тщательно и обдуманно. Он хотел использовать все благоприятные ему силы, способности и возможности.

Сокольницкий, с отличием участвовавший в кампаниях 1806, 1807 и 1809 годов, достигший уже высоких чинов, лично известный Императору, по его воле прикомандированный ко французскому генеральному штабу, и выбранный членом Академии, работал неутомимо: в архиве французского военного министерства и посейчас хранятся наброски разных его мемуаров и чертежи карт. Но Наполеон мог воспользоваться им не только как военным техником. С поляками, как мы видели, он был связан давно. Трудно себе представить, чтобы Сокольницкий, готовясь к русской войне, не воспользовался своим положением и не ознакомил Наполеона со своими взглядами на Россию, изложенными когда-то Директории. Теперь этот

мемуар приобретал даже особую значительность, ибо суворовский итальянский поход до известной степени как бы осуществлял на деле те угрозы, которые до 1799 года могли казаться лишь бредом напуганного воображения.

Наполеон придавал большое значение «обработке общественного мнения»; он лично произносил речи, рассчитанные на широкое распространение, ежедневная пресса печатала инспирированные статьи, наконец, одному из чиновников Министерства Иностранных Дел, некоему Лезюру, литератору и историку, было поручено составить популярную русскую историю, препарированную в надлежащем для политических целей виде.

Лезюр был далеко не новичек в литературе; он уже много писал. В 1806 году он выпустил «Рассуждение о событиях, приведших к польскому разделу», а в 1807 — небольшую книжку «О политике и успехах русской державы». Для министерского служащего поручение Наполеона было равносильно приказанию. К тому же задача казалась и не очень сложной: надо было только расширить и углубить уже написанное. Однако, сравнивая издание 1807 г. с изданием 1812 г., видим, что последнее представляет почти совсем новый труд, не только в пять раз больший первого, но и вводящий некоторые новые материалы. Это касается прежде всего «Резюмэ плана Петра Великого», которого в первом издании не было вовсе. В этом Резюмэ мы без труда узнаем «Аперсю» Сокольницкого, **но в исправленном и дополненном виде.** Исправления двоякие. Одни — чисто внешние, формальные, стилистические; другие — изменения по существу и притом весьма характерные.

Как попала записка Сокольницкого в руки Лезюра? Кто был автором и редактором той версии, которая оказалась в этой книге? Лично Наполеон?[4] Невозможно ответить на этот вопрос с полной определенностью, но, принимая во внимание занятия историей и служебное положение в министерстве иностранных дел Лезюра, позволительно думать, что он имел доступ и в его архив, в котором хранились разнообразные писания генерала Сокольницкого. Кстати: Сокольницкий-историк

[4] Надлежит отметить, что мысль об авторстве Наполеона в создании мифа о «Завещании Петра» была впервые высказана русско-немецким ученым Георгом Берхгольцом в статье, впервые появившейся в рижском журнале "Baltishe Monatscrift" (№ 1) в 1859 году и затем перепечатанной по-французски в Брюсселе в 1863 году и по-русски в 1877 г. в «Русском Обозрении» (том X).

сообщает, что видел в Архиве рядом с мемуарами своего предка, касающимися 12-го года, один мемуар и самого Лезюра на ту же тему.

Книга Лезюра появилась в Париже в 1812 году. Она называлась "Des progrès de la puissance Russe depuis son origine jusqu'au commencement du XIX s." Имя автора отсутствовало; его узнали лишь два года спустя. В книге 514 страниц и написана она, к чести автора, в очень сдержанном и приличном тоне.

В главе 6-й, именующейся «Петр Великий», на стр. 176-й, читаем следующее: «...К тому же европейские державы... не имели, быть может, достаточно военных сил, чтобы противостоять замыслам искусного политика и неутомимого завоевателя (располагающего) жестокими войсками. Быть может, только его преждевременная кончина спасла континент от великой катастрофы, но его замыслы не были погребены вместе с ним». К последней фразе имеется примечание, занявшее целых 4 страницы. Вот дословный перевод его начала:

«Утверждают (sic!), что в личных архивах русских императоров существуют секретные мемуары, написанные **рукою** Петра (sic!), в которых безо всяких умолчаний излагаются проекты этого государя, им задуманные и рекомендуемые вниманию его преемников; некоторые (из этих проектов) действительно были осуществлены с настойчивостью, можно сказать, религиозной. Англичанин Вилльям Итон, бывший консулом в России и в Турции, как будто имеет в виду именно эту бумагу, когда он говорит: «Не сама Екатерина изобрела тот план, который стал главной целью ее политики. Петр Великий первый счел его осуществимым, и с тех пор петербургский кабинет никогда не терял его из виду».

Резюмэ «плана Петра Великого» состоит у Лезюра из **14** параграфов, вместо **13-ти** Сокольницкого. Произошло это от того, что в книге Лезюра вставлен после VII параграфа совсем новый, по существу совершенно невообразимый под пером польского эмигранта 1797 года, но весьма подходящий к политической конъюнктуре 1812 года и к некоторым идеям Наполеона. Вот этот параграф, не только по содержанию, но и по своей грамматической структуре, резко отличающийся от всех остальных. Постараюсь точно соблюсти в переводе эти различия: все параграфы у Сокольницкого начинались с инфинитива, этот, VIII, неожиданно начинается с 3-го лица настоящего времени, т. е., значит редактор, а не сам Петр излагает его мысль.

§ VIII. «**Он** рекомендует всем своим преемникам проникнуться той истиной, что торговля с Индией есть торговля мировая, и что тот, кто может ею исключительно распоряжаться, является истинным господином Европы; что, следовательно, нельзя упускать ни единого случая, чтобы не начать войны против Персии, чтобы не ускорить вырождения последней, чтобы не проникнуть до Персидского залива и не попытаться тогда восстановить через Сирию древний Левантийский торговый путь».

Кроме этой массивной вставки, имеются еще и некоторые другие изменения; но, как сказано, они носят характер либо простых исправлений языка и стиля, либо незначительных дополнений.

Внимательное сравнение текстов Лезюра и Сокольницкого приводит к несомненному выводу, уже высказанному Бресслау в 1879 году и который мы можем повторить дословно: «Текст Лезюра родился из текста Сокольницкого путем некоторых редакционных изменений, мелких опущений и крупных добавлений. **Его следует считать подделкой текста Сокольницкого».**

Заслуживает быть отмеченным и то, **как** Лезюр ввел этот апокриф в свою книгу. Его совесть историка явно не мирилась со внесением в свой труд, хотя бы и писанный по заказу, но всё же исторический, заведомой лжи. Поэтому начав с безличного «утверждают», он и поместил «документ», долженствовавший, казалось бы, почитаться очень значительным только в примечании.

Разгром французов в 12-м году и последовавшие затем события, конечно, помешали распространению книги, пропагандный характер которой был всем хорошо известен. До времени, книга Лезюра как бы исчезла из оборота.

III. 1836 г.

Прошло без малого двадцать пять лет. За этот срок и в России, и в Европе совершились значительные перемены. И не только в области культурно-общественной, но и в области политической. Вступление на престол Николая I, зловеще озаренное декабрьским восстанием, и подавление польского восстания несколько лет спустя произвели на Европу сильное и

неблагоприятное впечатление, а отрицательное отношение русского царя к вышедшей из революции июльской монархии глубоко задело Францию: Россию по-старому не любили и по-новому боялись.

При таком-то настроении, в 1836 г., появился в Париже исторический роман в двух томах, под заглавием: «Мемуары рыцаря д'Эона»[5]. Эти «Мемуары» принадлежали перу изобретательного и предприимчивого, весьма второстепенного писателя Фредерика Галльярдэ. Незадолго перед тем (1832) он поставил, в сотрудничестве с Александром Дюма, драму "La Tour de Nesle", имевшую шумный успех. Но понимающая в театральном деле толк публика и позднейшие критики в один голос признали, что всё положительное в этой пьесе принадлежит Дюма, а всё отрицательное — Галльярдэ. Между со-авторами вскоре произошла ссора, приведшая к скандальной дуэли. Понятно, что репутация сомнительного драматурга не удовлетворила честолюбия Галльярдэ, и он решил попытать счастье на поприще историка.

Предоставим здесь слово тонкому и остроумному анонимному критику «Завещания» Петра, повидимому, лично встречавшему Галльярдэ в 60 годах прошлого века.

«Господин Галльярдэ, высокий, сухощавый, костистый, обладавший довольно замечательной головой... захотел подняться еще выше и не отступать ни на шаг от того литературного богатыря, который назывался Александром Дюма. Последний тогда только что создал «исторический роман».... Был конец 1835 года. «Польский вопрос» разрешился, но на горизонте уже вставал грозный «восточный вопрос»... Сентябрьские законы взнуздали печать, отсюда — большое развитие романа-фельетона. Ибо много вещей, которые небезопасно было вносить прямо в текст газеты, легко проскальзывали полу-прикрытые фельетонной прозой... Вошло в моду помещать между «угасшей Польшей» и «возрождающимся Египтом» «Северного Колосса». Каждый сколько-нибудь уважающий себя писатель, должен был, — употребляя ходячее выражение, "Manger du cosaque," — каждый упражнялся в декламации против «московитских притязаний» и разоблачал «русские замыслы»[6].

Выпуская свою «историческую» работу, Галльярдэ снабдил ее обширным предисловием, в котором заявлял, что она це-

[5] **Frédéric Gaillardet, "Mémoires de Chevalier d'Eon", Paris, 1836, 2 vol.**

[6] **Anonyme, "Les Auteurs du Testament Politique de Pierre le Grand", Paris, 1872.**

ликом основана **на подлинных документах,** частью даже еще неизданных и хранящихся либо в Архиве Мин. Ин. Дел, либо у наследников д'Эона. Далее рассказывалось, с какими трудностями автору пришлось бороться, чтобы получить нужные материалы. Доступ в архивы был тогда закрыт. Пришлось обратиться за протекцией к влиятельному доктору Кореву, русско-прусскому еврею, вхожему во все парижские салоны и близкому знакомцу всех сильных мира сего, начиная с Талейрана. Этот Корев личность совершенно замечательная, с чертами несомненной гениальности и иногда с приемами шарлатана. Его одаренность была беспредельно разнообразна, но известность он получил как врач, а его "violon d'Ingres" была литература. Он был закадычным другом Гофмана-сказочника и близким членом литературного кружка Варнгагена-фон-Энзе, вдумчивого критика, высоко ценившего Пушкина. Когда молодой Гейне приехал в Париж, только Корев мог открыть перед ним вход в парижские салоны.

Вот этот-то доктор Корев и исходатайствовал у герцога де Бройль, тогдашнего министра ин. дел разрешение для Галльярдэ поработать в Архиве, директором которого состоял известный историк Минье. Два месяца рылся Галльярдэ в Архиве и собрал там, по его собственным словам, «обильную жатву» совершенно неизвестных дотоле документов.

Они-то, будто бы, и легли в основу его труда, в котором, если верить его словам, «все аутентично»... Ибо он, автор, как историк — «раб исторических фактов и единственной его целью в данном исследовании является стремление раскрыть истину». (Предисловие, стр. XI—XIII).

«Мемуары рыцаря д'Эона» пестрели самыми фантастическими эпизодами, которые, однако, искусно переплетались с несомненными историческими фактами, действительно документально установленными. Так, например, несомненно, что д'Эон был в Петербурге при Имп. Елизавете; несомненно, что он привез в 1757 году согласие Императрицы на Версальский договор; но, совершенно лживо утверждение, будто он, кроме того, еще привез **буквальную и точную копию «Завещания», оставленного Петром Великим.**

Это «Завещание» и было тем «драгоценным документом», открытием и обнародованием которого Галльярдэ особенно гордился. Этот «документ», рассказывает он, был добыт д'Эоном только благодаря стечению совершенно необыкновенных обстоятельств, а именно, благодаря интимной близости рыцаря с Императрицей, позволившей ему бесконтрольно

рыться во всех тайных дворцовых архивах! Далее цитируем нашего автора буквально:

«Этот документ, о котором все с тех пор говорили (?), существование которого было известно (?), но которым никто не обладал (?) и которого никто не мог воспроизвести (?), был секретно передан рыцарем д'Эоном, вместе с официальным трудом о России, в собственые руки Людовика XV и его министра, аббата Берни. **«Это буквальная и точная копия Завещания,** оставленного Петром Великим своим потомкам и преемникам на московском престоле».

«Это, говорит Галльярдэ, показалось нам не только весьма любопытным, но и чрезвычайно важным с исторической и политической точки зрения. Значение этого документа не только не уменьшилось и не устарело, с истекшими годами, а наоборот, увеличилось и, так сказать, омолодилось **в особенности в наше время»** (подчеркнуто мною. А. П.). (Стр. 168).

И далее Галльярдэ изъясняет всю значительность этого «документа». Приводим эти объяснения целиком, дабы читатель сам почувствовал тон и стил этого писателя. Они так убедительно говорят о том, к какому разряду писаний относится эта книга, что приходится только удивляться, как могли найтись люди, которые восприняли всю эту словесность как какой-то (да еще какой!) государственный **документ!** Поневоле приходится думать, что пользовавшиеся им делали это не в святом неведении, а по злостному рассчету, по правилу «все средства годны».

«Этот документ, говорит Галльярдэ, заключает общее изложение видов основателя русской империи, вскрывает его огромные предвидения, гигантские надежды и намечает пути для осуществления мечты колоссальной, созданной для будущего тем мозгом, который уже осуществил в настоящем вещи необычайные».

«Как будет видно, только в голове Петра могла родиться подобная мечта! Здесь человек и мысль — одного калибра! Завоевание Европы! Мировое владычество! Таковы горизонты, охватываемые его мощным взглядом; таковы пространства, заранее пожираемые его чудовищным честолюбием! Северному орлу недостаточно его арктических побережий, дабы свить свое гнездо; не довольно простора, от Польши до Сибири, от Турции до Персии, от Европы до Азии, чтобы расправить свои крылья. Ему тесно в бескрайних степях! Глядя на солнце в зените, он сооружал престол по своему росту, престол над це-

лым миром, и не хотел удовольствоваться меньшим, чем всей вселенной, для того, чтобы воспарить».

Захлебнувшись собственным пафосом, Галльярдэ наконец заканчивает: «Вот этот документ!» И далее, начиная со стр. 169, приводится **копия** плана подчинения Европы. Заметьте: это не перевод, а копия. Как это понимать? Значит ли это, что Петр писал свое «Завещание» по французски? Галльярдэ над этим не задумался[7].

Читая эту «копию» мы без труда узнаем опять таки «Аперсю» Сокольницкого. Но этот «Аперсю» расцвечен: сухим параграфом предпослано «Вступление», очевидно долженствовавшее придать некий «русский дух», некий подлинный style russe французскому оригиналу, писанному поляком.

Чтобы дать возможность вполне оценить это изобретение находчивого автора, надо было бы привести это «Вступление» в подлиннике. Постараюсь перевести его буквально, не руссифицируя:

«Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы, Мы, Петр, Император и Самодержец всей России... всем нашим потомкам и преемникам на престоле и в управлении российской нацией. Великий Бог, от Которого мы получили и жизнь и корону, и Который постоянно просвещает нас своим светом и поддерживает своей божественной помощью, позволяет **мне** (!) считать русский народ призванным в будущем ко всеобщему господству в Европе.

«Я основываю эту мысль на том, что европейские нации в большинстве дошли до той степени старости, которая граничит с дряхлостью, или же крупными шагами идут к ней. Из этого следует, что они должны быть легко и несомнительно завоеваны народом свежим и молодым, лишь только сей последний совершенно возрастет и разовьет свою мощь.

«Я рассматриваю будущее нашествие Севера на страны Запада и Востока, как движение периодическое, предустановленное Провидением, которое таким образом обновило народ римский вторжением варваров.

«Эти иммиграции полярных людей подобны наводнениям Нила, который в определенные сроки удобряет своим илом истощенные земли Египта.

«Я получил ("j'ai trouvé") Россию **ручьем,** оставляю ее **рекой,** мои наследники сделают из нее большое **море,** предназначенное оплодотворить обедневшую Европу»....

---

[7] Впрочем, по-французски слово "copie" употребляется часто не в нашем смысле. Тогда этот аргумент отпадает.

Останавливаюсь здесь, чтобы сделать несколько замечаний. Красноречие Галльярдэ действительно убеждает, но не в том, в чем ему хочется нас убедить.

Прежде всего: превратив соображения ген. Сокольницкого в «Петровское Завещание», Галльярдэ нигде не намекнул даже на то, что это «Завещание» **уже было опубликовано до него Лезюром в 1812 году.** Тем более он не сказал, что «открыл» он этот «документ» вовсе не в бумагах д'Эона, где его нет, а именно в книге Лезюра, что доказывается одинаковым количеством параграфов у того и у другого; хотя, если бы он получше порылся в Архиве, он, может быть, и наткнулся бы на подлинное «Аперсю» Сокольницкого, всего из 13 параграфов.

Далее. Придумав титул «Завещание» для своего «документа», Галльярдэ, как тонко заметил анонимный критик, проявил подлинную гениальность (un trait de génie): такое заглавие, в момент появления книги, обеспечивало автору полный успех, а на будущее время становилось боевым орудием в руках многочисленных недругов России. Романистам и газетным работникам хорошо известно, что найти хлесткое и забористое название для книги, статьи и даже заметки, значит наполовину обеспечить их успех. Как бледно звучат слова «план», «мемуар», «резюмэ» рядом с многообещающим титулом «Завещание»! К тому же этот род литературы, т. е. всякие «завещания» в XVIII веке действительно были в моде. Галльярдэ это отлично учел.

Третье: перемена заглавия обязывает. «Завещание Петра» не могло быть написано тем языком, каким выражался в своих заметках польский эмигрант. Отсюда — пышность тона, которую мы могли оценить по выше-приведенным длинным цитатам.

Четвертое: обратим внимание на некоторые выражения, уподобления и исторические реминисценции, по меньшей мере неожиданные в документе, претендующим быть юридическим, государственным Актом. Всех этих фраз о варварских нашествиях, омолодивших дряхлеющий Рим, о нильских наводнениях, сравнение России с ручьем — рекой — морем, всего этого ни у Лезюра, ни у Сокольницкого нет, всё это литературные украшения Галльярдэ, имеющие, однако, определенную цель: еще и еще запугать Европу, и без того уже перепуганную на-смерть.

Для этого же и повторение в «Завещании» обширного XIV параграфа, так неправдоподобно-откровенно рассказывающе-

го, в надлежащий момент, Россия бросит на Европу «дикие орды **номадов,** которые будут убивать и грабить беззащитных европейцев».

Анонимный критик 1872 года, приведя эти фразы, резонно заметил: «Такие вещи иногда делаются, как это недавно сделала Пруссия во Франции, но никогда тот, что собирается это сделать, не оповещает об этом заранее, а пишут обычно совсем обратное».

Прежде, чем перейти к последней стадии в развитии мифа о Петровом «Завещании», докончу характеристику книги Гальярдэ, для чего придется нарушить хронологический порядок изложения и забежать вперед.

Написанная бойко и занимательно, изобилующая ультрапикантными подробностями, попавшая в подходящий момент повышенного и озлобленного интереса к России, она целиком разошлась в годы, заполненные Венгерским восстанием (1849), Крымской кампанией (1854-56) и вторым польским восстанием (63 года). В 1866 г. понадобилось ее второе издание.

Это второе издание оказалось значительно видоизмененным; не знаю, улучшенным-ли? Начать с того, что «Мемуары рыцаря д'Эона» превратились теперь в «Мемуары о рыцарше д'Эон». Д'Эон оказался женщиной. Затем предисловие обогатилось «Актом покаяния» автора. Эти страницы так характерны, что на них стоит остановиться. (Стр. 111, IV).

Повторив весь рассказ о работах в архивах и о нахождении драгоценных документов, **впервые** им опубликованных еще в 1836 г., Гальярдэ продолжает: «...Но я совершил тогда ошибку, объясняемую моей молодостью и тем литературным жанром, в котором я только что испытал свои силы. Мне было 25 лет, и я только что поставил вместе с Александром Дюма драму "La Tour de Nesle". Я только и мечтал о запутанных приключениях, о трагических любовных интригах и о мрачных тайнах. Жизнь рыцаря д'Эона, как я ее узнал, хотя и изобиловала приключенями, всё-таки показалась мне слишком простой, и я заподозрил в ней закулисную сторону... Мое воображение заработало, и в результате книга моя составилась из двух частей: одной — подлинной, другой — романтической... Но библиофилы (sic!) и антиквары (sic!) сетовали на такое смешение, не позволявшее отличать в моей книге действительно бывшее от сочиненного и лишавшее всех, и меня в том числе, возможности пользоваться драгоценнейшими находками...» (вероятно подразумевалось «Завещание»). Поэтому ввви-

ду протестов «библиофилов» и «антикваров» Галльярдэ решил «вычистить» свою книгу от всех выдумок. Выпуская новое ее издание, он утверждает, что в нем осталась одна только голая историческая правда, но среди этой «исторической правды» попрежнему фигурирует «Завещание» Петра, оснащенное всеми литературными красотами Галльярдэ.

Для целей анти-русской пропаганды оно годилось как нельзя лучше, а романтические подробности, среди которых оно было вкраплено, отлично обеспечивали его распространение среди самой широкой публики[8].

IV. Заключение

О дальнейшей судьбе изобретения г. Галльярдэ остается добавить немногое.

В 1830-31 г.г., во время польского восстания, в Париже образовался «Комитет помощи полякам», заседавший в знаменитом «отеле Ламбер» князя Адама Чарторийского. Комитет этот возглавлялся Лафайеттом, а в состав его входили, кроме виднейших представителей польской аристократии, еще и представители науки и общественности. В числе последних заметную роль играл некий Леонард Хо́дьзко, литовский уроженец, питомец Виленского университета. Ему было лет 30, и уже с 1826 года он осел в Париже и служил библиотекарем сперва в Сорбонне, потом на Мон-Сент-Женевьев, а потом в министерстве народного просвещения. В июльскую революцию он оказался национальным гвардейцем и одним из адъютантов Лафайетта. Он переписывался с Мицкевичем, бывшим в 30-м и 31-м годах в Италии, и очень много писал и издавал. Некоторые из его трудов не лишены достоинств, а его «Польская история», в разных переработках выдержавшая множество изданий, долгое время считалась авториетом не только среди широкой публики, но даже и среди ученых специалистов.

Вот этот то Леонард Хо́дзько, проявивший себя столь пламенным патриотом в 1831 году, оказался не совсем честным историком в 1839. В своей ненависти к России, он злоупотребил и своим ученым авторитетом, и своими учеными званиями и, пользуясь ими, сознательно обманул своих читателей, введя

[8] На наших глазах, в 1935 году, Бернард Грассэ снова переиздал «Мемуары рыцаря д'Эона». «Завещание» Петра находится в нем полностью в том самом виде, в котором оно впервые появилось 100 лет тому назад.

в свою «Польскую историю», переиздававшуюся с 1839 года множество раз, фантастическую выдумку бойкого парижского журналиста.

Нечаянно, он как бы еще подчеркнул свой проступок следующими словами своего предисловия: «Я буду **честен и беспристрастен...** Все мои сведения почерпнуты **из подлинных источников;** все мои цитаты заимствованы у современных **компетентных авторитетов...»** А далее, начиная с 24 стр., мы читаем: «Начиная свое царствование, Петр составил свое «Политическое завещание» и в течение двадцати лет работал над осуществлением этой программы захвата мира... В 1709 году, после Полтавской битвы, он набросал план своего «Завещания», которое переправил в 1724 г.... Благодаря случайности, коей романтические приключения были бы здесь излишни (еще бы! А. П.) французский посол при Елизавете ухитрился скопировать этот необыкновенный документ и переслал его Версальскому Двору». И затем приводится целиком текст Галльярдэ!

Назревала Крымская кампания. По распоряжению Наполеона III, на стенах парижских домов расклеивалось «Завещание Петра Великого». Французы готовились к войне. В 1854 году военный издатель Корреар (J. Corréard) издает географическую карту России, с обозначением ее территориальных приобретений, начиная со времен Петра. В заголовке значится: «С приложением «Завещания» этого монарха и объяснениями. Извлечено из политических «Анналов» Леонардо Хóдзько». Затем приводится текст Галльярдэ и к нему примечание: «Это Завещание было набросано Петром после Полтавской битвы в 1710 г. (sic!) и пересмотрено им после Ништатского мира в 1722 г. Окончательно изложено оно было в 1730 г. канцлером Остерманом. Мы воспроизводим весь текст полностью и точно в том виде, в каком он помещен в «Истории Польши» Леонарда Хóдзько, изданной в Париже в 1839 г.».

При этом Корреар даже не задумался над тем, правдоподобно-ли, что «Завещание» Государя «окончательно обрабатывается» канцлером, 5 лет спустя по смерти монарха?

Проходит еще 3 года. Парижский мир 1856. Россия унижена и ослаблена. Франция торжествует. В 1857 г. плодовитый польский поэт и писатель, Христиан Островский, с давних пор сотрудничавший с Леонардом Хóдзько, выпускает третьим из-

данием свои «Славянские письма» за 1833-57 гг. В них на первом месте помещено «Завещание» Петра, снабженное такой характеристикой: «Это «Завещание», **подлинность которого ныне вне всяких сомнений,** является основанием и верховным законом всей русской политики... Экземпляр этого документа хранится в Архивах Французской Империи»... Далее имеется ссылка на Галльярдэ и указание, что этот «документ» был перепечатан в газетах "Le Siècle" и "La Patrie".

Новшество, внесенное самим Островским, невелико: у него оказался еще один лишний параграф, XV-ый, ибо, вероятно для вящей вразумительности, он внес в него заключительную фразу: «Так должна быть подчинена Европа».

К сожалению, так распространяемое «Завещание» действовало не только на толпу. Иногда оно попадало в высококвалифицированные круги ученых, у которых временно замирала всякая научная критика.

Так случилось, например, с почтенным историком Анри Мартеном. В толстом томе, посвященном России и Европе, автор тщится доказать, что русские вовсе не славяне и не родичи поляков, а совсем особая раса «варваров-московитов», и эта особая раса охвачена раз навсегда «непомерным духом распространения (envahissement)». Этот дух «особенно ярко отразился в **замечательном документе, опубликованным Галльярдэ и Ходзько в 1836 и 1839 годах».** И дальше мы читаем не только все четырнадцать параграфов из «Записок рыцаря д'Эона», но и все литературные украшения Галльярдэ.

Турецкая кампания 1877-78 года. Император Александр II в Ливадии, в разговоре с английским посланником указывает ему, что пора-бы перестать повторять бабьи сказки о «Завещании» Петра. Канцлер Горчаков делает соответствующее представление по этому же поводу. Результатов не видно.

На этом остановимся. Еще раньше Сокольницкого-историка, другой польский же историк громко заявил о фальшивости разбираемого нами квази-документа.

Казимир Валишевский в своей объемистой монографии о Петре Великом, в последней главе III-ей части, озаглавленной «Завещание Петра Великого», на стр. 604-606, говорит: «Петр **не оставил никакого завещания.** Я не забываю документа под таким заглавием, столь усердно распространяемого и столь старательно комментируемого (в примечании: и который еще так недавно дал повод блестящему публицисту — Эдуарду Дрюмону — говорить об опасностях франко-русского союза, "Libre Parole", 4 sept. 1896). **Но это «писание» чистейшая мистификация.** Да и этот самый рыцарь или рыцарша д'Эон... мемуары коего, опубликованные Галльярдэ в 1836 г., сообщили публике его головокружительное открытие. Да откуда взял Галльярдэ эти мемуары?... Подлинные мемуары д'Эона действительно находятся в Архивах Кэ д'Орсэ. Нужно ли говорить, что они не имеют ничего общего с теми, которые ему приписали, и что в них и следа нет какого бы то ни было «Завещания»? (Стр. 605).... Не знаю, откуда взял Галльярдэ мемуары, которые ему заблагорассудилось приписать д'Эону. Но очень подозреваю, откуда, и даже просто знаю, откуда он взял это пресловутое «Завещание»... Первая его версия — в книге Лезюра, издания 1811 года».

И дальше Валишевский прибавляет: «В пылу полемики о подлинности текста доходили даже до отрицания нахождения его списка на Кэ д'Орсэ... Напрасно; список этот там находится; но на таком месте, и в таком внешнем виде (apparence exterieure), которые делают невозможной ошибку в определении его даты и происхождеия: **этот список — времен второй империи и крымской кампании»** (стр. 606). Валишевский заключает: **«Петр не написал ни единого слова из того текста, который прославили под его именем».**

Теперь, благодаря публикации Сокольницкого-историка, мы знаем не только это; мы знаем еще и то, что текст этот **действительно** существует, что подлинник его **действительно** находится в Архивах Кэ д'Арсэ, но, что написан он и не Петром и не д'Эоном, а доблестным ген. Сокольницким в 1797 году и находится среди бумаг этой эпохи, а вовсе не среди бумаг д'Эона. Догадки Г. Бресслау блистательно подтвердились.

Александра Петрункевич

КАМЕНКА

(ИЗ СЕМЕЙНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ)

«Тебя, Раевских и Орлова,
И память Каменки любя...»
А. Пушкин (В. Л. Давыдову).

Широко раскинулись по обоим берегам болотистой речки Тясмин старинные село и местечко Каменка*). Весело белеют, крытые соломой хатки, утопающие в зелени вишневых садков, окруженных плетеными из кукурузной ботвы тынами с выглядывающими из-за них подсолнухами. Стройно высятся над зеленью деревьев колокольни двух церквей, Свято-Николаевской и Покрова Пресвятой Богородицы, по именам которых стороны села называются Николаевской и Покровской.

Тесно жмутся друг к другу маленькие неприглядные еврейские домики вдоль грязных уличек местечка, над которыми возвышается бедное здание синагоги с прилегающим к нему хедером. Средь широкой главной улицы тянутся одноэтажные кирпичные строения с еврейскими магазинами, торгующими всевозможными товарами, начиная всем, что потребно помещьичим экономиям и крестьянским дворам, и кончая шампанским, духами и белыми лайковыми перчатками.

В стороне от магазинов, вдоль главной улицы, виднеется вывеска «заязда» или еврейской гостиницы, с кривыми окончами и покосившимся крылечком, а рядом, в соседнем переулке, в окнах высокого кирпичного здания блестят бокалы с крашеной жидкостью местной аптеки.

Налево от моста через Тясмин, если ехать от Покровской стороны к Николаевской, высятся большие здания сахарного завода, у ворот которого, над самой рекой, стоит заброшенная водяная мельница в виде небольшой белой башни в стиле

*) Привилегия на основание местечка, т. е. места еврейского поселения, дарована была Каменке польским королем Августом III в 1756 году.

русского ампира, с красной розой наверху крыши**). Сахарный завод стоит на самом берегу Тясмина, там, где он входит в скалистое ущелье, в честь которого Каменка получила свое наименование.

По ту сторону моста большая дорога подымается к местечку через большой помещичий парк, в левой стороне которого помещаются небольшие домики, составляющие усадьбу, и, посреди большого двора, стоит высокое кирпичное незаконченное здание в стиле средневекового замка.

Окрестности Каменки ничего особенного собой не представляют. Нескончаемая степь, покрытая летом широкими пшеничными и ржаными полями и зеленой листвой свеклы. Горизонт не широк, его пересекают невысокие возвышенности, отроги далеких Карпат, и глубокие овраги, по местному наречию «яры», заросшие дубовыми рощами. Лесов мало, но те, которые встречаются, обширны и сплошь состоят из старых тенистых дубов.

Такой встает в моей памяти Каменка.

Казалось бы, что Каменка ничем не отличается от других сел и местечек правобережной Украины. Но судьбе было угодно, чтобы название ее вошло не только в историю борьбы украинского казачества с поляками, но и в историю России и русской культуры и стало известно каждому грамотному русскому человеку.

Расположена Каменка в 45 верстах от бывшего уездного города Чигирина, в котором в 16-ом столетии был старостой Богдан Хмельницкий. Первую свою победу Богдан одержал над польскими гетманами при Желтых Водах, там, где Тясмин впадает в Днепр.

Вблизи Каменки, в глубине большого Грушевского леса, стоит старинный Матронинский монастырь, окруженный древними земляными укреплениями. Основан он был Павлом, епископом Переяславским, за 10 лет до нашествия Батыя. Имя свое он получил от княгини Матроны, владевшей этой местностью в те времена. Татарами монастырь был разрушен до основания и только в 1568 году на его месте была сооружена часовня. Кн. Ян Яблоновский, владевший в начале 18-го столетия Чигиринским старовством, утвердил за монастырем его прежние земли, без присоединения его к Унии, что, однако, не помешало игумену Мельхиседеку пойти против поляков и

**) На этой мельнице работал Шервуд-Верный, выдавший заговор декабристов.

в 1768 году освятить мечи Железняка и Гонты для Уманской резни.

В конце польского владычества и еще в первой половине царствования Екатерины 2-ой, Каменка была собственностью известных польских магнатов князей Любомирских. В то время Потемкин, будучи уже князем Таврическим, но не утоливший, несмотря на все почести и несметное богатство, своего безграничного честолюбия, мечтал о короне, которая сравняла бы его по положению с Екатериной и раз навсегда положила бы конец происка м ее последнего фаворита Зубова. Легче всего было осуществить эти мечты в Польше, где королевское звание было выборным, но для этого надо было быть польским магнатом, т. е. обладать поместьями в королевстве. С этой целью Потемкин приобрел у князей Любомирских за шесть миллионов рублей Смелянское воеводство, в состав которого входили Смела и Каменка. Неизвестно, посетил ли когда нибудь свои украинские владения Потемкин, но можно с уверенностью сказать, что он никогда в них подолгу не жил. Пред смертью он завещал своей любимой племяннице, красавице Сашеньке Энгельгард, выданной им замуж за графа Браницкого, знаменитую Белую Церковь, в которой еще пред самой революцией 1917 года было около 900 тысяч десятин, а детям своей сестры, Самойловой, муж которой был его шафером на его свадьбе с Екатериной, кроме других поместий, Смелу и Каменку. Первая досталась его племяннику Александру Николаевичу, а вторая его сестре Екатерине Николаевне.

**
*

Судьба Екатерины Николаевны Самойловой была незаурядной. Императрица Екатерина и ее отец рано распорядились ею. Она была выдана ими замуж за Николая Семеновича Раевского в столь раннем возрасте, что после брака еще долго продолжала играть в куклы, которые спешила прятать, услышав звонки тройки возвращавшегося мужа. Брак этот длился недолго, Николай Семенович Раевский скончался в 1771 году, от ран, полученных под Шумлой, оставив Екатерину Николаевну молодой вдовой с двумя сыновьями. Вдовство ее, однако, было кратковременным, уже через год после смерти первого мужа, она вновь вышла замуж, по любви, за генерал-майора Льва Денисовича Давыдова.

Лев Денисович был татарского происхождения. Предок его, мурза Минчак, сын мурзы Косая, прибыл в начале 15-го

столетия из Золотой Орды ко двору великого князя Василия 1-го Дмитриевича и при святом крещении получил имя Симеона. Крестившись, он стал прозываться Симеоном Косаевичем Минчаковым. По принятому тогда обычаю, ему были пожалованы великим князем земли, одни из которых были в Новгородской области, а другие под Москвой, около Бородина*). У Симеона Косаевича было два сына, Давыд и Увар. От первого пошел род Давыдовых, а от второго — дворян и графов Уваровых. Первые поколения Давыдовых назывались Давыдовыми-Минчаковыми и, повидимому, имели княжеский титул, т. к. герб их помещается на княжеской мантии при дворянской короне. Род Давыдовых до Льва Денисовича ничем особенным не отличился. Он первый достиг высокого служебного положения, заняв пост оберкригскомиссара. Екатерина II пожаловала его также званием флигель-адъютанта.

Вступив в начале 1790 годов во владение Каменкой, Екатерина Николаевна, до смерти своего второго мужа, в 1801 году, не жила в ней постоянно. Только в начале прошлого столетия она окончательно в ней поселилась и не оставляла ее до самой своей смерти в 1825 году.

С ее приездом в тихую, глухую Каменку вторгся дух славного века Екатерины. Огромный, тогда еще существовавший, каменский дом в правой части парка наполнился жизнью. Знатные друзья и знакомые, родственники из Петербурга, Москвы, Смелы и Белой Церкви, а также соседи-помещики стали постоянными ее гостями. Однако, до 1816 года, т. е. до конца Наполеоновских войн и возвращения русских войск из-заграницы, жизнь в Каменке не достигла еще своего апогея. Лишь с этого времени, когда дети и внуки Екатерины Николаевны вернулись из долголетних и дальних походов, в Каменке послышался «веселый шум деревенской семейной жизни».

К привычным посетителям Каменки присоединились друзья и боевые товарищи сыновей и внуков Екатерины Николаевны. На Украине в то время была расквартирована 2-ая армия, штаб которой находился в Тульчине, Подольской губернии, а полки были рассеяны по городам и местечкам. Главнокомандующие, командиры и офицеры 2-ой армии часто посещали Каменку. О том, какова в эту эпоху была жизнь в Каменке,

*) Л. Н. Толстой при описании в «Войне и Мире» Бородинского сражения говорит: «Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на полях и лугах, принадлежавших г-м Давыдовым и казенным крестьянам».

можно судить по тому, что пишет Н. Ф. фон Мекк П. И. Чайковский, часто, как мы увидим дальше, посещавший Каменку: «Сегодня Александра Ивановна Давыдова*) подробно рассказывала мне про жизнь Пушкина в Каменке. Судя по ее рассказам, Каменка в то время была большим, великолепным, барским имением, с усадьбой на большую ногу; жили широко по тогдашнему обычаю, с оркестром, певчими и т. д.» Да это было и немудрено: Екатерина Николаевна была так богата, что из начальных букв названий ее имений можно было составить фразу «Лев любит Екатерину».

В Каменке у Екатерины Николаевны жило ее многочисленное потомство. Из двух ее сыновей от первого брака с Н. С. Раевским оставался в живых один Николай, знаменитый герой Наполеоновских войн, храбрейший из храбрых, чье имя прославлено в русской военной истории многими подвигами, в частности, в Бородинском бою и при взятии Парижа. У него было два сына: Александр и Николай и четыре дочери. Оба сына были друзьями Пушкина и первый из них его «Демоном». Среди дочерей отличались красотой и привлекательностью Екатерина, невеста генерала Орлова, и Мария, впоследствии жена декабриста кн. С. Г. Волконского. Детей от брака с Л. Д. Давыдовым у Екатерины Николаевны было четверо — три сына и одна дочь. Старший сын, красавец Петр, прозванный le beau*), женатый на графине Н. В. Орловой, состоявший гофмаршалом высочайшего двора, жил постоянно в Петербурге и редко бывал в Каменке. Дочь София, младшая из детей Давыдовых, была замужем за первым таврическим губернатором генерал-майором А. М. Бороздиным и жила в Симферополе. У матери в Каменке жили второй сын Екатерины Николаевны Александр с женой и тремя детьми, и неженатый, младший, Василий.

Известный гастроном того времени, Александр Львович Давыдов, прославился своей невероятной тучностью. Обеденный стол перед его местом пришлось вырезать по форме его живота — иначе он не мог брать еду с своей тарелки. Свой культ еды он довел до того, что отправляясь в Париж он брал с собой своего крепостного повара и, когда приходил в ресторан, посылал его на кухню, чтобы он указывал французским поварам особенности его вкуса. Как-то отправляясь мо-

*) Моя прабабушка, вдова декабриста В. Л. Давыдова.

*) В него, говорят, была влюблена принцесса Баденская, сестра императрицы Елизаветы Алексеевны.

рем в Крым, он звал Пушкина совершить с ним путешествие, но последний не мог последовать его приглашению и ответил ему в стихах:

«Нельзя, мой толстый Аристипп:
Хоть я люблю твои беседы,
Твой милый нрав, твой милый хрип,
Твой вкус и жирные обеды,
Но не могу с тобою плыть
К брегам полуденной Тавриды....»

Как видно из этого стихотворения, Пушкин любил Александра Львовича, но это не мешало ему подтрунивать над ним и называть его «рогоносцем величавым». Поводом к такому прозвищу было то, что жена Александра Львовича, урожденная Грамон, из рода герцогов Грамон, не отличалась супружеской верностью. У ее ног, по словам современников, умирали все, начиная с главнокомандующих и кончая корнетами. Не избежал этой участи и Пушкин, если судить по его стихотворению «Кокетке». Впрочем, видимо, он недолго привлекал ее внимание, т. к. посвященная ей эпиграмма: «Иной имел мою Аглаю...» показывает его досаду на нее. Вместе с тем увлечение Аглаей не помешало Пушкину волочиться за ее двенадцатилетней дочерью Аделью и смущать ее своими страстными взглядами. Вероятно, однако, последнему волокитству Пушкин не придавал значения, т. к. стихотворение, посвященное Адели («Играй, Адель, не знай печали...»), носит скорей характер восхищения милым и красивым ребенком.

«Умным проказником» прозвал Пушкин младшего сына Екатерины Николаевны, Василия, будущего декабриста. «Le Richard» — называли его в обществе, а современники говорили про него, что он был человеком незаурядным по образованию, уму и остроумию, но добрый и бесхарактерный. По свидетельству кн. В. П. Горчакова, он щеголял манерами простолюдина. У меня сохранились две фотографии с его портретов, одного, сделанного в молодости и другого — незадолго до его смерти. На первом он изображен красивым молодым человеком, с правильными чертами лица, зачесанными назад волосами, небольшими усами, приподнятыми бровями и добрыми, мечтательными глазами. На втором, написанном в Сибири, виден сломленный страданиями и лишениями тяжелой каторжной жизни старик с угасшим взором в глазах. Мои тетки, свято чтившие память своего отца, особенно под-

черкивали, в своих рассказах о нем, его религиозность и бесконечную доброту.

В описываемое мною время он не был женат, у него была связь с крепостной его матери Александрой Ивановной Потаповой. Связь эта не была обычным в то время приключением помещика с подвластной ему крепостной девушкой. Это была сильная привязанность, длившаяся много лет и превратившаяся в законный брак только за год до ареста и ссылки, лишь потому, что при жизни матери брак этот был невозможен. Насколько прочно было чувство, соединявшее моего прадеда декабриста и мою крепостную прабабушку, видно из того, что она была одной из славных русских женщин, последовавших за мужьями в Сибирь, разделившей с ним там, до самой его смерти в Красноярске, все тяготы его жизни. Мне довелось ее видеть и знать: она умерла в Каменке 92-х лет, когда мне было уже 14 лет, окруженная своим многочисленным потомством, чтившим ее как святыню. Отличительными чертами ее были истинно христианское смирение и доброта. Глядя на нее и слушая ее, казалось, что это не женщина, а ангел, для которого ничто земное не существует. А вместе с тем много надо было силы воли и духовной бодрости, чтобы, уезжая за мужем в Сибирь, оставить шесть человек рожденных до ссылки детей, родить и воспитать на каторге еще семь и поддерживать слабовольного мужа, тяжело переживавшего свое несчастье.

Кроме прямого своего потомства, Екатерина Николаевна воспитывала в своем Каменском доме многочисленных племянников и племянниц, а также, на правах приемной дочери, доч своего крепостного дворецкого*).

Легко себе представить веселье жизни всего этого многолюдного общества в богатом доме Екатерины Николаевны. Однако, жизнь эта не отражала уже отсталого провинциального помещичьего быта, еще неизжитого в то время в России. Сама Екатерина Николаевна, ее родственники и гости принадлежали к тому кругу общества, которого уже коснулись новые веяния эпохи. Воспитание, полученное представителями этого круга, значительно отличалось от того, которое давалось их родителям до царствования Екатерины. Воспитанные французскими гувернерами, они выросли на французской ли-

*) По отношению к ней соблюдался следующий обычай: когда ее отец за столом подносил ей блюдо, она должна была встать и поцеловать ему руку.

тературе и преимущественно на сочинениях энциклопедистов. Много способствовало их развитию и масонство, широко распространенное в России во времена Екатерины.

Но если старшие представители каменского общества интересовались иностранной и нарождающейся русской литературой, философскими течениями и музыкой, то среди молодежи, жившей в Каменке и посещавшей ее, наростали другие интересы. Эта молодежь выросла в эпоху «дней Александровых прекрасного начала» и пережила наполеоновские войны. Для нее были характерны те настроения, из которых родилось декабристское движение. Как известно, у последнего была и прямая связь с Каменкой. В Тульчине находилась Главная Дума Южного общества, а по другим юго-западным городам и помещичьим усадьбам были раскинуты его местные управы. Одна из этих управ находилась в Каменке и председателем ее был Василий Львович Давыдов. В то время как в нижнем этаже дома, в гостиной Екатерины Николаевны шли светские разговоры, наверху, в комнате Василия Львовича, заговорщики обсуждали планы переворота.

Вот, что пишет Пушкин П. Н. Гнедичу о своем пребывании в Каменке:

«Я в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников. Время мое протекает между аристократическими обедами и демократическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Вы поверите легко, что преданный мгновению, мало заботился я о толках петербургских».

Помимо председательствования в Каменской Управе, Василий Львович, имея благодаря своей прежней службе в лейб-гусарах, много товарищей и друзей в гвардейских полках, бывших членами Северного Общества, был звеном между ним и Тульчинской Думой. В Каменку постоянно приезжали курьеры из одного и другого Общества для обсуждения плана общих действий. Курьеры эти оставались по несколько дней в Каменке и, принимая участие в «аристократических обедах», после них уходили в комнату Василия Львовича, где произносились пламенные речи и лилось рекой шампанское. Не все собеседники были членами тайных обществ, но все сочувствовали их идеям, иногда даже не зная об их существовании.

Кн. П. А. Вяземский, говоря о непричастности Пушкина к заговору, пишет: «Он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере. Все мы более или менее дышали и волновались этим воздухом».

Среди постоянных участников вечерних каменских «демократических споров» были Александр Львович, Н. Н. Раевский с двумя сыновьями, генерал Орлов, кн. С. Г. Волконский, а из наезжающих гостей, помимо других, Охотников, Якушкин и Пушкин. Из них только сыновья Раевского, генерал Орлов, кн. С. Г. Волконский, Охотников и Якушкин были членами тайных обществ.

Об этих сборищах вспоминают Пушкин и декабрист Якушкин, первый в своем послании к В. Л. Давыдову, а второй в своих воспоминаниях.

Пушкин пишет В. Л. Давыдову:

«А всё невольно вспоминаю,
Давыдов, о твоем вине...
Вот эвхаристия другая,
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлою струей
И за здоровье «тех и той»*)
До дна, до капли выпивали!»

Якушкин же рассказывает о последнем вечере, проведенном им в Каменке:

«Приехав в Каменку, я полагал, что никого там не знаю, и был приятно удивлен, когда случившийся здесь А. С. Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятьями. В это время были в Каменке ген. Н. Н. Раевский, сын его Александр, Орлов, Охотников».

«В последний вечер В. Л. Давыдов, Охотников и я сговорились так действовать, чтобы сбить с толку Раевского насчет того, принадлежим ли мы к Тайному Обществу или нет. Для бóльшего порядка в прениях был выбран президентом Раевский. С полушутливым и с полуважным видом он управлял общим разговором» .....

*) «Те» и «та» — неаполитанские революционеры и неаполитанская республика.

«В последний этот вечер пребывания нашего в Каменке, после многих рассуждений, Орлов предложил вопрос: насколько было бы полезно учреждение Тайного Общества в России? Сам он высказал всё, что можно было сказать за и против Тайного Общества. В. Л. Давыдов и Охотников были согласны с мнением Орлова, Пушкин с жаром доказывал всю пользу, какую могло бы принести Тайное Общество в России. Тут, испросив слово у президента, я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование Тайного Общества, которое могло бы быть хоть на сколько-нибудь полезно. Раевский стал мне доказывать противное и исчислил все случаи, в которых Тайное Общество могло бы действовать с успехом и пользой; в ответ на его выходку я ему сказал: мне не трудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь существовало тайное общество, вы наверное к нему не присоединились бы. Напротив, наверное бы присоединился, отвечал он. В таком случае давайте мне руку, сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: разумеется, всё это только одна шутка. Другие тоже смеялись, кроме А. Л. Давыдова, рогоносца величавого, который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован; он перед этим уверился, что Тайное Общество или существует, или тут же получит свое начало и он будет его членом; но когда он увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, раскрасневшись, и сказал со слезой в глазах: Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель пред собой, и всё это была только шутка! В эту минуту он был точно прекрасен».

Много было написано о том, почему на каменских вечерних беседах Пушкин не был принят в тайное общество. Думается мне, что дед мой Петр Васильевич, его брат Николай и старшая их сестра Елисавета правильно решали этот вопрос. По их рассказам выходило, что заговорщики, во-первых, не рассчитывали на осторожность Пушкина, боясь, что при его темпераменте, он не то, что не сдержит данного им слова хранить тайну, но либо стихом, либо необдуманно сказанным в споре словом наведет власть на след Тайного Общества. С другой стороны, они понимали, что участие Пушкина в заговоре, в случае его неудачи, погубит его и его талант, т. е. принесет России незаменимую потерю.

Пушкин приехал в Каменку в ноябре 1820 года с генералом М. Ф. Орловым из Кишинева, где последний командовал

воинской частью, вероятно, по приглашению семьи Раевских, с которыми он путешествовал по Кавказу, а потом провел некоторое время в Крыму, в Гурзуфе. Помимо дружбы с сыновьями Н. Н. Раевского, Александром и Николаем, последнему из которых он посвятил написанного им в Каменке «Кавказского пленника», Пушкина влекло туда, может быть, одно из самых возвышенных и чистых из испытанных им чувств — его любовь к их сестре Марии, будущей жене декабриста кн. С. Г. Волконского. Любовь эта началась на Кавказе, а может быть, в Крыму, и выразилась сначала в известных строфах Евгения Онегина, в которых он говорит о женских ножках, а затем, позже, когда Мария Николаевна была уже с мужем на каторге в Сибири, в посвящении ей «Полтавы».

Чувство это не мешало, однако, Пушкину волочиться за Аглаей Давыдовой, преследовать ее дочь Адель, принимать участие в «демократических спорах» и, главным образом, писать. Кроме «Кавказского пленника», он написал в Каменке «Я пережил свои желанья...» и несколько других стихотворений, которые он подарил В. Л. Давыдову и которые были взяты жандармами при аресте последнего и погибли безвозвратно.

***

Блестящий период каменской истории продолжался недолго, всего каких-нибудь десять лет. В начале 1825 года скончалась Екатерина Николаевна, а в январе следующего года, после разгрома восстания 14-го декабря, были арестованы Василий Львович Давыдов и кн. С. Г. Волконский. Жизнь в Каменке замерла надолго — на 35 лет. Александр Львович скончался еще раньше, а жена его вернулась во Францию и впоследствии вышла замуж за известного генерала Себастиани. Раевские переехали в выделенную им еще в 1805 году часть Каменки Болтышку, а жена Василия Львовича последовала за мужем в Сибирь, оставив детей своих на попечение графини Чернышевой-Кругликовой, жившей в Петербурге. Этих детей было шестеро, два сына и две дочери, рожденные до брака, и два сына — мой дед Петр и мой дядя Николай, родившиеся после брака и до ссылки. Екатерина Николаевна завещала Каменку Василию Львовичу, а потому, после его ссылки, она перешла к законным его сыновьям и не была конфискована.

Опекуном над малолетними наследниками и их имуществом был назначен владелец Смелы, муж племянницы Екате-

рины Николаевны Самойловой — граф Бобринской. Видимо, он мало уделял внимания Каменке, т. к., по словам моего деда, в дни его детства и юношества там полновластно распоряжались управляющие, не только не соблюдавшие интересов малолетних владельцев, но форменным образом расхищавшие имение. Почему-то во время их владычества был разобран до основания огромный каменский дом и флигель с колоннами в левой части парка, в котором, лежа на биллиарде, любил писать Пушкин. До разорения главного дома, на его террассах, где когда-то собиралось аристократическое общество, управляющие устраивали пиршества с соседями. Лилось остававшееся еще в погребах шампанское, которым поили даже лошадей, а хор крепостных пел малороссийские песни.

В результате такого управления каменское хозяйство пришло в полное расстройство и молодым его хозяевам грозило разорение. Спасли их испытанные ими в Петербурге служебные неудачи. Окончив Школу Гвардейских Подпрапорщиков, старший из них, Петр, вышел офицером в Конную Гвардию, а младший, Николай, в Преображенский Полк. Однако, оба недолго оставались на военной службе. Первому пришлось покинуть ее из-за недопустимых шалостей, а второму из-за резкости, бывшего тогда наследником, будущего императора Александра 2-го. Когда Николаю 1-ому было доложено, что корнет Конной Гвардии Петр Давыдов проскакал на паре с пристяжкой по Невскому проспекту от Адмиралтейства до Александро-Невской Лавры, а затем выехал верхом в лагере на переднюю линейку в голом виде, он только рассмеялся и сказал: «пусть поедет проведать отца в Сибири». Наказание было легким потому, что дед отправлялся в Красноярск совершенно свободно и мог вернуться оттуда, когда ему заблагорассудится. Да и для ссыльного отца было большой радостью увидеть сына. Так мягко поступил с сыном декабриста прославленный своей строгостью Николай 1-ый. Совершенно иначе обошелся с дядей Николаем наследник Александр Николаевич, впоследствии даровавший амнистию декабристам. На параде Преображенского полка, который он принимал, он крикнул, сделавшему какую-ту ошибку дяде: «Подпоручик Давыдов, вы всегда и всё врете», после чего дяде не оставалось ничего другого, как подать в отставку.

Пробыв в Сибири не более года, мой дед вернулся женатый на дочери декабриста кн. С. П. Трубецкого, красавице Елисавете и поселился с ней в ее имении Саблы, в Крыму, а

дядя Николай отправился в Каменку заниматься хозяйством. Это и спасло ее.

Найдя дела в Каменке в полном расстройстве, дядя Николай всецело отдался приведению их в порядок. Образ жизни принятый им тогда и сохраненный им до конца жизни был спартанский. О «веселом шуме семейной деревенской жизни» в Каменке теперь не могло быть и речи. От прежнего каменского богатства не оставалось ни следа, да к тому же дядя был холост и жил один. Надо было думать не только о собственном питании, но и о братьях и сестрах, живших в Петербурге, да и об отце и его семье в Сибири. Под руководством своего дяди гр. Бобринского, опытного сельского хозяина и пионера свекловичного сахароварения на Украине, дядя Николай сначала наладил в Каменке полеводство, а затем построил сахарный завод. Дела начали быстро поправляться и через несколько лет братья могли не только содержать себя и отца, но и откладывать капитал для рожденных в Сибири сестер и братьев.

В 1855 году, похоронив в Красноярске мужа, вернулась с детьми из Сибири прабабушка Александра Ивановна. Поселилась она в Киеве и лишь летние месяцы проводила в Каменке. Всё же в последней опять началось некоторое оживление. Давыдовская семья соединилась, Александра Ивановна собрала вокруг себя своих детей, как родившихся до ссылки их отца в Сибирь, так и после нее. К этому времени из ее 13-ти детей оставалось в живых одиннадцать.

Скоро дяде Николаю, главным интересом которого никогда не было сельское хозяйство, удалось осуществить то, что всегда его привлекало, т. е. занятие философскими, общественными и политическими вопросами. Заметив, что старший из рожденных в Сибири братьев, Лев, проявляет интерес и способность к хозяйству, он, с согласия своего брата и совладельца по Каменке, моего деда Петра Васильевича, передал ему управление имением, а сам, пользуясь обширной библиотекой, сохранившейся в Каменке, предался своим любимым занятиям.

Я хорошо помню дядю Колю, как мы его называли; он умер в 1916 году, 90 лет, когда я был уже совсем взрослым. У меня, по мере того, что я узнавал его, сложилось о нем впечатление как о человеке незаурядном. Наружно он был небольшим, сухим стариком, никогда не хворавшим и в молодости обладавшим большой физической силой. Все его движения, походка, жесты были как-то решительны и живы, в

них проявлялась унаследованная им от матери сила воли. Внутренне он был странным сочетанием почерпнутых им в книгах отца идей 18-го столетия и крайнего консерватизма. Слушая его и наблюдая за ним, я сначала прозвал его последним вольтерианцем, но сохранить за ним это прозвище мне мешал его политический консерватизм. Никогда не слышал я от него атеистических высказываний, но вместе с тем я не помню, чтобы он когда-либо ходил в церковь, даже в Пасхальную ночь. Зато о либеральных идеях того времени он говорил, не скрывая своего отвращения к ним. Мне кажется, что унаследовавши от отца большой ум и остроумие, получивши в детстве хорошее образование, усовершенствованное чтением, он был очень одиноким в окружающей его среде. Горячо любя свою мать, своих сестер и братьев, дядя Николай не хотел оскорблять их высокую религиозность атеистическими высказываниями ,а политические его взгляды вполне совпадали с их убеждениями. Я часто спрашивал себя, как дети декабристов, по крайней мере, те, которые составляли мою родню, так резко отличались своими взглядами от своих родителей. Мне долго было непонятно, что дети людей, пошедших из-за своих либеральных взглядов на каторгу и сохранивших на ней верность этим взглядам, могли, свято чтя память своих родителей, так резко расходиться с ними во взглядах. Помню как поразил меня трогательный рассказ кн. С. М. Волконского, в его книге «О декабристах», о том, как отец его, посланный имп. Александром 2-ым в Сибирь с манифестом об амнистии, переправившись в Иркутске ночью через Ангару, постучал в дверь дома своего отца и на вопрос «кто там», ответил: «Я привез прощение». Мне казалось странным как люди, загубившие свою жизнь из-за желания свергнуть царскую власть, могли с радостью принять от нее «прощение». Каюсь, что было время, когда я подозревал этих чистых идейных людей в ренегатстве, в сдаче и раскаянии в совершенном ими. Однако, сохранившаяся в русском обществе, в самых левых его кругах, благоговейная память о декабристах заставила меня изменить мое мнение. Теперь слова сына декабриста Волконского представляются мне как заключительный аккорд долгой драмы, пережитой Россией от начала царствования имп. Александра 1-го до воцарения Александра 2-го. Манифест, привезенный темной ночью в Иркутск, означал конец целого периода русской истории и был зарей того нового дня, который всходил над Россией. Пушкин писал декабристам:

«Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье» —

и он не ошибся. Сын «жандарма Европы» начинал свое либеральное царствование, признавая правоту тех, кто тридцать лет перед тем мыслил как он, и протянул им руку. Сын Волконского мог вместо «прощения» сказать «примирение». Для детей декабристов дело их отцов казалось законченным и правда, оказавшейся на их стороне — им нечего было более бороться с властью, а высокая духовность и бескорыстная жертвенность их отцов вызывала в них глубокое уважение.

Чтобы закончить образ дяди Николая мне надо остановиться на его характере. При первой встрече и после первого с ним разговора можно было принять его за человека недоброго, властного, нетерпящего чужого мнения, и лишь при более близком знакомстве с ним открывалось его большое обаяние и сердечная доброта. Даже совершенно новому для него человеку, неразделяющему его взглядов, он мог, стукнув палкой, ответить: «вздор», а затем поразить его глубиной своих мыслей и обширностью своих знаний. Доброта его сказывалась не только в широкой благотворительности, но и в том, что от него никто не слышал осуждения кому-либо. Когда кто-нибудь, даже из близких родственников, совершал что-либо несогласное с правилами морали или чести, он делал вид, что ничего не знает об этом и не менял к нему своего отношения.

Была у дяди Николая особая черта, впрочем, распространенная и среди других русских помещиков на Украине; он ненавидел поляков, которых было много среди соседей-помещиков. Он называл их «ляхами» и ни один из них никогда не переступил порога каменского дома. Причиной такой ненависит было воспоминание о польском восстании 1863 года. Хотя польские помещики не могли найти поддержки в местном православном крестьянском населении, но всё же им удавалось составлять небольшие банды для нападения на полицию и на усадьбы русских соседей. Последним приходилось принимать меры охраны и предосторожности. Дядя Николай, за неимением огнестрельного оружия, вооружил свою дворню изготовленными на каменской кузнице пиками и сам по ночам ходил дозором по усадьбе. Дело обошлось благополучно, на Каменку никакого нападения совершено не было, а на память об этом времени у дяди долго хранились две пики.

Были у дяди Николая и странности, в том числе неве-

роятная мнительность. Обладая хорошим здоровьем, он находил необходимым тщательно за ним следить и для этого ежедневно, три раза в день, он измерял свою температуру и записывал ее в особые записные книжки, рядом с другими заметками о своем самочувствии. Такие записи у него накопились за много лет, и когда его спрашивали, какая у него была температура, положим, 3-го декабря 1865 года в 3 часа дня, то он брал с полки соответствующую книжку и давал точную справку. Удивительно то, что температура всегда оказывалась нормальной. В той же заботе о своем здоровьи он требовал, чтобы врач больницы его сахарного завода ежедневно утром посещал его и прописывал ему лекарство. Не зная как поступить, врач сговорился с аптекарем, что какой бы рецепт он ни получил от дяди, он посылал бы ему просто воду с сиропом. Но как-то врачу пришлось прописать настоящее лекарство в виде капель, которые и были доставлены из аптеки ввиду особой отметки на рецепте, сделанной врачем. Дядя, привыкши пить свои сиропы столовыми ложками, таким же образом принял и капли, что, впрочем, нисколько ему не повредило.

Милый, хороший дядя Коля, еще сейчас вижу тебя таким, каким ты приходил из своего «Зеленого домика» к пятичасовому чаю в «Большой дом», где жили твоя мать и твои сестры. Вижу твою небольшую сухую, крепкую фигуру, так решительно шагающую с палкой в руках, вижу блеск твоих умных черных глаз и твою милую, добрую улыбку, когда ты подставлял для моего поцелуя твою гладко выбритую щеку. Какой ты был всегда опрятный, как хорошо пахло от тебя каким-то особенным мылом....

***

В 1860-ом году дядя Лев Васильевич Давыдов женился на Александре Ильинишне Чайковской и привез молодую жену в Каменку. Это обстоятельство открыло новую страницу в истории Каменки и связало ее имя с именем Петра Ильича Чайковского. Судьбе было угодно, чтобы вслед за Пушкиным, другой русский гений увековечил ее имя. И не только тем, что этот гений часто посещал ее и даже одно время сделал ее своим постоянным местожительством, но и тем, что обитатели ее, т. е. семья Давыдовых, стали для него самыми близкими и дорогими людьми.

Что же такое нашел Петр Ильич в Каменке и у Давыдовых, чтобы полюбить их как родных?

Прежде всего ни сама Каменка с ее неудобной усадьбой, состоящей из небольших тесных домиков, стоящей над вонючим, болотистым Тясмином, рядом с грязным и пыльным еврейским местечком, ни окружающий ее пейзаж не могли привлекать Петра Ильича, видевшего роскошь Браиловской усадьбы Н. Ф. фон Мекк и много путешествовавшего заграницей. Затем сами Давыдовы, с их скромной и однообразной жизнью и отсталыми от века понятиями и небольшим интересом к музыке, не могли, по первому взгляду, быть для человека утонченной культуры и широких знаний, каким был Петр Ильич, обществом, в котором он мог найти удовлетворение своим интересам. Даже дядя Николай, этот умный и образованный, но чуждый новым столичным вкусам и нетерпимо относящийся к чужим взглядам человек вряд-ли мог казаться приятным и симпатичным Петру Ильичу. Наконец, несмотря на широко распространенное мнение о том, что Петр Ильич высоко ценил украинские народные напевы и многое взял из них для своих сочинений, в действительности, как мы знаем теперь, его в этом отношении постигло большое разочарование. То, что он услышал в Каменке, было лишено оригинальности, а по красоте уступало великорусским напевам. Лишь фортепианный "Scherzo á la Russe" инспирирован песнью, которую пели под его окном садовые девушки, да тема Второй Симфонии, которую Петр Ильич сначала назвал «Журавель», взята из украинской песни того же названия. Даже известные песни «лирников», т. е. слепых украинских нищих, поющих о былой славе Украины, не нашли в нем особого отклика, — лишь одну из них он использовал в первой части своего фортепианного концерта (ор. 23).

И тем не менее, где бы Петр Ильич ни находился, в роскошном ли Браилове, на даче ли близ Петербурга, в Париже, в Италии или в Швейцарии, его всегда тянет в Каменку. Уже после первого посещения ее он пишет сестре: «Никогда в жизни не проводил я более приятного лета». А живя с семьей Давыдовых на Мятлевой даче, близ Петергофа, он пишет: «Мы живем на Мятлевой даче совсем недурно и если бы не постоянная грызущая мысль о Каменке, то можно было бы найти эту жизнь приятной». И даже находясь в Париже он мечтает о Каменке. «Нельзя не признать», — пишет он, — «что для работающего артиста такая шумная, блестящая обстановка, как Париж, годится бесконечно менее, чем какое

нибудь Тунское озеро, уже не говоря о берегах, хотя вонючего, но милого Тясмина, имеющего счастье протекать мимо дома, в котором живут некоторые прелестные и дорогие мне особы».

И рядом с этой постоянной мыслью о Каменке в письмах Петра Ильича мы находим самые теплые и нежные слова об ее обитателях. Так, прабабушку Александру Ивановну и ее дочерей, моих теток Елизавету и Александру, он не называет иначе, как «наши ангелы», «наши три голубушки». В том же письме к сестре с Мятлевой дачи, он говорит: «Что за идеальные люди Давыдовы. Это для тебя не новость, а мне трудно удержаться не говорить о них: в такой интимности, как теперь, я никогда еще с ними не жил и мне приходится каждую минуту удивляться бесконечной их доброте».

Не испугала Петра Ильича и суровая внешняя оболочка дяди Николая. По свидетельству Модеста Ильича, Петр Ильич очень скоро после первого контакта увидел под этой оболочкой его сущность и настолько подпал под его обаяние, что даже перенял у него его консервативные взгляды.

Я видел Петра Ильича в Каменке в последние годы его жизни, когда он уже редко в нее наезжал. Был я тогда еще очень юным и не мог, конечно, судить о нем и о причинах его тяготения к ней и к моей родне. Всё же многое может быть более доступным моему пониманию, потому что я жил в той атмосфере, которой дышал Петр Ильич, и близко знал тех, которых он так любил. Много слышал я о Петре Ильиче и о его жизни в Каменке от ее жителей, а впоследствии, вращаясь среди семьи его сестры, зная хорошо ее детей, моих двоюродных дядей и теток, я не только знал, но и чувствовал эту атмосферу. Для меня не подлежит сомнению, что главная причина любви Петра Ильича к Каменке лежала в нем самом, в его склонностях, интересах и вкусах. В ней и в семье Давыдовых он полностью нашел то, что ему было необходимо. Петр Ильич любил семейную жизнь и был лишен ее, как артист он нуждался в свободе и не находил ее в Петербурге. И то и другое он полностью имел в Каменке. Прежде всего, там жила его любимая сестра Александра Ильинишна, безоблачное семейное счастье которой его и восхищало и умиляло. Там жили ее дети, которых он так любил и для которых он был любимым «дядей Петей». А затем остальные Давыдовы были такими хорошими, простыми людьми, так ласково и сердечно к нему относившимися и никогда не вмешивавшимися в его личную жизнь. В Каменке Петр Ильич мог на-

долго исчезать в своих комнатах и беспрепятственно отдаваться своей работе, а затем, выйдя из них, беседовать с дядей Николаем на политические и философские темы, придумывать игры и забавы для детей, заниматься с ними музыкой или, наконец, мирно беседовать с своими «голубушками» и принимать участие в их шитье.

Мог он ежедневно совершать прогулки по окружающим Каменку небольшим лесам, Зрубанцу, Тарапуну, Пляковским дубкам, или устраивать пикники в Большом лесу, где зажигались столь любимые им костры и куда отправлялись в больших четырехместных колясках, запряженных четверкой цугом. «Господи, что бы я дал чтобы внезапно очутиться в Большом лесу», пишет Петр Ильич сестре из Содена. «Воображаю себя тащущим сухие ветки, листья и прутья для костра; вижу на пригорке тебя с Левой, детьми, окружающими скатерть с самоваром, хлебом и маслом; вижу отдыхающих лошадей, обоняю запах сена, слышу милые детские крики. Какая всё это прелесть!» Когда я пишу эти строки, всё, что описывает Петр Ильич, встает как живое перед моими глазами. И я ездил в Большой лес, или, как мы его называли, Болтыш, в той же коляске, может быть, одновременно с ним, и мой детский крик слышался около пригорка и так же пахло сеном и так же кипел самовар.....

Но в Каменке Петр Ильич находил и другое, что шло навстречу его умственным интересам. Из эпох русской истории Петр Ильич больше всего интересовался веком Екатерины и особенно началом 19-го столетия. В каменской библиотеке он находил то, что занимало умы конца 18-го века, а сама Каменка и среди ее жителей прабабушка Александра Ивановна и старшая дочь ее Елизавета были живыми свидетелями событий времен царствования Александра 1-го, а главное, видели и знали Пушкина, которого Петр Ильич так любил. Дружба Петра Ильича с семьей Давыдовых началась в Петербурге, где они жили несколько лет, беседами с тетей Лизой, которая, во время пребывания ее матери в Сибири, воспитывалась в доме гр. Чернышевой-Кругликовой, в котором она встречала всех замечательных людей того времени, Пушкина, Гоголя и др. Прабабушка же Александра Ивановна могла говорить Петру Ильичу о жизни в Каменке, когда в ней бывал Пушкин и собирались декабристы.

Если украинский фольклор не имел особого влияния на творчество Петра Ильича, то, несомненно, историческое прошлое Каменки и в особенности тень Пушкина, легшая на нее,

влияли на него сильно. Недаром в Каменке он полностью написал увертюру «1812-ый год» и, окончив «Евгения Онегина», в первый раз сыграл его целиком пред семьей Давыдовых. Я, конечно, не был при этом, но мне нетрудно представить себе Петра Ильича за фортепиано, стоявшим у окна в левом углу столовой, так называемого Большого каменского дома. Вижу я и слушателей, сидящих на стульях и креслах ампир вокруг обеденного стола. Вот дядя Николай с трубкой, с длинным черешневым мундштуком, вот прабабушка, сгорбленная старушка с морщинистым лицом, вот тетушки Елизавета Васильевна и Александра Васильевна, все три в простеньких сереньких платьях с пелеринками, и наконец, дядя Лева и тетя Саша....

В то время, как я уже сказал, не было больше ни огромного каменского дома, ни флигеля с колоннами, в которых бывал Пушкин, но сохранился в правой стороне парка грот, где он любил сидеть. Петр Ильич часто сиживал в этом гроте и, может быть, там являлись ему образы Татьяны и Евгения. В этом гроте тетушка Елизавета Васильевна уговорила Петра Ильича не менять конца «Онегина», как предлагал ему Модест Ильич, и не заставлять Татьяну покинуть мужа ради любви к Евгению.....

Если Петр Ильич под конец своей жизни стал всё реже и реже посещать Каменку, то это произошло потому, что он не мог больше находить там того, в чем так нуждалась его страждущая душа. Старшие представители семьи Давыдовых быстро старели. Прабабушка Александра Ивановна, пережившая Петра Ильича, хотя до самой своей смерти сохранила свежесть ума и памяти, но физически дряхлела и долгих бесед с ней нельзя было уже вести, а все интересы ее дочерей, моих старушек-тетушек были направлены на заботу об их «маменьке», как они ее называли. В эту пору нас, мальчиков, водили к прабабушке уже только раз в день и всего на полчаса после обеда. Но главная причина отдаления Петра Ильича от Каменки была болезнь его сестры Александры Ильинишны, причинявшая ей невыносимые страдания, облегчение которым она находила в морфине и других болеутоляющих средствах. Я помню, что под влиянием этих средств, она иногда казалась нам ненормальной. Петр Ильич, с его повышенной чувствительностью, не мог выносить состояния своей сестры и, зная, что помочь он ей не может, предпочитал ее не видеть.

Было, однако, нечто другое, что временно влекло Петра

Ильича в Каменку — это его любовь к племяннику, старшему сыну его сестры — Владимиру, более известному под уменьшительным именем «Боб». Любовь эта была, может быть, самой сильной привязанностью Петра Ильича. Началась она тогда, когда Боб еще был совсем ребенком, и в это время сказывалась в том только, что из всех детей своей сестры Петр Ильич больше всех баловал Боба. Но затем, когда мальчик стал подрастать и превратился в прелестного, умного, талантливого и милого юношу, Петр Ильич всем сердцем привязался к нему. Как известно, Петр Ильич посвятил Бобу несколько своих произведений, в том числе и самое замечательное — Шестую Симфонию. Но помимо того он передал Бобу и ту поразительную тонкость эстетических ощущений, которая сделалась его отличительной и самой прекрасной чертой.

Когда в конце 80-ых годов Боб переехал для учения в Петербург и поселился у Модеста Ильича, последнее связующее Петра Ильича звено с Каменкой отпало и он нашел тогда другое место для своего уединения — Клин.

А. В. Давыдов.

ИЗ ЗАПИСОК ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛИТРАБОТНИКА*)

6. «ЗАПЛУТАВШЕЕ СЧАСТЬЕ».

Я приезжаю в 1203 полк, чтобы побеседовать с бойцами. На мне солдатская шинель, надетая на одну руку (вторая была еще забинтована после ранения), в кармане — суточная норма сухарей и на шее мой неизменный друг — трофейный тридцатидвухзарядный автомат.

Прихожу в роту, собираю солдат, знакомлюсь.

Спрашиваю:

— Как дела, товарищи?

— Да так, как сажа бела...

Смельчак добавляет:

— Плохо, товарищ начальник, поесть бы не мешало.

— Правильно, — говорю, — действительно плохо. У меня тоже вот один сухарь остался, а получу ли завтра — сам не знаю. Не от нас это зависит, друзья мои. Там, наверху, какая то «заковыка» получается. Ну, а что из дому пишут хорошего? — интересуюсь я. — Как поживают родные?

Бойцы начинают делиться домашними новостями. В них мало радости, но вместе с сообщениями о тяжелой работе и нехватках, высказываются мысли о необходимости страданий: «мы как нибудь уж проживем, над нами не летают снаряды или пули, лишь бы вы скорее разбили фрицев и возвращались домой».

Я вынимаю из кармана фронтовую песенку Алексея Суркова «В землянке» и передаю ее солдатам. Так уже у нас, у русских, заведено. Мы поем, когда нам радостно и когда тяжело. Мы не покидали песню и на войне. Она сближала нас и облагораживала очерствевшие и исстрадавшиеся души фронтовиков.

Появляется двухрядная гармонь и мы начинаем петь, сначала неуверенно, а потом все смелее и дружнее.

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

*) См. 22-ую кн. «Нового Журнала».

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами леса и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге на зло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.

Эта милая лирическая песенка дошла до сердца солдат.

— Вот здорово написано! — восторгались они. — Если бы побольше было таких правдивых и задушевных песен, то и наша жизнь была бы легче. Особенно хорошо сказано «Заплутавшее счастье зови...» Верно, что наше счастье заплуталось и никто ему не укажет пути...

«В землянке» стала любимой песней фронтовиков. С фронта она быстро перебросилась в тыл и ее горячо подхватил народ.

Не понравилась она лишь центральному военному органу «Красной звезде». Газета прилепила песне ярлык «аполитичности» и «упадничества».

Долго продолжалась наша дружеская и непринужденная беседа. Под конец я рассказал о страданиях наших воинов в немецком плену, что и являлось главной целью моего прихода, о перебежчиках и судьбе их семей.

— Если у кого есть мысль оставить фронт и искать спасения у врага — отбросьте ее, товарищи. Не время сейчас сводить счеты за прошлые обиды, — говорил я. — Я прошу вас беречь свою жизнь, но быть мужественными. Верьте, что «заплутавшее счастье» найдет нас. Быть может, многие из нас не доживут до тех дней, но я верю, что они настанут.

Я чувствовал, что мои слова были близки роте, но развивать дальше эту мысль было опасно. Я знаю, что «щупальцы» НКВД есть в каждом взводе и никто не гарантирован, что они, эти «щупальцы», не состряпают доноса.

Солдаты, однако, заверили меня, что они будуть «биться до последнего».

— Вы об этом можете смело писать в газете, — сказал молодой сержант. — Мы не подведем. Из нашей роты нет ни одного, кто бы перебежал к немцу добровольно. И не будет.

Я решил остаться в роте на ночь. Утром нам пришлось обороняться от местной атаки немцев. Солдаты держали себя прекрасно. Я уходил с радостным чувством, что мне удалось поднять настроение солдат и вдохнуть в их сознание новые силы бодрости и стойкости.

Не помню, кто это сказал, что «в душе каждого человека есть соловей». Я старался найти этого «соловья» в душах солдат и заставить его петь. В большинстве случаев это мне удавалось.

Душа русского человека мягка, как воск. Пусть ему трудно, пусть ему холодно и голодно, пусть он разут и раздет, но достаточно поговорить с ним по душам, на близкую и волнующую тему, расположить его к себе добрым словом, и он расплывается, как масло на сковороде. Не из-за куска хлеба и какой-либо другой подачки, а потому, что «начальник» поговорил с ним, как с человеком, он будет работать с затянутым поясом и готов отдать жизнь, если это нужно.

Пожалуй, ни в одном народе нет более сильной веры в будущее и готовности жертвовать собой ради этой веры, чем в русском народе. И если он не верит в большевиков и коммунизм, то он верит в то, что Россия рано или поздно всё равно переживет большевизм и настанет иная жизнь — свободная и обеспеченная, без рабского труда и страха.

7. Я — КОМСОМОЛЬСКИЙ ШЕФ ПОЛКА.

Неожиданно я получил новое назначение.

— Вам придется взять на себя должность ответственного секретаря комсомольского бюро полка, — сказал мне начполит. — Наладите там работу — вернетесь снова к газетной деятельности, провалите — пойдете солдатом в роту.

Рота и солдатское звание меня не пугали. Начполит хорошо знал, что с первых же дней фронта я всё время находился на передовой и только иногда, по вызову, ялялся в место расположения штаба и редакции. Начполит знал также, что я не был журналистом-наблюдателем, а принимал личное участие в прорыве немецкого фронта и во многих других боевых операциях. Он даже сам как-то сказал, чтобы я не лез без надобности под огонь, что смерть, если я ее ищу, найдет меня и в

другом месте. Солдатским званием он меня «припугнул» ради «психологического воздействия».

— У вас, — добавил начполит, — есть хорошая «струнка», вы умеете влиять на солдат, а это очень важно. Я не сомневаюсь, что вас полюбит молодежь полка.

Впрочем, «хорошую струнку» я не считал каким-то особым качеством, свойственным мне. Я просто относился к солдатам по-дружески и по-человечески, именно так, как я хотел, чтобы относились ко мне, если бы я был на их месте. В этом вполне нормальном явлении и заключался «секрет» моего влияния.

Назначение меня отсекром полка являлось в то же время своего рода маневром начполита и его помощника. Оказалось, что редактор газеты фронта ставил вопрос в Политуправлении о моем переводе в штат своей редакции, а политотдел дивизии был заинтересован в том, чтобы сохранить меня в своей части и послал меня, как «незаменимого», на оголенный участок. Оттуда было уже трудно взять.

К роли «ликвидатора прорывов» я уже привык. Мне очень часто приходилось, наряду с основной работой, выполнять специальные поручения, но руководство молодежью для меня было новым делом, тем более, что в рядах комсомола мне не пришлось быть и мои годы перевалили за предельный 26-тилетний комсомольский возраст.

Итак, я отсекр — «левая рука» комиссара полка Медведева. Левая потому, что правой является отсекр партийного бюро, политрук Григорьев. Четвертый политработник в штабе полка — пропагандист Сахаров. Это — политическое руководство части. За нами идут комиссары батальонов, политруки рот, их заместители, партийные и комсомольские организаторы.

Выше всех нас — неусыпный страж, во власти которого находится весь личный состав полка — уполномоченный особого отдела НКВД, неразговорчивый и надменный, сержант государственной безопасности Михаил Васильев и его помощник, веселый и жизнерадостный украинец Луценко. Сколько они имеют своих «информационных точек» — никому не ведомо.

Васильев и Луценко очень скромны. Они носят такую же общевойсковую форму, как и мы все, и своим внешним видом не отделяются от других офицеров. Они даже больше походят на солдат: командиры и политработники имеют знаки различия, а Васильев и Луценко не считают нужным их носить. Два

ничем не выделяющихся молодых человека, но какой огромной силой они обладают! Все наши жизни, от солдата до комиссара и командира полка, находятся в их руках. Чей смертный билетик вынет уполномоченный особого отдела из своей полевой сумки?

С энкаведистами говорят вежливо и учтиво. Их никто не ругает вслух. Они не подлежат ни критике, ни осуждению. О комиссаре Медведеве отзываются непочтительно: грубиян и бездельник. Безавторитетный, но властолюбивый и самодовольный, он был воплощением тупости и ослиного упорства, приправленного хамством. Ко мне он был весьма доброжелателен и не раз намекал, чтобы я о нем хоть строчку написал в газете. Меня он встретил с радостью:

— Теперь мы с тобой, брат, «закрутим» в полку. Сделаем его лучшим не только в дивизии, но и в армии. — Медведев упорно не называл своих подчиненных на «вы», вопреки воинскому уставу и элементарному приличию.

«Закручивать» я не собирался, но работать нужно было. Организовал комсомольскую роту автоматчиков. Создал комсомольский взвод разведчиков и группы молодых «снайперов». В полку было около 250 комсомольцев. Я всё свое время стал проводить с молодежью. Вместе с ней жил, вместе участвовал в боях, ходил в разведку и за «языками».

Я всегда с чувством гордости и любви вспоминаю своих молодых полковых друзей, поджигавших немецкие танки бутылками с воспламеняющейся горючей жидкостью, отважных и дерзающих автоматчиков, пулеметчиков, разведчиков и минометчиков. С ними я делил радость успехов и горечь поражений. Пожалуй, немногие из них остались в живых: тот, кто перенес фронт, — погиб в плену.

Кто они? Это — за малым исключением, смелые и активные, стремящиеся к светлому и красивому, к добру и правде, молодые люди — будущее нашей страны. Это они, в пургу, дождь и мороз строили в степи Магнитогорск, прорывали тунели московского метрополитена, выплавляли чугун и сталь, работали на сложных машинах. Это — они, после тяжелых часов работы, наскоро проглотив кусок хлеба, шли в вечерние школы. Они, эти молодые люди, часто на одной похлебке, кончали средние технические учебные заведения и институты, а в свободное от занятий время заполняли театры, стадионы, водные станции и устраивали самодеятельные концерты.

Я имею в виду не только комсомольцев. Это в равной степени относится и к тем, кто в комсомоле не состоял. Нашу мо-

лодежь давят сталинские рамки, но она не потеряла способности самостоятельно мыслить и творить. Каким бы пышным цветом расцвела российская молодежь, если бы она росла и воспитывалась в нормальных человеческих условиях!

Командир полка, пятидесятилетний майор Белоусов, был настоящим отцом молодых солдат. Он надеялся на них так же, как на самого себя. Часто майор приходил в комсомольские подразделения и запросто беседовал с молодежью, вспоминая о своих юношеских годах. Его рассказы о былых походах были увлекательны и поучительны.

Командир считался большим оптимистом.

— Потрепал нас немец порядочно, — говорил он молодым солдатам, — но разве он может устоять против таких молодцов, как вы? Наша земля могилой будет ему, едондыр-вошь.

Это, самое большое, ругательство, которое когда-либо позволял себе майор, стало его прозвищем. Солдаты, с любовью и в шутку, увидев командира, обычно говорили: «Ребята, внимание! Наш «едондыр-вошь» идет»...

Подготовив себе энергичного заместителя, я оставил должность отсекра полка. Мне был вручен приказ, предлагавший принять на себя обязанность политического шефа одной из частей 361 стрелковой дивизии.

8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОПЕКА.

Политическая работа... Политическая пропаганда и агитация... Политическое воспитание... От них нигде нет покоя, от них нигде не укроешься. Большевистский аппарат ловит советского гражданина на каждом шагу. Чтобы не сбился с ухабистой и извилистой сталинской дороги. Чтобы не выбился из крепкого ярма и следовал, без рассуждений, за своими духовными надзирателями. С момента призыва в армию, солдат, еще и до этого напичканный строго продуманной тенденциозной большевистской пропагандой, попадает в сферу постоянной опеки политического работника.

Ежедневные политбеседы о международных событиях, о врагах коммунизма, чтение газет, пропагандной литературы, партийные и комсомольские собрания — всё направлено к достижению одной цели: внушить солдату, что единственная цветущая страна в мире это — Советский Союз, сделать из бойца политически сознательного и стойкого человека, готового беззаветно пожертвовать собой ради торжества коммунизма во всем мире.

Ни в одной стране не уделяется столько внимания политической работе в армии, как в Советском Союзе. Понимая, что армию ни в коем случае нельзя оставить без большевистского контроля и влияния, так как в этом случае она превратилась бы в ту силу, которая смела бы существующую диктаторскую власть, Сталин насытил ее большим количеством политических работников, которых называют «посланниками партии в армии». Власть не доверяет народу и боится его. Фактически вооруженные силы страны держит в своих руках политический аппарат.

Советская армия, кроме специальных войск НКВД, в которых, однако, тоже имеются политические работники, кроме особых отделов государственной безопасности в каждой дивизии и их уполномоченных в частях, насчитывает не менее 100.000 офицеров политработы, расставленных по всем подразделениям, начиная с роты. В военное время эта цифра превышала 500.000 человек. Это — целая армия, которая по существу не подчиняется Генеральному штабу. Она имеет свой Главный штаб, именуемый Политическим Управлением. Отсюда, минуя командиров соединений и армий, идут все директивы и приказы политическим органам и политическим работникам. Политофицеры, как особые представители большевистской партии в армии, отвечают за моральный дух и благонадежность военных кадров.

Поэтому формальная ликвидация института комиссаров не имеет никакого значения. Если вчера политические работники назывались политруками и комиссарами, пользующимися неограниченными правами, то сегодня они стали офицерами и генералами, с прежними обязанностями и правами.

Даже и в том случае, когда политический работник является лишь заместителем командира, на самом деле строевой офицер всё же находится в подчинении у политического. Командир может принимать самостоятельные решения по строевой линии, но по партийной или комсомольской — полновластным хозяином является офицер политработы. Любой ошибочный шаг командира может быть подвергнут жесточайшей критике или взысканию на партийном собрании, где решающее слово принадлежит политработнику.

Это обстоятельство чрезвычайно важно, так как в советской армии лишь очень незначительный процент офицеров (главным образом, до лейтенанта) не являются членами партии или комсомола. Таким образом, они несут персональную ответственность перед ВКП, как ее члены. Еще менее самостоя-

гельным чувствует себя беспартийный офицер. Он не делает и шага без совета с политработником, чтобы не попасть в опалу или под подозрение.

Двоеначалие в советской армии вызывает в отдельных воинских соединениях, да и в генералитете, трения между командным и политическим составом. Эти трения иногда превращаются в открытое недовольство, так как строевое офицерство видит в существовании политработников ущемление своих прав и недоверие к себе. Среди некоторой части офицеров существует также мнение, что в армии не должна вестись политическая работа, что боец должен заниматься только военным делом.

Сталин прекрасно знает о таких настроениях. Он иногда идет якобы на компромисс, ликвидирует институт комиссаров, поднимает роль командира, вводит единоначалие, но всё это является фикцией. По существу, он всегда твердо и неуклонно проводит свою линию, делая главную ставку на политработников, неоднократно подчеркивая, что советская армия — это не только военная сила, а военно-политическая, что советский солдат должен владеть хорошо не только техникой, но должен быть также прекрасно подготовлен в политическом отношении. Только такая армия, говорит Сталин, может смело и успешно решать поставленные перед ней задачи. Поэтому всякие попытки тех или иных военачальников отделаться от влияния политического офицерства в армии терпят фиаско.

Политофицер, облеченный доверием парти, несет перед ней в то же время двойную ответственность. За непорядки в части и нарушение приказаний ему приходится отвечать не только за себя, но и за командира. Если командир проявляет признаки морального разложения, грубо относится к солдатам, а политработник не принял своевременно мер к устранению таких явлений — он получит не менее строгое взыскание, чем тот, кто нарушил офицерскую этику. И никакие старые заслуги перед партией в этом случае в зачет не принимаются. Сегодняшние упущения зачеркивают все вчерашние хорошие дела. Политработник всегда обязан быть начеку — даже во сне он должен «видеть, слышать и действовать». То, что можно простить строевому офицеру, никогда не прощается офицеру политической работы.

Строгая требовательность к политсоставу армии, естественно, обязывает его быть не менее требовательным ко всему, что делается в воинской части. Это заставляет политработников вмешиваться во все дела и «совать свой нос» туда,

куда, может быть, по мнению командира, и не следовало бы. Но у политработника нет иного выхода — малейшая беспечность грозит ему исключением из партии, разжалованием и отстранением от должности. После этого перед ним будут закрыты все двери. И если для других комиссар может казаться страшнее всякого зверя, то на самом деле он такой же раб большевистской диктатуры, как и все прочие. Его воля и власть имеют значение только до тех пор, пока он беспрекословно выполняет большевистские директивы. Достаточно хоть один раз робко высказать свои мнения, которые бы в какой то степени не сходились с директивами, проявить нерешительность, и «слуга и посланник партии» окажется за бортом жизни. Главное политическое управление советской армии не терпит мягкотелых политофицеров.

Все политработники, начиная с самого низшего чина и кончая генеральским, находятся под наблюдением чинов НКВД. И никто из политработников, какой бы высокий пост он ни занимал, не уверен в завтрашнем дне.

Слишком памятен для политсостава грозный 1937 год, когда после самоубийства начальника Главного политуправления, комиссара 1-го ранга, Гамарника, вместе с командным составом красной армии были расстреляны или отправлены в концлагери тысячи политработников. Нет никаких гарантий, что этот страшный смерч не повторится, ибо — «нет ничего вечного, всё течет, всё изменяется».

Боязнь за собственную жизнь заставляет политические кадры советской армии быть чрезвычайно осторожными и замкнутыми. Случайно вырвавшееся слово или фраза, сказанная не так, как надо, или же не там, где можно, повлечет за собой не особенно приятные разговоры с представителями особого отдела.

Однажды красноармейцы спросили меня:

— Правда ли что наши части взяли Ржев?

Я ответил, что официальных сообщений об этом не имею, но говорят, что так.

Прошло недели две, и, уже забыв о разговоре, я встречаюсь с уполномоченным особого отдела 59 гвардейского полка Селедковым. Поговорив о посторонних делах, он, как бы между прочим, спрашивает:

— О чем вы говорили с красноармейцами в третьем батальоне?

— Не помню. Я говорю каждый день со многими людьми и во многих частях.

Подумайте получше.

— Не могу вспомнить, что бы я мог сказать такого, что вас могло бы заинтересовать. Если вы знаете — скажите.

— Вы говорили, что нами занят Ржев?

— Меня об этом спрашивали, но я ответил, что официально я не знаю, но разговоры такие есть.

— Советую быть осторожнее. Подобными разговорами вы льете воду на мельницу врага. Будьте предусмотрительны, берегите себя и своих родных...

Я поблагодарил Селедкова за внимание и совет, но до сих пор не могу догадаться, почему мой уклончивый ответ «лил воду на мельницу врага»...

На партийно-политическую работу и пропаганду, на содержание политработников власть тратит колоссальные средства, исчисляемые в сотни миллионов рублей, которые выкачиваются из народа. Партия учитывает, что каждый грош, затраченный ей на эту цель, окупится сторицей. В связи с этим политическому воспитанию армии придается не меньшее значение, чем ее боевой выучке.

Подготовка кадров политработников считается одной из важнейших задач. С этой целью работают академия, военно-политические школы, специальные курсы подготовки и переподготовки политического состава, где, наряду с политическими дисциплинами, слушатели проходят и военное обучение.

Требования к политическому составу повышаются с каждым годом. Если раньше для политработника достаточно было его преданности партии и элементарной политической грамотности, то сейчас он должен иметь по крайней мере среднее общее и военное образование. Политработники неплохо разбираются в международных вопросах и текущих политических событиях, они — хорошие организаторы, пропагандисты и агитаторы, прошедшие суровую школу в советских условиях и верящие — одни на словах, а другие искренне — в правоту дела партии Ленина-Сталина. Так или иначе, но армия политработников является серьезной опорой власти.

Немцы не могли не знать, какое влияние оказывают политработники на солдат. Они видели силу большевистской пропаганды и всячески старались расширить ров между солдатами, политофицерами и командирами. Но из этого ничего не вышло. Советская армия раскусила истинные цели противника и не пошла на раскол.

В 1942 году Гитлер лично издал приказ о прекращении расстрела пленных политработников и создании для них луч-

ших условий в лагерях. Его маневр не помог — было уже слишком поздно. Однако, тот факт, что в первый год войны вместе с солдатами сдавались в плен и политработники, говорит о том, что среди значительной части их существует оппозиционное настроение к сталинскому режиму.

9. ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ.

Немецкая авиация господствует в воздухе. Она безнаказанно обстреливает нас из пулеметов, забрасывает бомбами и... листовками. Против пуль и бомб мы бессильны, от них нужно скрываться. Другое дело с листовками — мы охотимся за ними, как коршуны. Умная листовка — сильнее бомбы, она может вывести из строя сразу сотни человек.

Политуправление издает по армии приказ:

«Листовки и газеты, разбрасываемые врагом, должны быть немедленно собраны и уничтожены, за исключением одного экземпляра, который необходимо передать вышестоящему политработнику для отправки по назначению. Чтение листовок солдатами категорически запрещается. В случае обнаружения у кого-либо вражеских листовок, виновные должны быть переданы Военному Трибуналу».

Запретный плод всегда слаще. Солдат мучает любопытство — о чем пишет враг? Одни ищут всякой возможности подобрать листовку и, спрятавшись где-нибудь в зарослях, прочесть, чтобы никто не видел. Другие начинают размышлять, чем вызваны такие строгие меры предосторожности, и в их душу западает сомнение.

Я решил, с риском для себя, разрядить атмосферу недоверия, тем более, что я видел благожелательное к себе отношение. Как раз представился случай. Политрук роты, собрав свободных от поста солдат, проводит на опушке леса очередную беседу. Вдруг, из-за туч, вынырнула «немецкая стрекоза», бросила пачки листовок и скрылась. Солдаты устремили свои взоры на поляну, где рассыпались белые и розовые бумажки. Я прерываю беседу политрука и приказываю собрать листовки.

Солдаты быстро возвращаются с сияющими лицами.

— Что там пишут немцы? — спрашиваю я.

— Чушь, товарищ комиссар!

— А именно?

— Да, вот, читайте:

«Красноармеец!

«Бей жида-политрука,

«Рожа просит кирпича!»

Солдаты хохочут. Внизу листовки, в рамке, напечатано: «Эта листовка служит пропуском для перехода на сторону германской армии».

Я читаю вслух вторую листовку:

«Красноармейцы! Вы никогда не ели белого хлеба и не курили сигарет! Переходите к нам в плен — вы получите хорошее обращение, питание и ароматные сигареты».

Эти глупейшие листовки дают мне возможность провести тут же контрпропаганду. Я обращаюсь к солдатам с вопросом:

— Когда же вы будете бить своего политрука?

— За что? Ведь, это только евреев касается, а он русский, — как бы не понимая, отвечает один из бойцов.

— За то, что он политработник.

— Так что ж с того, душа-то у нашего политрука человеческая, дай Бог каждому беспартийному. Он свой человек. Мы с ним вместе едим, вместе и воюем.

Ко мне подходит пожилой уралец, Андрей Каширин, и говорит:

— Хотя и вы партийный, товарищ комиссар, а мы вас уважаем всё равно, как своего. Вы простите меня, я вот уже 47-ой год доживаю, а скажу, что есть среди вашего брата и паскудные люди. А почему так получается, это уже не моего ума дело. Я плохой критик и судить не берусь, где тут собака зарыта. Только пусть немец не считает нас за дураков — на его удочку мы не пойдём.

Вторая листовка опровергнута была конкретным примером: в роте не нашлось ни одного человека, кто бы не ел дома белого хлеба и не курил папирос, а о «хорошем питании и обращении в плену» солдаты знали из рассказов очевидцев.

Немецкие листовки стреляли явно мимо цели. Мы умело использовали их в своей пропаганде.

Мне неудобно было уходить из роты, не сказав солдатам несколько теплых задушевных слов. Я говорил им о тяжести борьбы и наших лишениях. О павших наших друзьях, тоске по оставленным семьям. О долге русского человека, о русском имени и славе русского оружия.

Мы расстались друзьями.

...Как-то легче становится на сердце пехотинца, когда начинает «говорить» артиллерия. Она — самый лучший друг и помощник в решении боевых задач. Артиллеристы это знают и держат себя с достоинством и некоторой гордостью. Впрочем, они имеют основания так держаться: ни одно крупное сражение не могло быть выиграно без их горячего участия.

Можно без конца спорить о силе или слабости того или иного рода войск советской армии. Можно восхвалять или критиковать — всё это зависит от темперамента дебатирующих и их честности. Но нельзя спорить о превосходстве артиллерии, показавшей себя в эту войну наиболее мощной и сильной из всех родов оружия. Она оказалась действительно «на высоте».

Еще к моменту нападения Германии на СССР, советская армия имела хорошие противотанковые и зенитные орудия, современные пушки и гаубицы, минометы и боеприпасы разных калибров. Во время войны была создана самоходная артиллерия, мощность которой не только не уступала самоходной артиллерии немецкой армии, но и значительно ее превосходила. Во взаимодействии с пехотой и танками, она добилась замечательных боевых успехов. Новым видом грозного оружия, созданного в годы войны, были реактивные минометы или «Катюши», как их любовно назвали солдаты, а за ними и весь народ. В количественном отношении советская артиллерия выросла за годы войны в пять с лишним раз по сравнению с довоенным периодом. Артиллерийская и минометная промышленность, в течение последних трех лет войны, ежегодно производила 120.000 орудий всех калибров, до 100.000 минометов, 450.000 ручных и станковых пулеметов и т. д. 545 артиллеристов, смелых истребителей немецких танков, удостоены звания Героя Советского Союза, кроме того, более 1600 артиллеристов получили это звание за исключительное мужество, героизм и отвагу. Свыше одного миллиона артиллеристов награждены орденами и медалями.

Среди прославившихся артиллеристов — мои приятели: командир артиллерийского дивизиона гвардии капитан Николай Битосов и комиссар Темирзагит Билалов. Когда бывает особенно тяжело на сердце, я иду к ним «в гости», побеседовать по душам, попеть песни под аккомпанимент капитанского баяна.

Битосов и Билалов только-что прибыли из Военного Совета 39 армии с боевыми наградами. Они вполне заслужили их, и я спешу поздравить отличившихся артиллеристов.

Командир и комиссар этого артиллерийского дивизиона два неразлучных друга. Их спаяло не только старое знакомство, но и общая борьба. У них не бывает трений между собой, они живут «душа в душу». Каждый знает, что он обязан делать, и никто не вмешивается не в свои обязанности. Дружба их — искренняя и теплая: и Битосов и Билалов не станут даже один без другого обедать. Командование 21-ой гвардейской дивизии считает их лучшими военными начальниками.

Капитан Битосов — кадровый офицер, комиссар Билалов — политработник запаса. Раньше он был одним из секретарей Областного Комитета партии Башкирской АССР, равной по территории Латвии, Литве и Эстонии, вместе взятым.

Билалов был в числе, так называемых, «маленьких диктаторов», пользовавшихся всеми благами высоких сановников советского государства. Он имел бесплатный автомобиль в личном пользовании, роскошную квартиру в лучшем доме города, дачу за рекой Уфимкой, получал доброкачественные товары и продукты в закрытом магазине.

Он мог иметь всё, что желала его душа. И, казалось, что Темирзагит верой и правдой служит партии большевиков. Так, по крайней мере, могли судить люди, не знавшие его близко. Но это было глубоко ошибочным.

«Маленький диктатор», осуществляя директивы ВПК среди народа своей республики, являлся скрытым и хорошо маскировавшимся оппозиционером.

Тогда, когда ему уже не угрожала опасность за сокровенные мысли, Билалов говорил:

— Я вынужден был служить Сталину, так как иного выхода не было. Я знал, что я являюсь соучастником преступлений против своего народа, но я был бессилен что-либо сделать. Тогда было два Темирзагита: один — руководящий партийный работник, используемый большевистской партией автомат, другой — человек со своими мыслями и мнениями. Сейчас остался один Темирзагит — просто человек. «Двойная жизнь», наполненная большими переживаниями и разочарованиями, кончилась. И больше никогда не повторится.

Билалов медленно отвинтил от гимнастерки орден боевого Красного знамени, вынул из грудного кармана красный партийный билет и положил их в ямку под пнем, засыпав ее землей.

— С прошлым кончено, — сказал он. — Я чувствую теперь моральное облегчение. А дальше? Полная неизвестность...

Говорят, что комиссар Билалов, попавший в плен к немцам после того, как были разбиты жалкие остатки 21-й гвардейской дивизии, погиб в лагере военнопленных.

Так кончилась «двойная жизнь» раскаявшегося большевика, башкира Темирзагита Билалова, отличившегося в боях за Россию..

Вл. Орлов.

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ ЯЗЫК

Слово «запечатленный» чудесно употреблено Н. Лесковым в смысле «припечатанный», «тот, на который наложили печать» («Запечатленный ангел»). Слово это имеет еще и другое значение (ср. например: запечатленный памятью, запечатлевшийся), но именно первое, лесковское употребление выбрал я для заголовка к очерку о современном русском языке: «запечатленный», по-моему, как нельзя лучше определяет бытие и характер языка советской эпохи.

Оговорка «по-моему» не случайна: я часто встречал в зарубежьи другие определения «главного» в судьбе послереволюционного языка. Указывают на общее падение речевой культуры, на «безнадежное засорение» литературного словоупотребления «нелепыми новообразованиями, иностранщиной, вульгаризмами» и прочим бурьяном, заглушающим мощь и прелесть языка Пушкина и Тургенева, Толстого и Чехова.

Эти утверждения не совсем справедливы и прежде всего поверхностны: трагедия «подсоветского» языка много сложнее. «Нелепые новообразования» советского времени при внимательном рассмотрении отнюдь не угрожающи. Если не считать уродливых сокращений, количество собственно неологизмов невелико. Да и как же обойтись без них? Как отказать в правах гражданства комсомольцу и колхознику, трактористу и звеньевому, бригадиру и ударнику (последние два, впрочем, только «переосмысления»), — живой язык должен же пополнять свой словарь! Новшества, внесенные народным словотворчеством, такие, как авоська сумочка для хозяйственных покупок: авось что-нибудь выдадут по карточкам!), беспризорник, болельщик (любитель спортивных состязаний), вошебойка, лишенец, майка (спортивная рубашка), принудиловка, «черный ворон», чрезвычайка и т. д. — очень хороши. Много хуже неологизмы, вводимые «сверху» (абортарий, беседчик, весновспашка, «заборная книжка», значкист, избач, массовик, оперативность, орабочивание, паспортизация,

разукрупнение, хвостизм, хвостист и т. п.), но их бытование в языке в значительной мере искусственно. К неудачным новшествам «сверху» надо отнести и многие морфологические новообразования: с префиксами, например: безаварийность, бездефицитный, безотказный, внутрипартийный, запускать (приводить в движение), завышать — занижать, заснять, захоронить (!); с суффиксами иностранного происхождения, такие как: большевизировать, календаризировать, советизировать, характеризир-овать (вм. характеризовать), часофикация (еще: листаж, подхалимаж) и т. д.

Вряд ли можно говорить о засорении современного советского языка «иностранщиной»: вторжение иностранных элементов в лексику ограничивается немногими лексическими сферами (областью социологии, главным образом, в связи с «внедрением в массы» «политучебы», изучения марксизма-ленинизма и т. д.). Против излишнего употребления иностранных слов восставал (правда, со своей особой, партийно-пропагандистской, точки зрения) еще В. Ленин*). Забавное увлечение «учеными» словами в языке советского обывателя высмеял М. Зощенко**). Отдельные укоренившиеся в широком употреблении варваризмы вроде: активный, актуальный, базироваться, конкретно, констатировать и др. — немногочисленны и вызывают опасения, главным образом, как шаблоны. Но об этом ниже.

Гораздо серьезнее указания на «снижение» культуры литературной речи в целом, на проникновение просторечья (вульгаризмов, диалектальных элементов) в живой язык образованных советских людей и собственно в литературный — газет и беллетристики. Произошло и происходит некоторое «устранение» норм литературного USUS'a, их пересмотр. Явление это, вызванное социальными потрясениями большевистской революции, небывалой ломкой быта и духа, кажется иногда стихийным. Стихийным представляется, например, наводнение вульгаризмами, элементами различных арго, в том числе и воровского («блатная музыка»), речи учащейся моло-

*) «Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. К чему напр. говорить: дефекты, когда можно сказать: недостатки, недочеты, пробелы»...

**) «Обезьяний язык».

дежи в первое советское десятилетие. Язык бурсаков Помяловского («стибрили, сбондили, слямзили, сперли. Лафа, брат!»)*) казался верхом изящества по сравнению с литературным словоупотреблением некоторых «молодежных» писателей.

Болтология, буза, влипнуть, гаврилка (галстух), даешь! замётано! загибать (лгать), засыпаться, трепач, хахаль, шамать, шамовка, шатия и т. д. — вытеснили своих литературных сородичей в языке школьников, рабфаковцев и «вузовцев» того времени.

«Ты **зашухерила** всю нашу **малину,**
А теперь **маслину** получай»**)

еще в 30-ые годы распевалась на студенческих «вечорках» блатная песенка.

В основе этого наводнения лежало в ту пору «отталкивание» от интеллигентской речи (так же, как и от ряда «буржуазных» привычек: маникюра, белых воротничков и т. п.), стремление к пролетаризации языка (ср. например, профессионализмы в стихотворениях поэтов «Кузницы»). Может быть, еще тяга к бóльшей экспрессивности речи, свойственная духу революционной агитации тех лет (воспользовался же Ленин вульгаризмом «похабный» для определения Брестского мира).

Однако, постепенно взрыв вульгарной фразеологии утихает, ему даже объявляется «сверху» война. Процесс же раздвижения норм литературного словоупотребления в сторону просторечья продолжается.

Понять неизбежность этого процесса можно только, вспомнив, как радикально «переслоила» революция современное советское общество. Пожалуй, даже и старую диалектальную карту России нужно теперь пересматривать. В «нормирующий» язык университетских центров хлынули с «периферии» десятки диалектов. Московское, например, литературное произношение, считавшееся нормативным, с большим трудом удерживается ныне на сценах академических театров. К управлению, в печать, в искусство, в школу пришли люди с разнообразной, иной, чем прежде, речевой культурой.

В литературном употреблении прочно утвердились: учеба, дивчата, ребята (всегда — **ребята,** вместо **дети,**

*) «Очерки бурсы».

) **защухерила — выдала, **малина** — квартира, **маслина** — пуля.

детвора, школьники и т. д.). Просторечные морфологические формы утверждают в литературе цеха́, договора́ вместо **цехи, договоры** (ср. инженера́, офицера́ и узко-просторечное — волостя, областя), одеть вместо **надеть** (одень галоши, пальто). Даже образованные москвичи спрашивают: сколько **время?,** пренебрегая формой родительного падежа. В живом разговорном обиходе начинают утрачиваться формы склонения числительных (говорят: около **триста** человек»). Диалектальные и просторечные влияния смещают старые орфоэпические нормы: утверждается киló метр, пáртер, стремятся утвердиться áгент, áрест или бáловаться, кожевéнный (западные влияния) и т. п.

Невысокая культура речи советских учителей в чрезвычайно увеличившейся сети школ — одна из важнейших причин массового распространения нарушений литературных языковых норм.

«Скажите, почему у нас профессор Г. говорит всегда «лаболатория» вместо лаборатория?» — спросила меня как-то студентка одного из московских институтов. — «Он ведь должен был бы говорить правильно: литературовед!»

Этого профессора Г. знал я по совместной работе. Был он членом партии, «выдвиженцем», окончил институт Красной профессуры и являлся даже автором распространенного «стабильного» учебника по литературе. Но латинского языка он не знал. Я помню, как на заседании кафедры, посвященном обсуждению трагического постановления о плате за обучение в высшей школе, он испугался, когда кто-то из выступивших привел по поводу этого постановления латинское "Dura lex sed lex!"*) Только когда ему перевели поговорку, он успокоился, убедившись, что латинское "dura" не содержит обиды для законодателей. На вопрос студентки ответил я, помнится, полушутя: Может быть, профессор Г. — сторонник народной фонетики в иноязычных словах (говорят же в народе: **колидор** вместо **коридор,** — так наз. диссимиляция!). Случай, однако, весьма показателен.

Процесс проникновения просторечных форм в язык художественной литературы известен зарубежному читателю по произведениям многих советских авторов. Как тенденция, этот процесс особенно заметен в двадцатые годы (А. Неверов. Л. Сейфулина, крестьянские поэты, «Кузнецы», Ф. Гладков

*) Жесткий (суровый) закон, но закон!

и др.), а затем ослабевает. Однако, вот, например, в вышедшем в 1948 г. романе М. Бубённого «Белая береза» (издательство «Советский писатель»), получившем сталинскую премию, автор, повествуя от себя, решительно пренебрегает лексической литературной традицией. Он пишет: в р а з в значении **сразу, мгновенно** и в р а з в смысле **разом, одновременно,** «п е р е р ы в н а п е р е к у р», п о з е в н у л, т о р о п к о, я́ р к а (уменьшительное от **яр**!), с у м е р е ч ь, з а т и ш к а, к о п ё ш к а, л а м п ё ш к а, т ы к в ё ш к а, н е м у д р я щ и е п о ж и т к и, з а к р о в я н е в ш и е г л а з а, у г р я с т ы й н о с; рассвет у него з а ч и н а е т с я, тьма к р е п ч а е т и т. д.

В романе А. Фадеева «Молодая Гвардия» (1947), написанном хорошим русским языком, читаем всё-таки: «машина была нагружена с в е р х о м» (литературное **верхом**), «с у г о д н и ч е с к о й улыбкой» **(угодливой,** конечно!) и т. д.

Я немного отошел от тематического стержня очерка: хотелось выяснить явления так наз. «засорения» и «опрощения», которые называют бедствием современного советского языка и которые я бедствием не считаю. «Засорения» язык наш неизменно преодолевал: преодолел иноязычное вторжение в петровскую эпоху, обратил себе на пользу кальки и формы французского синтаксиса, предложенные ему в свое время Карамзиным.

Известное же раздвижение литературных норм в сторону просторечья мне кажется естественным и закономерным следствием происшедших в стране социальных сдвигов. Природа просторечных элементов и даже вульгаризмом определяется различием социальных usus'ов и восприятий и очень условна. Проникая в литературное словоупотребление, просторечные формы иногда отвергаются, иногда же быстро получают права литературного гражданства. Пушкинское «Девчонки прыгают заране» казалось вульгаризмом тогдашним пуристам, нам — нет.

Советские в е ч о р к а, д е ж у р к а, к и н у ш к а и с т о л о в к а, р а з д е в а л к а, ч и т а л к а, вместо столовая, раздевальня, читальня, — для меня лично содержат привкус вульгаризма. Для нового поколения советских людей — никакого. Это и не страшно. Важно лишь, чтобы нововведения не вытесняли старых своих собратьев, а сосуществовали с ними в речевом быту, увеличивая для индивидуального употребления богатство выбора...

**
*

Трагедия языка советской эпохи — в его «запечатленности». Силу и значение этой «запечатленности» трудно представить себе. Их надо испытать. «Великий и могучий» перестал быть свободным...

Известны жалобы Пушкина на цензуру. Памятны горькие слова Салтыкова-Щедрина об «эзоповом» языке, выработанном им под цензурным давлением.

Но цензура времени Пушкина и Салтыкова, по сравнению с запретительно-принудительным нажимом на свободное слово в советской действительности, кажется широкой демократией. «Печать» замкнула творческие уста десятков подсоветских художников слова, держит у сотен других язык «загнутым к гортани», обрекая на творческое косноязычие.

Потеря свободы в выборе темы, творческих методов и форм приводит неизбежно к ущерблению словаря языка. Отправляются в изгнание, сдаются в архив сознания целые тематико-лексические области: религиозная, например, этико-философская, отчасти критико-искусствоведческая и т. д. Иллюстрации трудны, но не невозможны. Вот, например, выдержки, представляющие образную систему ранних (до 1919 г.) стихов С. Есенина, с присущей им в **ту пору лексикой:**

«Схимник — ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным
И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу».

«Я вижу — в просиничном **плате,**
На легкокрылых облаках
Идет **возлюбленная Мати**
С пречистым Сыном на руках».

«Кроток дух монастырских жителей,
Жадно слушаешь ты **ектенью,**
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою».

И дальше: воробей, читающий «псалтырь» у лесного «аналоя»; «звездные псалмы», струящиеся с неба; в елях — «крылья херувимов», хаты — «в ризах образа»; «белый перезвон» берез; березы, «кадящие листвой»; «на божнице за лам-

падкой» улыбнувшаяся «Магдалина»; «литии медовый ладан»; «правда сошьего креста»; «молитвословный» ковыль; звезда, горящая «свечкой чисточетверговой»; «радуница Божья», «белый ангел», «прощальная обедня»; «благословенное страдание»; «хоругви»; «канон», «мощи» и т. д.

Этого словаря не встретишь у позднейшего Есенина, не найдешь и в творчестве современных советских поэтов и писателей.

Но если у художников слова, «языкотворцев», так наглядно беднеет словарная их сокровищница, — что же сказать тогда о прочих пишущих и говорящих!

«Запечатленность» рождает страх. — Страх выбора тематики и формы, страх высказать свою, оригинальную, «непроверенную еще сверху» мысль, страх «...сметь свое суждение иметь». Страх словоупотребления... «Как бы чего не вышло»...

В начале 30-х годов один из известных московских фольклористов, проф. С., направил группу студентов собирать новый советский «профессиональный фольклор». Вот какие пословичные заповеди (из неопубликованных) оказались среди записей, сделанных у печатников:

«Семь раз подумай — один напиши».

«Что написано пером — не вырубишь за десять лет работы на лесозаготовках».

«Помни: политредактор бдит!»

Это не анекдот, не острословие. Это — действительность.

Мне как-то жаловался автор одного учебника грамматики, вышедшего в 1932 г. в Москве:

— Знаете: политредактор повычеркивал у меня половину примеров из упражнений по правописанию. За неактуальность. Пример: п я т ь — п ь я н, на употребление «ь» отделительного, назвал недопустимым и непродуманным.

— Это почему же?

— Потому, что п я т ь, по его мнению, ассоциируется непременно с п я т и л е т к а, п я т и л е т к а же и п ь я н — соседство невозможное...

Незадолго до войны в «Учительской газете» появилась статья с ожесточенными нападками на труды проф. В. В. Виноградова, выдающегося исследователя русского литературного языка. В работе «Русский язык» (пособие для высшей школы) была, по мнению газеты, допущена «беспринципная аполитичность»: рассматривая значение суффиксов существи-

тельных, В. Виноградов помещает среди примеров рядом (какой ужас!)

студент-к-а
интервент-к-а.

Автор статьи — аспирант Московского Педагогического института им. Ленина — совершенно серьезно уверял меня, что видит в этом «безответственном» приведении примеров чуть-ли не клевету на «социалистическую нашу молодежь».

Страх словоупотребления вызывает тягчайшую болезнь «запечатленного языка» — шаблоны*).

Словарь беднеет не только за счет сданных в архив лексических рядов. Оскудевают лексико-семантические комплексы, хиреет синонимия языка. Речевые шаблоны, лексические и фразеологические, вытесняют из синонимических рядов своих собратьев.

Шаблоны в языке художественных произведений улавливаются не сразу. Вот пример из того же романа «Белая береза» лауреата М. Бубённого:

«.....Неслышно подошел приземистый Степан Дегтярев — кадровый боец последнего года службы, не плохо пообтертый ею, выносливый, надежно приученный к постоянной бодрости и веселью» (стр. 68).

Разве может претендовать не только на яркость, но и просто на литературность эта характеристика? Эти: не плохо пообтертый и цинично-откровенное: надежно приученный к бодрости и веселью — разве не шаблон из ведомостей армейского политрука? ....

В языке же газет, общественных выступлений и некоторых разговорных стилей искать шаблонов не приходится: они сами одолевают внимание, цепляясь за него, как репейник за платье. Именно шаблоны, а не новообразования, вульгаризм и прочие «засорения» создают непривлекательный облик советского речевого usus'a.

Советский человек, читая передовицы, слушая радио, посещая собрания, испытывает такое воздействие речевых шаблонов, которому не в силах противостоять самое яркое инди-

*) Не говорю о шаблонах вообще: шаблонах сюжета, образов и творческих методов в художественной литературе, шаблонах тематики и форм газетной печати и т. д. Это опять-таки особая тема. Имеются в виду шаблонные речения.

видуальное словоупотребление. Косноязычие и безжизненность речи становятся неизбежными: частота обращения шаблонов в языке лишает их семантической полноты и очерченности, сводит к нулю их выразительность.

Советский человек начинает с «воодушевлением» писать и говорить о «своей беззаветной преданности партии Ленина-Сталина», «беспредельной любви к социалистическому отечеству», — «новом» качестве «партийных и непартийных большевиков»; он «клеймит презрением» преклонение перед «гнилостной буржуазной культурой», «решительно изживает» из своего сознания «пережитки старого», «активно включается в...», «торжественно заверяет.... в том, что...», «изыскивает», «выявляет», и «ликвидирует», «мобилизует все силы на...», «добивается рекордных успехов в...», приходя к «новым очередным победам, возможным только под руководством...» и т. д. и т. д.

В к л ю ч и т ь с я, д о г о в о р и т ь с я, з а ч и т а т ь (протокол, наприм.) з а о с т р и т ь и п р о в е р н у т ь (вопрос), к о н с т а(н)т и р о в а т ь... Н а г р у з к а, о ф о р м л е н и е, у в я з к а, х у д о ж е с т в е н н а я с а м о д е я т е л ь н о с т ь, ч и с т к а и т. д. — всё это шаблоны!

Почему обязательно: о ф о р м л е н и е, в значении процедуры устройства на работу, и в значении способа выполнения, и в значении украшения, убранства? Почему непременно у в я з к а, вместо: связь, согласованность, сговор, слаженность и т. п.?

Ничего не поделаешь: «запечатленность», в условиях «сквозной» диктатуры, всепроникающего нажима, сыска, недоверия и «бдительности», обрекает свободное слово на рабское следование «проверенному» словоупотреблению. В широком повседневном письменном и разговорном обращении утверждается шаблонная речь низового «партсекретаря» и стенной газеты.

Шаблон сам по себе — катастрофическое «засорение» языка, тем более страшное, что идет извнутри, от ущемленного страхом сознания — в бóльшей мере, чем от бедности речевой культуры или отсутствия языкового чутья. Уродливые новообразования, просторечные элементы и прочие «вредители» литературного языка страшны именно тогда, когда утверждаются в нем как шаблоны.

К о н к р е т н ы й, к о н к р е т н о следует отвергнуть не из-за их иностранного происхождения, а потому, что они вытесняют ряд гораздо более уместных в отдельных случаях

речений с разнообразными оттенками значения: к о н к р е т н ы й в о п р о с, например, употребляют вместо: содержательный, существенный, дельный, продуманный, ценный и т. д. Профессиональное, и позже «облатное» словечко с м ы т ь с я (уйти) сердит, потому что теснит не менее просторечно-экспресивные: исчезнуть, испариться, улетучиться и т. п. Вульгаризм — к р а с о т а! (в значении восхищенной похвалы) проглатывает как шаблон богатейшую синонимическую группу: красиво, прекрасно, чудесно, замечательно, великолепно, изумительно и т. д. Шаблоны — бич советского языка*).

**
*

«Запечатленность» рождает страх. Страх — ложь. Потерявший свободу язык перестает быть правдивым.

Безудержная спекуляция впечатляющей, почти «заклинающей» силой слова делает это слово ходячей, быстро обесценивающейся валютой в руках политических пропагандистов. Слово теряет душу, становится фальшивкой.

Так называемая номинативная функция слова — способность его называть, давать имя — особенно охотно, без всякого чувства меры и ответственности, используется в политических целях.

Создаются клички с непрочным налетом экспрессивности: н э п а ч, р в а ч, л е т у н, с а б о т а ж н и к, в р е д и т е л ь, д и в е р с а н т, в р а г н а р о д а; экспрессия быстро исчезает, остается — ярлык. Семантическое наполнение слова оскудевает, на первый план выступает целеустремленность приложения — особая семантическая функция, скажем условно: «пропагандная функция» сло́ва-пустышки.

Пустышкой с о ч у в с т в у ю щ и й обозначается невоз-

*) Понятно, почему в трудах советских ученых почти отсутствуют исследования языковых явлений советской эпохи: об этом рекомендуется молчать. Единственная попытка этого рода — книга проф. А. М. Селищева «Язык революционной эпохи», Москва 1927, — привела автора в ссылку (правда, недолговременную). Вообще лингвисты (наряду с литературоведами) чуть-ли не самый «поднадзорный» элемент среди советских ученых. Только в 30-е годы и только из известных мне московских языковедов подверглись репрессиям: проф. В. В. Виноградов, профессора И. Галанов, Устинов, Туницкий (после освобождения из Лубянской тюрьмы — повесился) доцент Рождественский и многие другие.

можность беспартийного заявить о принципиальном нежелании вступить в партию. То же отрицание партийности у «мастеров искусства» получает название у п а д о ч н и ч е с т в а и расшифровывается смотря по обстоятельствам, как «политическая отсталость», «творческое загнивание» или даже «бытовое разложение».

Ярлыки множатся: п о п у т ч и к, у д а р н и к, с т а х а н о в е ц, н е п а р т и й н ы й б о л ь ш е в и к и т. д. Возникают сочетания типа р е в о л ю ц и о н н а я з а к о н н о с т ь, к л а с с о в а я м о р а л ь, с о ц и а л и с т и ч е с к и й р е а л и з м и др.

Интересно проследить, как определения р е в о л ю ц и о н н ы й, к л а с с о в ы й, с о ц и а л и с т и ч е с к и й (казалось-бы, ограничивающие и уточняющие) на самом деле, выполняя пропагандную задачу, «опустошают» определяемые понятия. Кто, в конце концов, на страницах советской печати дал сколько-нибудь логическое, исчерпывающее определение «социалистического реализма», например? Сочинителям пустышек этого, впрочем, и не требуется. Пропагандная семантическая функция предписывается ярлыкам «сверху», и они обращаются в языке как облигации «госзаймов», по обозначенному на них номиналу, вопреки их фактически ничтожной стоимости.

Несоответствие пустышек и того, что ими обозначается, всем известно. Каждый в СССР знает, что «самыми свободными выборами» называется именно невозможность выбирать по своему усмотрению, «самою демократической в мире конституцией» — отсутствие каких-бы то ни было гарантий гражданских свобод. «Свободою совести» именуются религиозные преследования, «блоком коммунистов с беспартийными» — подавление всякой оппозиции, «зажиточной жизнью» — всеобщая нищета, «благодарностью за отеческую заботу» — всенародное отчаяние и т. д.

Индивидуальное словоупотребление не может пренебречь шаблоном. Это означало бы отстать, прозевать, например, некоторые директивные метаморфозы в обозначениях: скажем, в последние годы написать «коммунисты», вместо установленного в иных случаях «прогрессивные (или «передовые») элементы», «союзники» — вместо «поджигатели войны», «антирелигиозная пропаганда» — вместо рекомендованной «пропаганды естественно-научных основ изучения мира».

Пустышки-шаблоны вырастают в длинные словосочетания,

в абзацы газетных статей и словесных деклараций, в целые фрагменты художественных произведений мастеров «социалистического реализма».

Верят ли сами творцы словесных комбинаций из пустышек тому, что утверждают их творения?

«Верит ли советский дипломат сам в то, что он говорит?» — недоумевают западные политики.

«Почему так монотонно, безжизненно и невыразительно звучит этот язык, язык писателей и поэтов?» — удивляется один из иностранных корреспондентов, прослушав речь советского делегата.

> «Карл, римский император, говаривал, что испанским языком — с Богом, фарнцузским — с друзьями, немецким — с неприятелем, итальянским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к этому присовокупил бы, что им со всеми этими говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, силу немецкого, нежность итальянского и сжатую изобразительность латинского и греческого», —

писал когда-то Ломоносов. И этот язык теперь, 200 лет спустя, находят (и не только иностранные корреспонденты) «монотонным, безжизненным и невыразительным!»

Я, право, не виноват, что мой очерк к концу «стилизовался» в сторону газетной статьи и языковые наблюдения «увязли» в политике. «Запечатленность» — сама по себе политическая акция.

Мне хотелось показать, что именно эта «запечатленность» — подлинная трагедия литературного языка советского времени: «великий и могучий» перестал быть «свободным и правдивым»!

Не в засорении чистоты и не в нарушении литературных норм болезнь. Оскудевает не только форма, — гибнет душа языка, на смену правде и выразительности приходят фальш и безжизненность шаблона.

Что же делать?

— Беречь и холить, живя в зарубежьи, чудесную культуру родного языка, которому здесь не угрожает «печать». И верить, что «запечатленность» его на родине не вечна.

Хорошо написал в предсмертном своем стихотворении талантливый К. Фофанов:

«Исчезнет зло мятежное,
Пройдут мечты лукавые,
Пройдут непостоянные,
Безумные года,
— Погибнут все жестокие,
Погибнут все неправые,
А истина великая
и с л о в о — никогда!»

Верую и я: «печать» снимется!

Л. Тан.

БИБЛИОГРАФИЯ

«ВЕРУЮЩИЙ ВОЛЬНОДУМЕЦ».

Так назвал себя сам Н. А. Бердяев в своем опыте философской автобиографии, посмертно изданной в Париже*). Это м. б. одна из самых ярких его книг и во всяком случае по своей откровенности самая значительная для суждения о его личности и его пути, как мыслителя. Ее нельзя миновать и, читая ее, на каждой странице хочется со многим согласиться и в то же время многое решительно отвергнуть.

Это, как предупреждает сам автор, не дневник, не воспоминания и не исповедь, а скорей всего история его философской судьбы. Кое-где только намечен известный культурно-исторический фон, но это не бытописание. Необходимые и интересные родословно-семейные данныя, много объясняющие в складе мышления и в личности Ник. Ал-ча; несколько значительных характеристик (Розанов, Вяч. Иванов, о. П. Флоренский); в конце книги прекрасные строки личных настроений, предсмертных предчувствий, дум об итогах жизни...

Большинство читателей книга, конечно, совсем оттолкнет от автора, но некоторым она поможет лучше узнать интересные подробности из истории русской религиозной мысли. Скажем заранее, совершенно не предрешая последних оценок, в ней все время звучит неприкрытая искренность, «пафос правдивости» (стр. 69). Критиков этой автобиографии найдется много; возмутит и смутит она не одного из «малых сих».

Обвинят, вероятно, Н. А-ча в излишнем внимании к себе; в том, что местоимение 1-го лица встречается чуть ли не в каждой фразе. Но таков неизбежно стиль вообще всех автобиографий и воспоминаний. Это вытекает и из самой природы персонализма.

Упрекнут, конечно, Бердяева философы академического склада в несогласии с научно-философскими методами. Но тут надо прежде всего понять, что самый метод мышления Н. А-ча в корне отличен

*) Николай Бердяев. «Самопознание (Опыт философской автобиографии)». YMCA-Press. Париж, 1949, стр. 377.

от традиционного способа философствовать. Его экзистенциальное учение об объективации само по себе не может быть подчинено никаким школьным методам. Все авторитеты, принципы и законченные системы воспринимаются и могут быть им воспринимаемы только экзистенциально, т. е. только извнутри. Что-либо экзистенциально не пережитое, останется для Бердяева всегда «объективированным». Можно вообще не принимать экзистенциально-персоналистического подхода к философии, но нельзя пытаться подчинять его тем требованиям, которые сами по себе ему противоположны. Нельзя «отнести мыслителя к категориям, в которые он никак не может вместиться» (стр. 109).

Не простят Бердяеву и противоречий самому себе. Это он, впрочем неоднократно признает и сам; его восприятие падшего мира всё полно конфликтов и трагической раздвоенности, которых не избежать и ему самому. Оптимистическим иллюзиям нет места в этом надломленном грехом мире. Бердяева нельзя понять не приняв, как неотъемлемую от него, ему присущую изначальную противоречивость. Даже больше: та многопланность в каждом из нас, та сложность и неустойчивость всякого мыслящего и одаренного человека, которых большинство стыдится или во всяком случае старается получше скрыть, Николаем Ал-чем честно признается, им воспринята, как нечто врожденное и неумолимое. Гармонии в этом мире нет и не может быть, т. к. мир этот расщеплен и трещина проходит во всех планах бытия: этическом, социальном, интеллектуальном. Бердяев имеет мужество сам признать сложность своей личности и склонность к конфликтам.

Отсюда и чувство одиночества, столь известное натурам ему сродным: Ибсену, Леонтьеву, Киркегарду, Блуа. И признание этого одиночества вовсе не есть рисовка и поза писателя. Это его самое исконное и в нем неистребимое, т. к. это неизбежный спутник всякой яркой личности. Леон Блуа как-то сказал одному близкому человеку: «я совсем не современник и я никогда не был у себя дома». Тоже и у Бердяева: чувство противоречия со всем и, что еще трагичнее с самим собой, т. к. невольно и он сам составляет часть этого мира, к которому принадлежит и который не может и не хочет приять. «Я нахожусь в совершенном разрыве со своей эпохой, — говорит он. — Я воспеваю свободу, когда моя эпоха ее ненавидит, я не люблю государства и имею религиозно-анархическую тенденцию, когда эпоха обоготворяет государство, я крайний персоналист, когда эпоха коллективистична и отрицает достоинство и ценность личности, я не люблю войны и военных, когда эпоха живет пафосом войны, я люблю философскую мысль, когда эпоха к ней равнодушна, я ценю аристократическую культуру, когда эпоха ее низ-

вергает, наконец, я исповедую эсхатологическое христианство, когда эпоха признает лишь христианство традиционно-бытовое» (стр. 281).

Он часто говорит, что у него «никогда не было чувства происхождения» от родителей; что он «не любит семьи и семейственности» (стр. 13-14), что он отталкивается от родовой жизни (стр. 63), не любит общества (82). Это всё, казалось бы, должно ограждать его личность ото всего не-личного, от власти рода и унаследованного от прошлого. Но не абсолютизируется ли в данном случае содержание понятия личности?

Как же объяснить иначе такие признания и утверждения Н. А-ча? Откуда же его «господская психология»? (стр. 31). Откуда «любовь к русской деревне и связь с помещичьим бытом» (стр 28), любовь к уюту (стр. 39), к духам и сигарам (стр. 33; 351)? Откуда же в его природе «кавалергардские инстинкты, которые им были задавлены» (стр. 28), его «феодальная закваска» (стр. 120), этот «феодал, сидящий в замке с поднятым мостом и отстреливающийся» (стр. 47)? Откуда «отталкивание от прыщика на лице или пятна на башмаке» (стр. 33) и вообще его брезгливость? (стр. 351). Откуда это влечение «к фамильной мебели, портретам предков на стенах, генералов в лентах, в звездах, с георгиевскими крестами» (стр. 252) и такое понимание Леонтьева и весь тот пафос, который когда-то навеял ему его яркую и замечательную книгу «Философия неравенства»? Не более ли прав Бердяев, когда он признается, что «в моем «я» есть многое не от меня (стр. 44)»?

В этой связи надо отметить его мысли о низком культурном уровне революционных деятелей, о том, что по настоящему они не любили свободу, о своей личной борьбе с интеллигентской общественностью, о своем отталкивании от «литературщины» того времени, где «не слово становилось плотью, а плоть словом», о погроме высокой русской культуры, о «самоубийстве интеллигенции» (стр. 63; 160-161; 165).

И в этой сложности своей богатой противоречиями природы Н. А. совершенно искренен и вполне прав, говоря, что «одни и те же мотивы привели его к революции и религии» (стр. 123). Таков уж его пафос свободы, который не мог никогда вместиться в душные условия какой бы то ни было партийной идеологии. Но бунт, приведший от марксизма к христианству, и типичный для Бердяева и ничем не ограниченный примат свободы и экзистенциальной убежденности только в своей правоте не дал ему приобщиться к церковной полноте. Правда, он утверждает, что он «свободный христианин, не порвавший с церковью», что он «не сектант» (182) и не «еретик» (199), но тут же заявляет, что «никогда не претендовал на

церковный характер своей религиозной мысли» (199) и не признает «никакой навязанной ему ортодоксии» (66).

Мы не собираемся оспаривать некоторые идеи Н. А-ча, напр.: о добытийственной свободе, об его понимании ада, которые в известном смысле не так уж страшны и неприемлемы, если захотеть их понять без предвзятости и без желания обязательно «обличать» и искать ересь даже там, где ее и нет. Надо сказать о другом: о мучительно, повидимому, неприемлемой для его «экзистенциально-драматического отношения к Богу» (79) т а й н е Церкви. Он прав, что «соборность и церковное сознание — не внешний авторитет» и что «нельзя экстериоризировать моей совести в церковном коллективе» (67), он прав, когда говорит отрицательно о «церковных процессах» и о всей вообще греховности, которая может проявиться в церковной эмпирии.

Но не это важно для жизни в Церкви. Надо слиться с мистической природой ее, безбоязненно в нее окунуться и жить ею или, скажем его же словами: экзистенциально в нее войти. Из личных бесед с ним сохранилась в памяти его боязнь принятия Церкви, как высшего бытия, боязнь «иерархического персонализма» в таком приятии Церкви. Тот, кто лично всегда хорошо относился к Н. А-чу и не перестал его любить независимо от некоторых его утверждений и противоречий, в праве спросить: почему, если мыслитель признает «тайну познания», «тайну Бога» (99; 199) и не поддается соблазну дурного рационализирования в этой области, почему он не хочет признать, что есть еще и т а й н а Церкви?

Если бы у него хватило мужества для такого кенозиса себя в церкви, мужества приять ее со всей ее апофатикой и антиномичностью, как он это делает в отношении к Богу, то он никогда бы не отрицал сакраментально-литургического момента в жизни Церкви (183-184), не говорил бы так недобро о «религиозном млении» (?), о своей нелюбви к церковно-славянскому языку (183), об «униженности в пластическом выражении христианства», т. е. поклонах (68), о «некрасивости о ф и ц и а л ь н о й ц е р к о в н о с т и» (303), о «бесстыдстве в богословии» (333), не позволил бы себе столько неверных и поспешных суждений о той области, в которой ему, несмотря на богатство его дарований, не было чего-то дано. Надо понять, что нельзя приять Христа без Церкви, что внецерковное христианство бесплодно, т. к. оно превращено в отвлеченное умствование о божественном, и скучно, т. к. замкнуто в границы философской этики. А для Н. А-ча Церковь, к сожалению, осталась такой же «объективацией», как и многое другое.

Но есть какая-то безответственность в утверждениях своей любви к социальным реформаторам, но нелюбви к государственным

деятелям и учреждениям (94; 120), и при признании тут же того, что он не отрицает необходимости государственных функций (363); в «уважении к военным во время войны и нелюбви к ним во время мира» вплоть до вызывающего улыбку «плохого настроения от встречи с военным на улице» (23; 25; 281); в принципиальном неприятии коммунизма и вместе с тем в отрицательном отношении к эмигрантским настроениям, — этим полна вся книга; в проповеди бунтарства, но не террора (68); в предчувствии судеб истории и в «мучительной нелюбви к истории» и ее «массивности» (120; 274).

Надо помнить, что в такие страшные моменты истории, как наш, нельзя касаясь этих тем, заявлять себя только мыслителем и не занимать в историческом процессе никакого ответственного места. Отвлеченный мыслитель пусть не покидает своих метафизических и трансцендентных высот, но, раз покинув их и спустившись на землю, раз коснувшись этих больных язв, он **не смеет** говорить о них с такой безответственностью. На участниках нашего исторического процесса, — а Н. А. не может от этого отказаться, — лежит моральный долг выбрать решительно свою позицию и сказать безо всяких обиняков, с кем он и за кого. Нельзя, касаясь этих тем и не будучи с одними, в то же время не принимать тех, кто не с ними. Слишком дорого нам стоил опыт «социального реформаторства», слишком много пролито крови и слишком жестоко страждет и Россия и всё человечество, чтобы в утверждении своей персоналистической свободы и в порицании коммунизма, не найти своего места в среде тех, кто против него. Это — свобода безответственности.

Архимандрит Киприан.

СЕРГЕЙ МАКСИМОВ. Денис Бушуев. Роман, кн. I-я. 353 стр. Изд-во «Грани», Германия, 1950 г.

Берегом Волги идет с тяжелыми некрашенными веслами на плече дед Северьян Бушуев. Ему 85 лет, но годы разбиваются о него, как волны о скалу. В молодости он бурлачил, крючником на пристанях работал, — из трюма вверх по трапу по восемнадцати пудов выносил. Из бурлака в богача превратился однажды: буксирный пароходик *Эльбу» имел, трактир держал, каменный дом двухэтажный построил, но из богача так же по-русски легко и просто превратился опять в бедняка и, не жалуясь на судьбу, поселился в маленьком деревянном домишке на краю села Отважного, на самом берегу Волги. На первых страницах романа «Денис Бушуев» мы видим, как дед Северьян на рассвете, в густом тумане, бороздит на лодке Волгу вдоль и

поперек, ловит казенные дрова, не глядя на советские законы о «расхищении государственной собственности». Потом, прекратив из-за спада воды ловлю казенных дров, занялся ловлей рыбы, — опять таки «запрещенным способом», на шашковый перемет. Про нынешние времена он говорит внуку своему, Дениске: «Вишь ты, свободы человеку маловато теперь, податься некуда». Но... «Живуч человек!» — восклицает, как бы перекликаясь с дедом Северьяном, Макар Макарыч, побывавший в концлагере на Печоре. «В жизни нет ничего такого, чего бы человек не мог побороть, — добавляет в конце книги Гриша Банный, Божий человек», юродивый нашего времени. — Все можно побороть и ото всего можно, при желании, избавиться».

Поистине — живуч человек! Вот уже более тридцати лет, как большевики подмораживают Россию, но под толстой ледяной корой по-прежнему теплится жизнь, и русские люди, придавленные так, что податься некуда, всё же не падают духом, не опускаются нравственно, а, подобно деду Северьяну и внуку его, начинающему поэту Денису Бушуеву, несут в себе искру, показывают примеры высокой духовной настроенности. В густом тумане советской жизни люди многое делают «запрещенным способом» — даже пишут романы. Так, Сергей Максимов, вырвавшись вопреки всем запрещениям из неволи, написал роман, замечательный по свободе высказанности, творческой озаренности, показу неумирающей — непокорной и неподвластной большевизму! — русской жизни.

Максимов тоже как бы «внук деда Северьяна». Родился он в 1916 году, на Волге, в бурлацком селе возле Костромы. В 1920 году отец, сельский учитель, вместе с семьей переехал в Москву. В Москве будущий автор «Дениса Бушуева» окончил школу-девятилетку, а в апреле 1936 г., едва поступив в Литературный институт имени М. Горького, был вместе с группой студентов арестован по обвинению в антисоветской деятельности и сослан на пять лет в концлагерь на Печору. В апреле 1941 года, освобожденный из концлагеря, Максимов вернулся в Москву, но через 24 часа был оттуда выслан в провинцию. Он поселился в Смоленске. Вскоре началась война, в июле Смоленск был оставлен советскими войсками. Немцы увезли Максимова на новую каторгу в Германию. После войны он остался в английской зоне, в Гамбурге, а в июне 1949 г. переехал в Нью Йорк. Писать Максимов начал еще в детстве: первый его рассказ был напечатан в московском журнале «Мурзилка», когда ему было 14 лет. До ареста сотрудничал в журналах «Мурзилка», «Огоньки» «Еж», «Смена». Две каторги — сталинская и гитлеровская — прервали литературную деятельность молодого писателя. В 1945 г. Максимов снова взялся за перо. Перед нами его первый роман, вышедший в Германии по-русски и по-немецки; подготовляются английское и французское издание романа.

«Денис Бушуев» — первый роман, написанный «запрещенным способом», за все годы существования советской власти. Сергей Максимов — первый беллетрист среди нас, пришедших «оттуда». В этом особенный интерес романа: он показывает, осталось ли еще в СССР что-нибудь от традиций когда-то славной русской литературы? По нему можно видеть, какими путями пойдет русская литература, когда с нее спадут цепи, когда писатели земли Русской заговорят полным, свободным голосом. Каковы бы ни были достоинства и недостатки «Дениса Бушуева», он не забудется в истории русской литературы: начало освобождения, первая веха на новом пути.

В чем коренное отличие «Дениса Бушуева« от какого-нибудь «Кавалера Золотой Звезды»? Советское общество построено по военному образцу, и в марширующей милитаризованной толпе есть «кавалеры Золотой Звезды», стахановцы-орденоносцы, но там нет места индивидуальности, личности. От советского писателя, поэтому, требуется, чтобы он рисовал не личность, а тип — вот тип «шахтера-стахановца, вот тип «доярки-пятисотницы», вот тип «секретаря райкома». В действительности же такой феномен, как «шахтер-стахановец» вовсе не существует: в жизни имеется шахтер Никита Изотов, шахтер Алексей Стаханов, а «шахтер-стахановец» — пустая абстракция. Советская литература имеет дело не с людьми, а с абстракциями.

Помнится, в 1928 г., в книге «О чем пел соловей», Мих. Зощенко писал:

> «Но, конечно, автор всё таки предпочтет совершенно мелкий тон, совершенно мелкого и ничтожного героя с его пустяковыми страстями и переживаниями, нежели он пустится во все тяжкие и начнет заливать пулю насчет какого-нибудь совершенно несуществующего человека. Для этого у автора нет ни нахальства, ни особой фантазии. Мы потихоньку, мы помаленьку, мы вровень с русской действительностью».

В советской России писатели, все эти «лауреаты сталинской премии», только тем и занимаются, что нахально заливают пулю «насчет какого-нибудь совершенно несуществующего человека». Потому советская литература ничего не открывает в человеке. В XIX веке русская литература была самая психологически насыщенная литература в мире. Но советская литература психологически бедна, неглубока, — она иллюстративна. Коренное отличие «Дениса Бушуева» от романов о «кавалерах Золотой Звезды» в том, что Максимов поставил себя вровень с русской действительностью, и вместо абстрактных фигур «председателя колхоза», «саботажника», «секретаря райкома», изобразил людей с их страстями и переживаниями.

Максимов пишет о людях и местах, которые ему хорошо знакомы, близки. Действие романа точно определено во времени и в пространстве. Роман охватывает шесть лет: начинается летом 1931 года, кончается осенью 1937 года. Он не распространяется за пределы средне-волжского плеса, линии Рыбинск-Горький. Перед нами проходит Кострома, где на «стрелке» высятся купола Ипатьевского монастыря. Взгляд на минуту задерживается на Плесе, где Левитан написал «Вечер», «После дождя». В тридцати верстах от Плеса — Отважное, родное село Дениса Бушуева.

На том основании, что действие романа развертывается, главным образом, в этом бурлацком селе, некоторые критики (Л. Ржевский в «Посеве», № 14, апрель 1950 г.) поспешно объявили, что село Отважное и есть «подлинный герой романа». В советской литературе такие романы нередки: так, можно сказать, что Гремячий хутор — подлинный герой шолоховской «Поднятой целины». Шолохова интересуют не люди, а события — на примере одного хутора он дает иллюстрацию к тому, что весной 1930 г. происходило в советской России. Интересы Сергея Максимова лежат совем в другой области — не государственной политики, но человеческого сердца. В отличие от большинства советских романистов он занимается не хроникой событий, а людьми. Отправной пункт Максимова иной: он пишет не затем, чтобы что-то иллюстрировать или демонстрировать какую-то идею. Нет, перед ним сюжет: начало — убийство приказчика сельского кооператива Мустафы Ахтырова и конец — самоубийство его брата, Алима Ахтырова. В эту историю, точно вихрем, вовлечены Алимова жена Манефа, ее любовник Денис Бушуев, дед Северьян Бушуев, который отправляется за нее на каторгу. Не село Отважное, которого мы почти не видим в романе, а вот эти люди, их судьбы, составляют главный интерес Максимова; он заглядывает в их души, у одних темные, у других более просветленные, и рассказывает нам о том, что с ними — и в них! — творится.

В одной из последних глав Алим Ахтыров — председатель колхоза, награжденный орденом Ленина — бросает вызов председателю райисполкома Патокину:

«Выпрямившись, Патокин раздраженно крикнул:

— Да разве с таким дерьмом, как ты, можно построить бесклассовое общество!

— Кроме общества есть, Патокин, еще человек. И у этого человека есть своя... его собственная жизнь... Вот о ней-то мы и позабыли.

— У коммуниста не должно быть частной жизни! Коммунист живет для общества, для народа...

— А она, Патокин, оказывается, есть... И у меня есть, и у тебя есть.

— У меня ее нет. Запомни это, Ахтыров!

— Нету?.. Так появится. Срок придет и появится... Да как стукнет тебя по башке, тогда узнаешь, какая она, личная жизнь, бывает...»

Бунт Алима Ахтырова — это бунт Сергея Максимова, молодого писателя, который пройдя все советские университеты, не исключая концлагеря, познал до конца бесчеловечность большевизма. «Денисом Бушуевым» он бросает вызов всей советской литературе: кроме общества, есть еще человек, и он живет не одними посевными кампаниями, хлебозаготовками, сбором фекалия, — кроме всего этого, имеется нечто другое, что имеет вечное, непреходящее значение в человеческой жизни.

Пред нами только первый том «Дениса Бушуева». В нем 353 страницы и он, разумеется, имеет самостоятельное значение. Всё же думается, что автор мог бы поставить в нем подзаголовок: «Манефа». Из шести лет, составляющих время романа, Денис пять лет проводит за пределами романа: в декабре 1931 года он покинул Отважное, работал в судоремонтных мастерских в Горьком, потом учился в техникуме, плавал на буксирном пароходе «Ашхабад»... Драма Манефы Ахтыровой, не по любви, а «со зла» вышедшей замуж за Алима и зарубившей по ошибке, вместо Алима, его брата Мустафу, составляет содержание первого тома. Не Денис, а Манефа является динамическим центром книги.

Критики немало уже писали о «Денисе Бушуеве», в частности, о Манефе. Н. Берберова в «Русской Мысли» и «Народной Правде» устанавливала, что Максимов «идет от М. Горького», а Манефу называла «лэди Макбет верхнего плеса». Ю. Иваск в «Посеве» предложил другие имена: Максимов — ученик Шолохова, а Манефа — сестра Аксиньи из «Тихого Дона». Л. Ржевский в том-же «Посеве» усмотрел, что Максимов «намечает образы чуть по-гамсуновски». Вяч. Завалишин объявил в «Новом Русском Слове», что «влияние Шолохова и Горького не было для Максимова определяющим», что «в несравненно большей мере на «Дениса Бушуева» повлияли роман Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» и повесть Петра Орешина «Ничего не было». В действительности ничего такого не было: «Угрюм-реку» Шишкова Максимов, насколько нам известно, даже не читал (был в лесах Печоры, когда появилось переработанное издание «Угрюм-реки», о котором пишет Завалишин), не говоря уже о повести всеми давным-давно забытого Петра Орешина. Будет куда как проще и правильнее сказать, что Максимов идет от жизни и единственный его учитель — правда жизни.

Первый том — «Манефа». Второй, надо полагать, будет по-настоящему — «Денис Бушуев». Тема ширится, задачи, стоящие перед молодым автором, усложняются. Максимов выказал уже незаурядное литературное мастерство. Все сюжетные узлы в романе завязаны крепко; каждая деталь играет роль, ей предназначенную. Глаз у Максимова острый: «Звезды высыпали так густо и так низко — хоть веслом сшибай»; «взревела кормилица-Волга, сломала ледяной покров и, радуясь теплу и свету, шумно понеслась, заторопилась, качая на своей широкой груди, как младенцев, огромные радужные льдины». Язык, сильно засоренный в первой части, чище во второй и третьей, хотя и там немало штампованных, стершихся словечек, какого-то наивного провинциализма.

Провинциализм, впрочем, не только в языке — во всех этих «ослепительных зубках», «голубых глазах, светящихся особенной творческой страстью», «чудеснейших мелодичных инструментах» и т. д. Действие развертывается на Волге, и Волга представлена так, как бы она была осью мира. Такой провинциализм, кстати, присущ и «Тихому Дону» Шолохова. К Волге Максимов привязан всей душою, как и Шолохов к донским степям, — в этом крепость, здоровая основа его таланта. У Максимова нет высшей похвалы человеку, как то, что «он одно целое с Волгой». «Вот она, Волга, наша матушка, красота неписанная, — говорит Ананий Бушуев, отец Дениса. — Я, брат Гриша, всю жись ей отдал, и ежели-б еще раз жить довелось, опять-же ей-бы отдал... на, мол, бери, такая-сякая, ешь и вдругорядь». Дед Северьян пьет всегда только волжскую воду, хотя колодезная вода вкуснее и чище, и внуку Денису наказывает: «Книжки, Денис, книжками, а от Волги, брат, отрываться не надо. Это — кровь наша и плоть наша. Стезю свою человек соблюдать должон».

Денисова стезя, однако, повернула в сторону Москвы, а стезя самого Сергея Максимова пересекла Германию, океан, довела до Нью Йорка. Неизвестна пока что судьба Дениса: станет ли он в Москве известным поэтом, лауреатом сталинской премии, подхватит ли его буря войны и унесет далеко за пределы России... Несомненно только то, что с холмов Москвы — как и Максимову с берегов Гудзона — многое должно представиться в иной, более широкой, перспективе. Загадка личности Дениса еще не решена. В любви к Манефе, соучастии в ее грехе и искуплении, он получил некий духовный опыт. Теперь его внутренние борения переносятся в другой — не провинциально-волжский, а всероссийский, даже общечеловеческий — план. Хочется думать, что Максимов, неся в душе Волгу, всё же поймет, что она не есть ось мира и, вместе с героем своего романа, подымется на новые высоты.

Михаил Коряков.

ИВАН ЕЛАГИН, «По дороге оттуда», Мюнхен, 1948 г., 66 стр.
«Ты, мое столетие», Мюнхен, 1948 г., 46 стр.

В стихах Елагина слышатся многие русские поэты революционной, пред-революционной и классической эпохи, и эти отголоски определяют его творческую генеалогию: Лермонтов («И внуки позабудут дедов, как позабыли сыновья»), Блок («О недаром недругов лютых — В шуйце завязло копье! — О, княжна! — В половецких путах — Острые груди ее!»), Гумилев («Мы вернемся, если будем живы, если к дому приведет Господь«), Клюев («И осень как овчарка бежит за колесом»), Есенин («Я давно уже в роли растяпы — И за жизнью тащусь позади; — И поля моей старенькой шляпы — Обломали чужие дожди»), Ходасевич («Все мы платим земле за постой — Сединою, тоской и одышкой»).

Эти отклики — не укор поэту. Они устанавливают его преемственность с одним из двух главных течений русской поэзии, первоисточники которого можно отыскать в стихах Лермонтова, с их двумя противоречивыми и столь связанными мотивами — горьким осуждением мира и отчуждением от него и нежной любовью к самым простым и бедным проявлениям жизни.

Стихи Елагина не датированы; поэтому трудно судить о пути развития уже проделанного им. Более юношескими, менее оригинальными по содержанию и форме кажутся стихи с романтически-приключенческим пафосом. Океанские бури, экзотические гавани, боцманы и капитаны, мушкетеры Александра Дюма — всё это напоминает о Георгие Иванове и других учениках Гумилева, вдохновлявшихся его «музой дальних странствий». Напоминают эти темы и о почти заглохшей теперь приключенческой струе в советской литературе, Серапионовых братьях и Александре Грине (к которому обращено несколько стихотворений Елагина).

Но этот экзотический перепев звучит недолго; вместо него в поэзии Елагина появляются более простые и искренние темы, и для них находятся новые и живые образы:

«Апрель! Я болен этой датой!
За крышей — голубой клочек,
И грач слетел, как завсегдатай
На облюбованный сучок.
Кричит — и на гортанный вызов
К нему сородичи спешат
И хлещет жижища с карнизов
Как будто вылили ушат.
Очнутся люди, хлынут песни
И вскроют окон переплет.

Зашевелись скорей и тресни
Души осунувшийся лед!....»

Но судьба не позволила Елагину остаться зорким наблюдателем природы, в которой за зимой неизбежно следует весна; она загнала его в хаос войны и беженства, в котором смена времен года только оттеняет бессменные и бессмысленные страдания людей. Сначала он еще пытается отгородиться от жестокости мира за черной шторой затемнения:

«..... блуждая по книжным полкам,
Мы отыщем такую страну,
Где электричество в доме
И дровами очаг набит,
И нет места обидам, кроме
Самых высоких обид».

Но жизнь срывает все завесы, и открывается Елагину во всей своей дикой наготе. Голос поэта становится горьким и пронзительным, его стихи отражают, в безошибочной жестокости, картину разрушенных городов и неизвестно за что гонимых и униженных людей.

Протест человека против истории Пушкин когда-то вложил в уста Евгения в «Медном Всаднике» — но Пушкин был на стороне истории, которая воплощалась для него в Петре. История, свидетелем которой стал Елагин — абсолютное, бессмысленное зло. Блок предвидел «век последний, ужасней всех», который «увидим — и вы, и я». Этот век — это «Мое столетие» Елагина; век, в который даже судьба смертника в дни французской революции кажется завидной:

«Теперь любой из нас легко-бы жизнь отдал,
Чтоб умереть, как ты, — поднявшись по ступеням.

Мы — те, кто умирать спускается в подвал».

Этот век, когда ад представляется уютным:

«Милый ад — ни пушек, ни ружей,
Старый ад с хромым сатаной,
Чем он хуже кровавой лужи,
Именуемой — шар земной?»

Крик гарча больше не возвещает Елагину весну:

«Скабрезно каркнув, пролетает грач
Над улицами, проклятыми Богом,
Над зданиями, рвущимися вскачь
Навстречу разореньям и поджогам».

Вряд ли поэзия второй мировой войны оставит более жуткое в своей обыденности описание воздушной бомбежки:

«Мы живем зажатые стенами
В черные берлинские дворы,
Вечерами дьяволы над нами
Выбивают пыльные ковры»

или более потрясающий крик отчаянья:

«Наше небо стало небом черным,
Наше небо разорвал снаряд,
Наши звезды выдернуты с корнем,
Наши звезды больше не горят...»

Война кончается, и Елагин находит незабываемые слова для изображения этого конца:

«Уже последний пехотинец пал,
Последний летчик выбросился в море,
А на путях дымятся груды шпал
И проволока вянет на заборе.
Они молчат — свидетели беды,
И забывают о борьбе и плене
И этот танк, торчащий из воды,
И этот мост, упавший на колени.
Но труден день очнувшейся земли.
Уже в портах ворочаются краны,
Становятся дома на костыли...
Там города залечивают раны.
Там будут снова строить и ломать.
А человек идет дорогой к дому.
Он постучится — и откроет мать,
Откроет двери мальчику седому».

После войны — горькая беженская судьба:

«Тот повесится в уборной,
Этот сбросится с моста,
У кого-то ночью черной
Вынут дуло изо рта...»

Елагин — настоящий поэт: судьба нагардила его способностью облекать в четкие слова то, что для других остается преходящим и невыраженным, то, что современники стараются не видеть или поскорее забыть. Он горько жалуется на «смирительную рубашку искусства», которая опеленала его свободную душу:

«Затем, что б стих был набело исправлен,
Вся жизнь моя заброшена вчерне».

Но быть поэтом не только неволя, но и залог освобождения. Гете сказал:

"...Wenn der Mensch in seiner Qual verstohmt
Gab mir ein Gott zu sagen was ich leide..."

— и придворному поэту герцогского Веймара откликается русский лагерный сиделец в недалеком Шлейсхейме:

«Эту плотную ночь расколоть
Может только певучее слово'
На земле человеку Господь
Утешения не дал иного».

Нет большей радости для любителя поэзии, чем открыть, под безличной обложкой с ничего не говорящим именем, незнакомый, но несомненный талант. Кто из нас не завидовал тем, кто впервые читал в журналах стихи Лермонтова, Тютчева или Боратынского, во всей их свежести, не будучи заранее приготовленным к их совершенству статьями критиков и учебниками истории литературы? Среди ранних воспоминаний я сохранил радостную тревогу ничем не предвосхищенного знакомства с Ахматовой, Гумилевым, Ходасевичем. Впервые за долгие годы, две крошечные книжки Елагина заставили меня вспомнить об этих радостных открытиях. Если история, под колеса которой поэт попал, очевидно, в самом начале своего творческого пути, не прервет этого пути слишком рано горечью изгнания, отсутствием читателя (без которого многие писатели не могут писать), — любителям русской поэзии можно предсказать много радости.

Е. Ранч.

Н. БЕРБЕРОВА. «Облегчение участи» (Шесть повестей). УМСА Пресс. Париж.

Выход новой книги рассказов Н. Берберовой является событием в зарубежной русской литературе. Хотя большинство этих рассказов мы читали в своем время в журналах, объединенные в сборнике, они оттеняют и дополняют друг друга, и многое, что прошло незамеченным при первом чтении, освещается как бы новым светом. В наше время славные представители старшего поколения русской литературы в эмиграции часто целиком обращены к прошлому, живут воспо-

минаниями и переносят нас в дореволюционную Россию, а из представителей следующего поколения, некоторые впадают в бездушное мастерство, «светят, да не греют». Берберова же изображает окружающую ее жизнь — жизнь русской эмиграции — с той же простотой, с тем же проникновением, с той же правдивостью, с какими у писателей золотого века русской литературы отражалась российская действительность. Но, несмотря на зоркость, с которой Берберова подмечает характерные черты этого своеобразного быта, центр тяжести в ее рассказах никогда не лежит в этой области. Для Берберовой в центре всегда человеческая личность, живущая своей единственной неповторимой жизнью.

На процессе Кравченки один из свидетелей защиты утверждал, что русский писатель говоря о женщинах, никогда не подчеркивает, что они красивы, что это характерно для американцев, и, исходя из этого, полагал, что книгу Кравченки написал американец. Высказанное в такой форме, это утверждение, может вызвать лишь улыбку. Но какая-то доля правды в самом наблюдении, пожалуй, есть. Во всяком случае можно сказать, что Берберова, с особенной любовью выбирая в героини своих рассказов женщин некрасивых, внешне бесцветных, жизнью обездоленных и затертых, обнаруживает верность традициям героического периода русской литературы. Она никогда не стремится к дешевому успеху, избегает всякой красивости, всегда идет по линии наибольшего сопротивления. И в этих бесцветных и некрасивых героинях она находит яркие индивидуальности, сложные и глубокие переживания, и передает их с почти стендалевской остротой. Красота видимого мира, природа, ландшафт очень редко привлекают внимание Берберовой. Ее больше влечет мир человеческих отношений, жестокий и полный противоречий, и, на этом фоне, внутренний конфликт одинокой человеческой души. Но когда писательница хочет, она обнаруживает редкое мастерство в описаниях. Нельзя без волнения читать рассказ «Роканваль», где почти ничего не происходит, где в центре — старинный французский замок и парк с вековыми липами, где на всем лежит непередаваемое очарование прошлого. Но «Роканваль» только живописное и лирическое интермеццо среди более характерных для автора рассказов. Наиболее совершенными из них нам кажутся «Аккомпаниаторша» и рассказ, давший название всему сборнику, — «Облегчение участи».

«Аккомпаниаторша» — внебрачная дочь учительницы музыки, принужденой покинуть родной город, где у нее было много учеников, где ее как-будто и любили, и ценили, но где все отвернулись от нее после рождения ребенка. Во время военного коммунизма, эпохи холода, голода и тревожной неизвестности, молодая пианистка уезжает заграницу в качестве аккомпаниаторши знаменитой певицы. И вот

вся ее жизнь проходит в тени этой другой жизни, полной и яркой, счастливой и гармонической. И в душе аккомпаниаторши влюбленность в счастливую соперницу (соперницу не в любви, а в жизни) сплетается с жгучей ревностью, с желанием найти у ней слабое место, отомстить ей за ее счастье, погубить ее. Но развязка наступает помимо нее. Есть люди, которым не дано совершить ни злого, ни доброго, которые проходят земной путь как тени, как не до конца воплотившиеся души. Это неравенство куда горше неравенства социального.

Герой рассказа «Облегчение участи» — преуспевающий законченный пошляк. Но любовь повинуется своим законам, не поддающимся нашему пониманию, и уже не молодая девушка, тонкая и застенчивая, на которую этот «герой нашего времени» случайно обращает свое милостивое внимание, увлекается им, увлекается в первый раз в жизни. Она даже мысленно сравнивает себя с пушкинской Татьяной и хочет писать своему герою, не замечая, что если уж брать сравнения из литературы — перед ней не Онегин, а Чичиков. Только что по сравнению с этим «человеком переходной эпохи», описанным с ярким и беспощадным реализмом, Чичиков кажется уютным, даже как будто душевным человеком. И вот, несмотря на всю неприглядность героя, трагедия девушки, увлекшейся им, не оставляет нас равнодушными. Берберова заставляет нас поверить в это позднее и на первый взгляд странное, но такое искреннее, такое цельное чувство. И достигает она этого несколькими штрихами, не распространяясь, не рассуждая, не анализируя.

В умении малыми средствами достигнуть желаемого результата — сказывается настоящий художник.

Эрг

ДВЕ КНИГИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. —

Ариадна Тыркова-Вильямс. Жизнь Пушкина. Том 2-ой, 1824-1837. YMCA-Press, Париж, 1948.

В. А. Рязановский. Обзор русской культуры: Исторический очерк. Части 1-ая и 2-ая. Rausen Bros,, Нью-Йорк, 1947-48.

Первый том написанной А. В. Тырковой биографии Пушкина был издан больше десяти лет тому надаз, но только теперь, с появлением второго и последнего тома, можно оценить значительность выполненного автором труда. Без преувеличения можно сказать, что во всей литературе о Пушкине найдется немного биографических работ, которые можно было бы поставить наравне с книгой А. В. Тырковой по широте подхода к теме и по богатству материала. Это не только

личная биография Пушкина, но и история литературного его развития, и то, как А. В. Тырковой удалось связать две эти темы, является главным ее достижением.

Книга читается с увлечением и в общем написана очень хорошо. Только местами жалеешь о том, что автор не воздержался от «лирических» комментариев к стихам и письмам Пушкина и не представил пушкинским текстам говорить самим за себя. На мой взгляд А. В. Тыркова совершенно права, возражая против «революционной» интерпретации политических и историософских взглядов Пушкина, но иногда она сама несколько «стилизует» их — в противоположном направлении. Едва ли правильно, например, характеризовать отношение Пушкина к чаадаевскому «Письму» как «возмущение», и уж конечно нельзя сравнивать реакцию на это «Письмо» Пушкина с реакцией Николая I-го (стр. 377). Не знаю также, почему А. В. Тыркова так категорически отрицает возможность влияния на Пушкина романтической эстетической теории, через посредство московских «любомудров» (стр. 152). К немецкой философии вообще Пушкин относился более чем равнодушно, но в романтической эстетике он мог найти многое, что могло помочь ему оформить его взгляды на природу искусства и назначение поэта. Укажу, наконец, на одну фактическую неточность. Вопреки утверждению А. В. Тырковой (стр. 264), «Пир во время чумы» не есть «вольное переложение» некоторых сцен из трагедии Вильсона: за исключением песни Мэри и гимна чуме Валыингама, всё остальное является довольно точным переводом английского текста.

Эти критические замечания не имеют целью умалить значение книги А. В. Тырковой, которая останется ценным вкладом в историю русской литературы.

Написать и издать двухтомный «Обзор русской культуры», в условиях эмигрантской жизни и при настоящем печальном состоянии русского книжного рынка заграницей, является подлинным подвигом, уже по одному этому появление работы проф. В. А. Рязановского должно быть отмечено с благодарностью. Из двух томов его книги первый посвящен допетровской России (свыше 630 стр.), а второй, вышедшей в двух выпусках (общей сложности свыше 760 страниц), — поделен почти поровну между периодами до и после реформы Александра II*. Автор поставил себе задачу обозреть все стороны русской «духовной культуры» — религию, просвещение, науку, литературу,

*) Недавно вышел еще дополнительный выпуск ко второму тому под заглавием «Развитие русской научной мысли в 18-20 ст. ст.: Науки о природе» (133 стр.).

искусство и развитие социально-политической мысли. При таком широком охвате темы известная схематичность изложения являлась неизбежной, но мне кажется, что автор напрасно усложнил свою и без того нелегкую задачу, включив в свою работу вводные (для каждого периода) обще-исторические очерки («Власть и общество», «Общее состояние государства»). Помимо того, в первом томе около 150 страниц (почти четверть тома) посвящены критике «норманской теории поисхождения русской культуры» (гл. 2-я и приложение). Эта небольшая монография, представляющая собой новейшую сводку антинорманистских аргументов, в значительной степени основана на собственных изысканиях В. А. Рязановского (в сотрудничестве с сыном его Н. В. Рязановским) и очень интересна сама по себе, но в общем обзоре русской культуры она занимает непропорционально много места. Такой же характер экскурса носит и глава 4-ая (правда, значительно меньшая по размерам), в которой автор полемизирует с евразийцами по вопросу о «монгольском влиянии на русскую культуру». Эти недостатки в построении книги лишили автора возможности уделить больше места главной его теме — истории духовной русской культуры, и некоторые части его обзора, как например отделы о литературе и искусстве 19-го и 20-го века, оставляют читателя неудвлетворенным своей чрезмерной краткостью. Вероятно по той же причине не мог развить автор и общие свои заключения, ограничившись «некоторыми итогами в развитии русской культуры» на немногих страницах в конце второго тома.

Быть может не со всеми частными и общими оценками В. А. Рязановского можно согласиться, но надо признать, что ему удалось дать в своей книге много полезного и ценного материала. В числе наиболее удачных частей книги назову главы первого тома, посвященные древне-русскому искусству, о котором В. А. Рязановский и раньше написал ряд интересных работ. Во втором томе отмечу обстоятельные очерки по истории общественно-политических идей (часть из них написана Н. В. Рязановским) и ценные сводки данных о развитии русского просвещения и русской науки (по указанию автора, страницы о русском языке написаны А. Ф. Рязановской, известной в литературе под именем Нины Федоровой).

Мы не так богаты исследованиями по истории русской культуры, и двухтомный труд В. А. Рязановского заслуживает широкого внимания со стороны русских читателей в эмиграции*).

М. Карпович

*) Книгу В. А. Рязановского можно приобрести, обратившись по адресу: George Telberg, 3569 Broadway, New York 31, N. Y. или V. A. Riasanovsky, 1855 Olive Street, Eugene, Oregon.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Периодическое литературно-политическое издание

●

Цена одной книги 2 доллара 75 центов.
Цена трех книг 6 долларов 50 центов.

●

Адрес редакции и конторы:
Mrs. M. E. ZETLIN, 112 West 72nd Street,
New York 23, N. Y.

Telephone: ENdicott 2-9893
ENdicott 2-4800

Там же принимается подписка